

ВЫПУСК

# 101 Библиотечка КВАНТ



У  
ИСТОКОВ  
МОЕЙ  
СУДЬБЫ...



Б Ю Р О



КВАНТУМ



Приложение к журналу  
«Квант» № 3/2007

# У истоков моей судьбы...

*Составители*

*А. Романенко,*

*О. Алдошина,*

*О. Камунина*



Москва  
2007

УДК 008(47+57)(093.3)

ББК 71

У11

Серия

«Библиотечка «Квант»

основана в 1980 г.



**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

Б.М.Болотовский, А.А.Варламов, В.Л.Гинзбург,  
Г.С.Голицын, Ю.В.Гуляев, М.И.Каганов, С.С.Кротов,  
С.П.Новиков, Ю.А.Осипьян (председатель),  
В.В.Произволов, Н.Х.Розов, А.Л.Стасенко,  
В.Г.Сурдин, В.М.Тихомиров, А.Р.Хохлов,  
А.И.Черноуцан (ученый секретарь)

**У11 У истоков моей судьбы...** Составители А.Романенко, О.Алдошина, О.Камунина. – М.: Бюро Квантум, 2007. – 272 с. (Библиотечка «Квант». Вып. 101. Приложение к журналу «Квант» № 3/2007.)

ISBN 5-85843-066-X

Книга представляет собой сборник статей, правильнее сказать – эссе, в которых известные ученые и деятели искусства обращаются к своему детству, как к отправной точке всех будущих достижений и завоеваний. Известно, что первые удивления и откровения, проявления добра и зла, внезапно открывшиеся тайны мироздания формируют систему жизненных координат. Сборник появился благодаря кропотливому и благородному труду его составителей.

Книга предназначена самому широкому кругу читателей.

ББК 71

ISBN 5-85843-066-X

© Бюро Квантум, 2007

*И каждый нас уносит растительку бытия...*

*Я обращаюсь к своему детству, а может быть это  
детство возвращает меня...*

*Есть свет внутри человека,  
и он освещает весь мир...*

## ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

---

Выход в серии Библиотечка «Квант» в качестве очередной книги сборника статей с общим названием «У истоков моей судьбы...» вполне может вызвать недоумение в кругу наших привычных читателей, подписчиков. Само название книги, каким бы условным оно ни было, говорит о ее сугубо не физико-математической направленности. И это истинная правда. Кроме того, открыв страницу с содержанием и бегло просмотрев состав авторов сборника, ловишь себя на мысли о возможности невозможного или, наоборот, о невозможной возможности. Вам доверены судьбы и откровения уникальных личностей, причем в невероятной концентрации. Трудно представить, как бы прокомментировали состав авторского коллектива сами его участники, жизненные судьбы большинства из которых вообще не пересекались, не могли пересечься в принципе. Для пытливого проницательного ума невольно возникает предположение мистификации, несбыточного чуда...

На самом деле никакого чуда не предвидится. Хотя, наверное, и очень жаль. Просто, как известно, даже достигшие самых заоблачных высот в своем творчестве ученые и деятели искусства в какой-то момент обязательно обращаются к своему детству, как отправной точке всех будущих достижений и завоеваний. И это происходит потому, что первые удивления, откровения, несуразности, проявления добра и зла, внезапно открывшиеся тайны мироздания задают последующий «угол зрения», определяют формирующуюся в детстве систему жизненных координат. Вот почему с позиции даже заоблачной высоты так важно бывает «нырнуть» в прошлое, сопоставить стремительное настоящее и робкие первые шаги, обратиться к истокам, первым «пробным полетам».

Появление данной книги обязано кропотливому, неспешному и очень благородному труду уникального женского коллектива ее составителей, душой которого является Аэлита Романовна Романенко. И в определении состава авторов сборника, и в отборе материалов – то ли из интервью, то ли из опубликованных или неопубликованных, но почерпнутых из первых рук воспоминаний, то ли из простых доверительных бесед, – и в расстановке ценностных акцентов сказался чуткий жизненный интерес составителей книги, их обеспокоенность судьбами поколений, бывших и нынешних. Особенно нынешних. Ведь Россия всегда славилась талантами, и так хочется, чтобы они не кончались никогда...

Читайте, думайте, переживайте и, главное, не будьте равнодушными – ведь в предлагаемой книге так много уникальных мыслей о жизни вообще... и о нашем в ней месте в частности.

## В КОЛЫБЕЛИ БОГОВ...

Душу, вспыхнувшую на лету,  
Не увидели в комнате белой,  
Где в перстах милосердных колдуний  
Нежно теплилось детское тело.

Дождь по саду прошел накануне,  
И просохнуть земля не успела,  
Столько было сирени в июне,  
Что сияние мира синело.

И в июле, и в августе было  
Столько света в трех окнах и цвета,  
Столько в небо фонтанами било  
До конца первозданного лета,  
Что судьба моя и за могилой  
Днем творенья, как почва прогрета.

Мне выпала на долю многолетняя жизнь, я был пристрастным наблюдателем изменений, происходивших в самосознании человечества, в характере его знаний. От отца, матери, брата мне достался в наследство интерес к точным наукам и литературе. Я был воспитан в преклонении перед законами человечности, уважения к личности и достоинству людей. Я считаю, что самое главное в мире – это идея добра. Идея добра во всех ее воплощениях.

Детей надо очень баловать. Я думаю, это главное. У детей должно быть золотое детство. У меня оно было... Может быть, поэтому я так хорошо помню свое детство – ведь главное в мире – это память добра. Меня очень любили. Мне на день рождения пекли воздушный пирог. Вы, наверное, даже не знаете, что это такое?... И прятали его в чулан. А я туда однажды пробрался и стал отщипывать корочку по кусочкам. Вошел папа, взял меня на руки и стал приговаривать: «Это



у нас не Арсюша, это зайчик маленький...» Я очень любил отца. И брата Валю.

Мой брат как-то должен был читать в гимназии реферат о каналах на Марсе. Тогда все этим очень увлекались: на Марсе обнаружили каналы, которые, как все думали, были построены руками живых существ. Кстати, когда оказалось, что это не так, я ужасно расстроился!

Так вот, брат очень долго готовился, писал реферат о каналах. Потом читал его в гимназии... Всем очень понравилось, ему долго хлопали. Мне тоже захотелось поучаствовать в его торжестве, я вышел и сказал: «А теперь я покажу вам, как чешется марсианская обезьяна». И стал показывать. И услышал громкий, чтобы все слышали, шепот мамы: «Боже мой, Арсюша, ты позоришь нас перед самым И. И.» (директором гимназии). Меня схватили за руку и увели домой, я всю дорогу плакал. Дома нас ждал чай с пирогами, все хвалили брата, а он гордо говорил: «Вы оценили так высоко не мои заслуги, а заслуги современной наблюдательной науки о звездах». А потом, окончив свою речь, сказал: «А теперь пусть он все-таки покажет, как чешется марсианская обезьяна». Но я уже не мог...

Валю зарубили в 19-м году банды Григорьева.

У меня была еще сестра. Она хотела выйти замуж за одного итальянского скульптора, которого звали Ропалло. Он очень любил сестру и подарил нам обезьянку. Ее называли Донька. Это значит «дочка». Отец кричал: «Я не позволю, чтобы моя дочь вышла замуж за итальянского шарманщика!» А она кричала: «Он не шарманщик, он скульптор! Он изваял «Вакханку», которую купили Моисеевы!» А отец в ответ кричал: «Моисеевы купят что угодно, если слепить и сказать, что это ВАК-ХАН-Н-Н-КА!» А мама говорила, что не потерпит животных в доме, потому что от них по комнате скачут блохи. Однажды сестра пришла с урока музыки, а мама опять стала говорить, что не потерпит животных в доме. Тогда сестра разорвала свою нотную тетрадь и закричала: «За Ропалло замуж нельзя, животных в доме нельзя – ничего нельзя!»

Я в детстве любил коллекционировать. Тетя Вера, старшая сестра отца, подарила мне коллекцию марок, собранных до 1900 года. Представляете, как сейчас на это можно было бы безбедно жить? А я ее выменял. Мне было 13 лет. У моего друга был настоящий «смит-вессон». Знаете, такой, сгибающийся вдвое! И я на него обменял свою коллекцию. А на

следующий день пришел старший брат моего приятеля, устроил у меня в комнате обыск и отобрал пистолет.

Тетя Вера была удивительная женщина. Она была старшей сестрой отца; отец родился в 60-м году, а в 80-м уже попал в тюрьму – он был народовольцем. Где он только не сидел – и в Шлиссельбурге, и в Сибири... А тетя Вера, бросив все, бросив своего больного сына, ездила за отцом, готовила ему еду, носила передачи.

Отец был очень интересный человек. Когда он был в ссылке в Сибири, он вел подробные записи о жизни в этом крае, о людях, о политике – обо всем... Я пытался опубликовать все это, но так и не удалось. В ссылке умерла первая жена отца. Потом он вернулся в Елизаветград, женился на моей матери. И, живя в одном доме, они, а потом и все мы переписывались друг с другом. Шуточные, юмористические и серьезные письма писали друг другу, издавали на даче рукописный журнал. Мама любила больше меня, а отец – старшего, Валю. Но однажды я слышал, как отец сказал маме, что да, мол, Валя и способный, и умный, и очень смелый, но гордость семьи составит вельми – я запомнил это слово, – вельми талантливый Арсюшка... А мне было тогда всего шесть лет. Кто его знает, какие бывают прозрения у родителей. Они могут увидеть в детях то, чего никто на свете не видит.

В раннем детстве я читал очень мало и сказок в книгах не любил. У меня была няня, которая заменяла мне всякую книжку.

Я учился траве, раскрывая тетрадь,  
И трава начинала как флейта звучать,  
Я ловил соответствие звука и цвета,  
И когда запевала свой гимн стрекоза,  
Меж зеленых лазов проходил, как комета,  
Я-то знал, что любая росинка – слеза.

У отца был друг, с которым они находились вместе в ссылке, Афанасий Иванович Михалевич. Он оказал на меня огромное влияние в детстве. Мне было семь лет, когда он начал обучать меня философии Григория Сковороды. С тех пор это развивалось во мне вместе со склонностью к писанию стихов. Был в XVIII веке такой украинский поэт и философ, «старчик» он звался, старчик Григорий Саввич Сковорода. У него было учение о сродстве. Оно гласило, что человек должен делать то, что ему сродно, и не заниматься ничем другим. «Если бы я хотел рубить турок, я бы пошел на войну,



в гусары», – говорил он. Но так как он любил проповедовать, то отправился странствовать по Украине, Венгрии, Германии... Я верю, что человек должен делать то, что ему свойственно по внутреннему убеждению. Самые мои любимые стихи (может быть, они не самые лучшие) – те, в которых я полностью выразил свое отношение к миру, к вещам, к чувствам человеческим.

Я помню себя с года и восьми месяцев. Первое воспоминание такое: у меня умерла бабушка. Она лежала в гробу в бархатном лиловом платье. Вошла мама – я помню и то, как она и мы были одеты, – вошла и сказала: «Идите, дети, и встаньте на колени». Я так хорошо все это помню.

Мама воспитывала нас по немецкому руководству Фребеля. По нему полагалось до пяти лет водить мальчиков в девочкиных платьях. У меня был дядя Володя, он был военным и иногда давал мне свою шашку играть. А однажды пришел и сказал: «Я тебе не дам своей шашки. Ты не мальчик, ты девочка!» Я так обиделся... Я сказал: «А что же мне делать?» Он ответил: «Когда тебе будут мерить очередное платье, ты так надуйся, раздайся, оно расползется по швам, и его перешьют в штанишки». Так и случилось. Тогда я впервые почувствовал себя взрослым.

А следующий этап был, когда я поступил в гимназию. Это была очень хорошая гимназия – частная, правда, но очень хорошая. Гимназия Крыжановского Милетия Карповича. Он у нас назывался «Милетий Шестиглазый», потому что носил две пары очков... Я очень плохо учился. Легко все запоминал, но учиться очень не любил. Иногда мне везло. Как-то я сдавал экзамен по алгебре, меня пригласил к себе учитель математики, и у него над столом стоял словарь Брокгауза. И там была статья про алгебру. Я ее списал и сдал экзамен.

В детстве я был огнепоклонником.

На базаре, в том городе, где мы жили, был точильный ряд. Там стояло человек двадцать оборванцев у своих станков, похожих на прялку. По временам весь цех точильщиков, словно по команде, снимался с места и разбредался по городу. Тогда на улицах звучал, повторяясь в басах и тенорах, напев, действовавший на меня, как труба на боевого коня:

– Точить ножи-ножницы, бритвы править!

Кухарка Саша выносила точильщику свои ножи, швея выбегала с ножницами, а он разбивал свой нехитрый лагерь у ворот.

Нож отливал холодным, выступавшим все ярче голубоватым серебром, колесо с тонким приводным ремешком быстро-быстро кружилось. Кружился и волшебный камень карборунд. Точильщик прижимал к нему нож, и начинал идти золотой дождь, дивный золотой дождь, под который я подставлял руку. Искры покалывали ее, ничуть не обжигая.

Смотреть на точильный огонь я мог часами. Тогда ничто на земле не отвлекло бы меня от моего молитвенного созерцания.

Меня спрашивали:

– Кем ты хочешь быть?

Мама торопилась ответить за меня:

– Он хочет быть художником.

Это была неправда. Не обращая внимания на улыбки гостей, от которых мама краснела, я говорил:

– Я не хочу быть художником.

Я боялся стать похожим на Фастовского. Фастовский был худой, рыжий; он любил жареных голубей и потому стрелял из монтекристо даже в ворон, рисовал какие-то грибы, булки в корзинах да битую птицу.

– Я буду точильщиком!

Когда кто-нибудь дарил мне деньги, я просил кухарку Сашу зазвать точильщика со станком к нам во двор. За мой счет точились и ножи из кухни, и ножницы швеи и правилась бритва дворника Федосея.

У нас в городе был Казенный сад, где мы с Валею любили сидеть на пушках. Мы жили в городе, который теперь называется Кировоград. А еще раньше он назывался Зиновьевск... Во время обитания этого человека на земле. А после того как его... «изъяли из употребления», город стал называться в честь Кирова... Каждому времени – свои имена...

Почему после революции хотелось забыть и отринуть все старое, всю память? Это естественное состояние любого переходного периода... Но еще – от бессилия. Да, от бессилия.

А почему сейчас вдруг начали возвращаться к истокам, корням, памяти? Потому что время неустойчивое. А с памятью чувствуешь себя увереннее. Молодежь теперь, по-моему, менее устойчива, чем в пору моей молодости, она менее способна к самообучению, менее самостоятельна. Тут много причин. Одна из них – образование вширь. Началось это после революции. А движение культуры вглубь – это следующая ступень, она только началась. Мировая культура еще

не стала частью нашей жизни, нашей личности, нашим домом, нашим бытом...

Культура дает человеку понимание не только своего места в современности, но устанавливает еще тесную связь между самыми разными эпохами. У меня есть стихотворение, где я говорю, что мог бы оказаться в любой эпохе, в любом месте мира, стоит мне только захотеть. Путем понимания. Я, например, очень люблю греческую драматургию, лирику, эпос. «Илиада» и «Одиссея» для меня святыне книги. Невольно чувствуешь себя современником того, что там происходило.

Значит, шел я по верной дороге,  
По кремнистой дороге поэта,  
И неправда, что пан козлоногий  
До меня еще сгинул со света.

Босиком, но в буденновском шлеме,  
Бедный мальчик в священном дурмане,  
Верен той же аттической теме,  
Я блуждал без копейки в кармане.

Мне было шестнадцать лет, когда я приехал в Москву. У нас на юге еще не успели отвыкнуть от гражданской войны. Еще два-три года тому назад игрушками и моих сверстников, и моими были ручные гранаты, патроны, пистолеты и даже артиллерийские снаряды. Нас воспитала романтика гражданской войны. Бронепоезд был для нас чем-то более реальным, чем гимназия. У мальчишек выходить на улицу, если ты не вооружен с ног до головы, считалось просто неприличным.

И я, и мои друзья были очень бедны. Мы привыкли жить впроголодь и носить одежду, сшитую из солдатской шинели и гимнастерки. Хорошо одетые мальчишки попадались необычайно редко. Они казались нам обитателями других планет.

Итак, мне было шестнадцать лет, когда я приехал в Москву. Я привез тетрадку стихов и умение ничего не есть по два дня подряд. В Москву я приехал учиться.

После экзаменов, состоявших из чтения моих собственных стихов и разговоров о литературе, я был принят в учебное заведение, где так же, как теперь в Литературном институте, из юношей, без различия – талантливых или бесталаных, – пытались изготовить беллетристов и поэтов.

Страдание – постоянный спутник жизни. Полностью сча-

стлив я был лишь в детстве. Но существует какой-то странный способ аккумуляции сил перед достижением большой высоты. Я не скажу, как это делается: то ли надо внушать себе, то ли учиться себя видеть, но полностью счастливый человек, наверное, не может писать стихи. Больше всего стихов я писал в 1952 году. Это был очень тяжелый год. Болела моя жена, я за нее очень боялся, никого к ней не подпускал, ухаживал сам... Я ужасно переживал, мало спал. Однажды она позвала меня, я побежал к ней и упал, потерял сознание... И вот в тот год я очень много писал. Было какое-то напряжение всех духовных сил... Знаете, это как в любви. Меня всегда привлекают несчастные любви, не знаю почему. Я очень любил в детстве Тристана и Изольду. Такая трагическая любовь, чистота и наивность, уж очень все это прелестно! Влюбленность – так это чувствуешь, словно тебя накачали шампанским... А любовь располагает к самопожертвованию. Неразделенная, несчастная любовь не так эгоистична, как счастливая; это – жертвенная любовь. Нам так дороги воспоминания об утраченной любви, о том, что было дорого когда-то, потому что всякая любовь оказывает влияние на человека, потому что в конце концов оказывается, что и в этом была заключена какая-то порция добра. Надо ли стараться забыть несчастную любовь? Нет, нет... Это мучение – вспоминать, но оно делает человека добрей.

На войне я понял, что скорбь – это очищение. Память об ушедших делает с людьми чудеса. Я видел, как одна женщина переменила совершенно образ жизни после смерти сына, сообразуя с памятью о нем свои поступки.

На войне я постиг страдание. Есть у меня такие стихи, как я лежал в полевом госпитале, мне отрезали ногу. В том госпитале повязки отрывали, а ноги отрезали, как колбасу. И когда я видел, как другие мучаются, у меня появлялся болевой рефлекс. Моя нога для меня – орган сострадания. Когда я вижу, что у других болит, у меня начинает болеть нога.

«О память сердца, ты верней...» – это не совсем верно, потому что сердце без рассудка и рассудок без сердца невозможны. В стихах, где чувство не поверяется рассудком, а рассудок не поверяется чувством, ничего не получается...

Мои любимые поэты – Тютчев, Баратынский, Ахматова, Мандельштам, Ходасевич. С Мариной Ивановной Цветаевой я познакомился в 1939 году. Она приехала в очень тяжелом состоянии, была уверена, что ее сына убьют, как потом и

случилось. Я ее любил, но с ней было тяжело. Она была слишком резка, слишком нервна. Мы часто ходили по ее любимым местам – в Трехпрудном переулке, к музею, созданному ее отцом... Марина была сложным человеком... Однажды она пришла к Ахматовой. Анна Андреевна подарила ей кольцо, а Марина Ахматовой – бусы, зеленые бусы. Они долго говорили. Потом Марина собралась уходить, остановилась в дверях и вдруг сказала: «А все-таки, Анна Андреевна, вы самая обыкновенная женщина». И ушла.

Она была страшно несчастная, многие ее боялись. Я тоже – немножко. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница.

Она могла позвонить мне в четыре утра, очень возбужденная: «Вы знаете, я нашла у себя ваш платок!» – «А почему вы думаете, что это мой? У меня давно не было платков с меткой». – «Нет, нет, это ваш, на нем метка «А. Т.». Я его вам сейчас привезу!» – «Но... Марина Ивановна, сейчас четыре часа ночи!» – «Ну и что? Я сейчас приеду». И приехала, и привезла мне платок. На нем действительно была метка «А.Т.».

Последнее стихотворение Цветаевой было написано в ответ на мое «Стол накрыт на шестерых...». Стихотворение Марины появилось уже после ее смерти, кажется, в 1941 году, в «Неве». Для меня это было как голос из гроба.

Ее прозу трудно читать – столько инверсий, нервных перепадов. Я предпочитаю Ахматову.

У Ахматовой такое совершенство формы! Однажды она показала мне кусок своей прозы. Мне не понравилось, и я ей об этом сказал. И ушел. Дома рассказал об этом жене, а она говорит: «Купи цветы и немедленно поезжай к Анне Андреевне, извинись». Но я не поехал. А через неделю раздается звонок. «Здравствуйте. Это говорит Ахматова. Вы знаете, я подумала: нас так мало осталось – мы должны друг друга любить и хвалить».

Она была такая красивая в молодости! Потом очень располнела, но такой умницей оставалась, такой прелестной.

Мы как-то пришли с женой к Анне Андреевне, и она послала Борю Ардова (она тогда жила у Ардовых) купить чего-нибудь к чаю. Он купил давленные такие подушечки, конфеты слипшиеся. Она сказала: «Боря, их хотя бы при тебе давили?»

Я приходил к ней в Боткинскую больницу, она лежала там после инфаркта. Однажды она сказала: «Поедем со мной в Париж!» Я говорю: «Поедем. А кто нас приглашает?» Она

отвечает: «Пригласили, собственно, меня и спросили, с кем я хочу ехать. Я ответила, что с Тарковским».

Ахматова любила у меня сонет, ей посвященный. А потом я написал «Когда б на роду мне написано было // Лежать в колыбели богов...», и ей так понравилось, что она позвонила мне и сказала: «Арсений Александрович, если вы теперь попадете под трамвай, то мне ни-и-сколько, нисколько не будет вас жалко». Такой вот изысканный комплимент.

Поэзия идет волнами. Есть какие-то ритмы времени – бывает время для поэзии и время для прозы. Начало XIX века и начало XX – время поэзии. То спад, то подъем, то подъем, то спад... Чем это определяется – кто знает... Если верить в переселение душ, то в меня переселился кто-нибудь из небольших поэтов – Дельвиг, быть может... Я бы предпочел, чтобы это был Данте, но он не переселился. Или Моцарт хотя бы. Я до десяти лет учился музыке, а потом это прекратилось в связи с революцией. А я очень люблю музыку. С поэзией связаны все искусства, какие существуют на свете... И живопись, и музыка. Но музыка – самое высокое искусство, потому что ничего, кроме самого себя, не выражает.

Мне было десять лет, когда песок  
Пришел в мой город на краю вселенной  
И вечной тягой мне на веки лег,  
Как солнце над сожженной Сиеной.

Река скрывалась в городе чужом,  
Поближе к чашке старика слепого,  
К зрачку, запорошенному песком,  
И пятиротой дудке тростниковой.

Я долго жил и понял, наконец,  
Что если детство до сих пор нетленно,  
То на мосту еще дудит игрец  
В дуду, как солнце на краю вселенной.

Вот я смотрю из памяти моей,  
И пальцем я приподнимаю веко.  
Есть память – охранительница дней,  
И память – предводительница века.

Во все пять ртов поет его дуда,  
Я горло вытяну, я ей отвечу.  
И не песок пришел к нам в те года,  
А вышел я тогда песку навстречу.

«И МЫСЛЬЮ, И СЕРДЦЕМ...»

*В воспоминаниях мы дома...*

П. Вяземский

С тех пор как я родился, прошло восемьдесят четыре года, просто тянет иной раз оглянуться, хочется вспомнить старину. Мне вообще интересно вспоминать. На определенном этапе жизни, уже в солидном возрасте, появляется ощущение, что детство как бы приближается. В расцвете жизни этого ощущения нет. А тут оно как бы притягивается к тебе, и зарождается желание все перебрать подробно и любовно.

Довольно точно могу сказать, с какого времени помню себя: февраль семнадцатого года, Петроград, февральская революция. Мне два года. Нашу квартиру обстреливают, и мать в панике укрывает меня от пуль, носит из одной комнаты в другую, пряча за капитальными стенами. Бежит вместе с домработницей, держа меня на руках, и взволнованно с ней переговаривается, попадут в нас или не попадут.

Помню полное свое спокойствие – тащат меня, значит, надо, стреляют, значит, надо. Я не стрельбу воспринимал, а материнскую взволнованность, без всякого испуга, с любопытством наблюдая страх мамы и домработницы.

Вот у меня и отложилась точная дата – февраль семнадцатого года, но отложились, наверное, потому, что это было настоящим потрясением для матери, передалось мне и воспринялось именно как потрясение, хотя прекрасно помню, что сам я отнесся ко всему этому безразлично: в два года на руках у матери чувствуешь абсолютную защищенность.

Жили мы тогда у Московских ворот, в казенной квартире, в жилом корпусе обувной фабрики



«Скороход», известной на всю Россию, да и не только Россию. Я родился в доме, который упирался окнами прямо в Московские ворота. Когда вспыхнули события Февральской революции, именно у Московских ворот собирались демонстранты, как тогда говорили, происходили волнения, поэтому приказали не стоять у окон, не высовываться, а наша домработница решила полюбопытствовать, высунулась, нас и стали обстреливать.

Зрительно помню мать и отца, но мне казалось, что они со временем совершенно не менялись, всегда были одинаковыми.

Я знал, что отец приехал с Волги, а мать из Прибалтики, и встретились они случайно у каких-то знакомых. Наверное, отец некоторое время ухаживал за матерью, как и полагалось, но на эти темы в семье никаких разговоров не велось.

Значительно позже, уже в зрелом возрасте, мне стали известны мои корни по мужской, отцовской, линии: предок мой пересек границу Российской империи в 1766 году по приглашению Екатерины II. Тогда за каждую немецкую семью Екатерина выплачивала человеку, который организовал переселение немцев на свободные российские земли, некоторую сумму денег. Как известно, бухгалтерские книги хранятся вечно, вот они и сохранились, и каждый немец, в то время пересекший границу, известен по имени. Карл-Фридрих Раушенбах... Мой пра-пра-пра-пра... – не знаю, сколько – дед.

Моя мать, Леонтина Фридриховна, урожденная Галлик, закончила школу, владела, кроме русского и немецкого языков, французским и эстонским, играла на фортепьяно, то есть получила общепринятое по тем временам для девушек образование. Как и многие ее сверстницы, перебралась потом на континент, в Россию, и устроилась бонной в состоятельную семью.

Отец, Виктор Яковлевич (деда моего по отцовской линии звали Якоб, значит, на русский лад – Яков; мать тоже со временем стала не Фридриховна, а Федоровна), родом был из Саратовской губернии, с Поволжья, где, собственно, и обосновалась большая немецкая колония. Образование уехал получать в Германию, а потом снова вернулся на родину, в Россию, и более двадцати лет проработал на «Скороходе», занимая довольно высокую должность технического руководителя кожевенного завода и отвечая за обработку кожи – ее дубление, окраску и прочее.



У немцев, как известно, ребенку дают несколько имен, и у меня, как и у моей сестры, два имени – немецкое и русское (родители, живя в России, отдавали себе отчет, что детей нужно учить русскому языку и давать им русские имена): меня называли Борис-Ивар, а сестру – Карин-Елена.

Отец работал, мать занималась домом, тогда так полагалось во всех семьях. Пока отец был жив, держали домработницу, когда он умер – а умер он шестидесяти лет, мне исполнилось пятнадцать, – мы лишились денег, мать не имела никакой профессии. Квартиру, правда, нам оставили, но тогда шел процесс так называемого самоуплотнения, и мы были вынуждены добровольно отдать часть нашего жилья. В моем возрасте все это было неинтересно, хотя я помню разговоры о самоуплотнении.

Воспитывала меня в основном мать, отец много времени отдавал фабрике, уставал, рассчитывал, что примется за меня, когда я стану взрослее. Восемилетнего ребенка всегда воспитывает мать, а не отец, это естественно. Вот когда мне исполнилось двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, он уже мог сказать: это плохо, это не по-мужски, это не по-немецки и так далее. И когда я поступал не лучшим образом, отец умел очень обидно дать знать об этом так, что я чувствовал себя буквально подлецом. Однажды я совершил не совсем этичный поступок по отношению к нашим знакомым, мелочь какая-то, обычно на это не обращали внимания, но отец заметил, отчитал и произнес с упреком: «Ведь ты же немец, как тебе не стыдно!» Эта фраза засела во мне на всю жизнь. Хотя отец был добрейшим человеком, мягким, внимательным, заботливым, всепрощающим.

Зато мама была строгая. Очень строгая. Но справедливая. Энергичная, жизнерадостная женщина, остроумная, веселая, она требовала выполнения возложенных на нас по дому обязанностей, не терпела фальши, своим примером привила нам способность не терять мужества в неприятных житейских обстоятельствах. При своем порывистом характере могла и подзатыльник дать, но всегда за дело. Наверное, я и бывал недоволен формой наказания – ну что такое: получить подзатыльник и напутствие «чтобы больше подобное никогда не повторялось!», но это не вызывало у меня существенных отрицательных эмоций, потому что я был виноват. Вот если бы я не был виноват, а меня наказали, я бы, наверное, тяжело переживал. А так – за дело, значит, за дело. Все.

В тридцатом году, когда не стало отца, мама все взяла на свои плечи и впоследствии не раз говорила нам, что папа умер «вовремя», имея в виду, что он сам не подвергся репрессиям, и поэтому не пострадали и мы. Вероятно, так и было. Ведь немцев на «Скороходе» работало немало, до революции сама фирма была как бы немецкой, но к концу тридцатых годов никого практически не осталось. Многие из них покоятся на Левашовской пустоши.

В школу я пошел семи лет. К тому времени в Петрограде славились три немецкие школы, в которых работали прекрасные педагоги, преподавание велось на немецком языке и было отлично поставлено. Школы были конфессионально обусловлены, и родители отдали меня в школу той конфессии, к которой я формально принадлежал. Так как по русским понятиям я был гугенотом, кальвинистом, а не лютеранином – разница небольшая, но она все-таки существует, – то меня и отдали в «гугенотскую» школу, в тридцать четвертую, бывшую реформатскую.

И вот я, немец по национальности и абсолютно русский человек по воспитанию, по мировоззрению, по психологии, учиться начал в реформатской школе, но к сожалению, ее не окончил. На исходе двадцатых годов их все закрыли. И немецкий язык я выучил по-настоящему в ГУЛАГе при помощи своего друга, доктора Берлинского университета, истинного берлинца. Мы с ним договорились: раз нас посадили как немцев, будем говорить только по-немецки. Четыре года мы, общаясь, не произнесли ни слова по-русски, и я научился хорошему немецкому языку – до этого у меня был «домашний», – и этим знанием «обязан» лагерю...

Как было заведено в те времена, мы с матерью ходили в церковь напротив Казанского собора. Наведывались туда на Рождество, на Пасху, не регулярно, а когда положено. Сестра моя прошла конфирмацию, а я нет, что-то мне помешало.

На Рождество обязательно устраивали елку, это потом уже ее сделали новогодней. Наше советское правительство признало, что какое-то время будут праздновать и Рождество, и новогодье, потому что слишком глубоко религия вошла в жизнь народа. Но тут же был сделан ханжеский «ход конем»: по указу правительства Рождество и рождественские каникулы праздновались по новому календарному стилю, а в церкви – по старому, поэтому получалось, что Рождество и рождественские каникулы были выходными днями, но совпадали не с православными, а с европейскими. Значит, именно на свое-

то Рождество, на немецкое, у меня как раз и были праздники, я освобождался от занятий. А православные работали, учились и это сделали нарочно – мол, не запрещаем, празднуйте, пожалуйста, но так как мы перешли на новый стиль, то и праздники перевели на новый стиль. Логика железная.

Елку в доме всегда наряжали родители, это была настоящая церемония. Нас с сестрой загоняли в какую-нибудь пустую комнату, запирали, и мы сидели там в темноте, а в это время на елке зажигались свечи, под елкой раскладывались под белыми салфетками подарки – родительские и наши, – и нам торжественно разрешали выходить. Когда мы высказывали из темноты к ярко освещенной елке с блестящими игрушками, это был такой контраст, что сразу оглушала, ослепляла необыкновенность момента.

Так же празднично мать старалась отмечать и дни рождений.

В детстве я любил блины и гороховый суп. Это неизменное, любимое на всю жизнь. Сладкое – нет. А гороховый суп, да сваренный со шкварками, с кореечкой!.. Поэтому в мой день рождения мать мне всегда готовила гороховый суп и блины со сметаной, с маслом и с селедкой. Я блаженствовал!

До двадцать пятого года мы жили при фабрике, потом служебные корпуса забрали на нужды предприятия, и правильно забрали, а мы переехали на городскую жилплощадь. Тогда в Петрограде жилищной проблемы не существовало, была проблема выбора – множество квартир стояли пустые. Помню, как мы с матерью ездили – она меня всегда брала с собой – и смотрели: вот тут? Нет, здесь двор плохой, а вот там – лучше. Мама хотела, чтобы мне легко было добираться до школы пешком, поэтому и квартиру подбирали в районе школы. В конце концов нашли на Исаакиевской площади, хорошее было место! Вообще мы жили в красивых местах, которые можно по праву назвать настоящим Петербургом! Памятник Николаю I, Исаакиевский собор, улицы, где я каждый день проходил, идя в школу... В этом городе я родился, и мне казалось, что другим он и быть не может. Красивый город, но родной, привычный для меня, я считал, что таким он и должен быть. Не восторгался. Восторг – это когда что-нибудь неожиданное, а мне в Петрограде все было знакомо до мелочей.

Особо любимых мест в Петрограде у меня не было, в Летнем саду, во всяком случае, я не гулял, это Онегина туда водили гувернеры. Даже на острова я ездил не для удоволь-

ствия, а работать на 23-м авиационном заводе. И закатом на островах не любовался, а вот буддийским храмом иногда любовался, он стоял неподалеку от завода и был такой странный, необычной для нас архитектуры. Не знаю, сохранился ли он сейчас...

Так вот, возвращаясь к своему детству, скажу, что при всех перипетиях оно было сравнительно счастливым, хотя после смерти отца жили мы бедно. Игрушек у меня не было, кроме мишки, он и сейчас цел, желтовато-коричневого цвета, вместо глаз черненькие пуговички. С годами ворс его шкурки совсем облез, потому что я всюду таскал его с собой, с двух лет, когда мне его подарили. Все исчезло, а он остался, и я к нему очень привязан. Я его почему-то особенно полюбил, носился с ним все время и не то чтобы играл, а просто это был мой мишка. Кроме меня на него никто не посягал, ни друзья, ни сестра – я даже дочерям его не давал, когда они у меня родились. Мой талисман, бедный мой мишка, страдалец. Меня всегда интересовало, что у него внутри, поэтому ноги у него повреждены: тогда ведь всюду топили дровами, печи стояли в каждой комнате, в них были дверцы, одна наружная, плотная, другая внутренняя, с дырочками для лучшей тяги. И вот когда наружная дверца открывалась, внутренняя, раскаленная, не давала дровам и углям выпасть на пол. И мне очень нравилось прислонять ноги медвежонка к дырочкам тяги... Мишка совершал со мной путешествие в Саратовскую губернию в семнадцатом году и обратно в Петроград в двадцатом, был моей постоянной и в общем-то единственной игрушкой, и когда мать попыталась его выкинуть однажды, во время переезда, я дико орал и требовал, чтобы мишку оставили. И его оставили. С тех пор он меня всюду сопровождает, в тридцать седьмом я взял его с собой в Москву, даже на космические запуски брал потом как талисман. Сейчас, правда, я с ним редко играю...

Я уже заметил, когда на меня обрушиваются крупные несчастья, то потом обнаруживается, что если бы этого не случилось, дело обернулось бы еще хуже. Так повторялось несколько раз в моей жизни, поэтому я отношусь философски к тому, что со мной случается, и думаю: наверное, все к лучшему, если не это, было бы что-нибудь еще похуже. Опыт по этой части у меня есть. Когда жизнь больно меня ударила и я был уже на краю, потом оказывалось, что – слава Богу! Иначе было бы много страшнее – так и так, и вот так... Я считаю, что забочусь о своем любимом мишке, моей драгоцен-

ной детской игрушке, подаренной мне крестными, а кто-то так же заботится обо мне... Когда меня будут хоронить, его, по моей просьбе, тоже положат вместе со мной...

В те годы в стране власть часто менялась, и любая перемена воспринималась моим отцом прежде всего как стрельба. Поэтому в семнадцатом году он увез нас подальше из Петрограда, чтобы не подвергать опасности, в Саратовскую губернию. Мне было два с небольшим года. Нам повезло: во время гражданской войны мы жили на Волге, там, где не было голода, на немецких землях: мой отец оттуда родом. Насколько мне помнится, родители мои ничего в политике не понимали, ими руководило чувство страха за семью, желание нас уберечь. Никогда потом у меня с отцом не возникало никаких разговоров о власти, он, по-моему, совершенно ею не интересовался, но помню его постоянный отрицательный комментарий: «Господи, нет хозяина! Разве можно, чтобы такой хлам валялся на заводе?» Такой была его обязательная реакция на всякий непорядок, он считал, что все катится вниз.

Умер отец от классической болезни, от сердечной недостаточности – надорвался во время гражданской войны, во время революции. Человек очень честный, ответственный, он щепетильно относился к своим обязанностям, и когда в середине двадцатых годов старых специалистов стали заменять так называемыми «красными» директорами, которые в деле ничего не понимали, но осуществляли советскую власть на предприятии, очень переживал.

Смерть отца была первой потерей такого рода, с которой я столкнулся лицом к лицу. Не могу определить то свое состояние, не помню его, помню только, что мне было очень тяжело. Мы с матерью дежурили по очереди у постели отца, старались находиться все время рядом с ним. Временами он впадал в бред, ему что-то мерещилось, он говорил: «Куры какие-то ходят, надо их прогнать...» – какие куры в больнице? А потом мать велела мне пойти домой поспать, потому что предстояло дежурить у отца ночью, и я вернулся в больницу сменить ее только вечером, когда вошел в палату, там не было ни отца, ни матери, и я понял, почему. Медсестра так на меня посмотрела... Я у нее ничего не спросил, повернулся и пошел обратно. Ну что спрашивать! Все и так ясно.

Конечно, мне было очень тяжело, но это меня как бы не касалось, непосредственно не касалось. Хотя мысли о смерти и о собственной смертности приходили ко мне и до, и после

кончины отца, но это были теоретические мысли. И разговоры на эту тему со старшим другом Борисом Ивановым, отцовским крестником, тоже можно назвать отвлеченными, я просто принимал в них участие опять же теоретически. Я был, скажем так, недостаточно взрослый, чтобы по-настоящему переживать. А позже... Я понял, что такова жизнь. Я помнил отца, любил его, но мы начали по-настоящему сближаться и интересоваться друг другом буквально за полгода до его смерти. Отец стал воспринимать меня как взрослого, а не как мальчишку, который вьется около мамы. И я начал немного понимать отца, очень недолго и самое малое в нем. И оказалось в результате, что мужского начала у нас в семье не было. Не знаю, как все сложилось бы, останься отец в живых, мне не с чем сравнивать. Может быть, это кончилось бы очень скверно, если бы он выжил, его могли арестовать за то, что он немец, ведь уже близился тридцать седьмой год, и я сразу оказался бы сыном врага народа. Может быть, мне повезло, что все мои родственники были на том свете, те, кто мог нести ответственность до меня – отец и старший брат. И поэтому я не стал ни сыном, ни братом врагов народа. Время ведь было сумасшедшее, это я сейчас понимаю, что оно было сумасшедшее, а тогда не понимал.

Еще тяжелее я переживал смерть матери, которая скончалась уже после Великой Отечественной войны. Сестра сохранила мои письма того времени. Приведу из них несколько строк:

«4.IV. 52.

Вот опять пятница. Как и ты, я каждую пятницу, чаще чем обычно, возвращаюсь мыслями к нашей мамане... Потерю мамы я переживаю тяжелее, чем смерть папы в 20-м году. Не то, конечно, чтобы я его меньше любил, а тогда оставалась мама, мы были еще мелкими и как-то инстинктивно «прятались за маму». Теперь «прятаться» не за кого, и это делает все более тяжелым.

Вспоминается многое из детства и из более поздних лет, и многое хотелось бы сделать по-другому, лучше...»

Так вот, в семнадцатом году отец отправил нас в Саратовскую губернию (потом это место стало республикой немцев Поволжья), потому что боялся и беспорядков, и того, что будет голодно. А в Поволжье жили какие-никакие родственники по отцовской линии, и он считал, что мы там пробудем лето, отдохнем и переждем трудное время. Застрали мы там на три года, вернулись в Петроград только в двадцатом.

Из Саратова мы сразу переехали в городок, где родился отец. Раньше он назывался Екатериненштадт, в честь Екатерины II, а неофициальное его название было Баронск, потому что основал этот поселок какой-то швейцарский барон. Естественно, после революции город переименовали в Марксштадт.

В Баронске мы снимали домик и жили там одни. Это была усадьба с двумя домами, маленьким и большим, в большом с кем-то жили хозяева, с кем – не помню, а наш был крошечный, деревянный, в нем устроились мать, няня, сестра и я. По-моему, там была всего одна комната, в которой мы и прожили все три года.

Вокруг лежали степи, но я этого тогда не понимал, потому что сам городишко утопал в зелени, окруженный садами, фруктовыми деревьями, и эти зеленые кущи запомнились очень хорошо. Помню и то, как мать одевала меня поприличней, и мы ехали к кому-то из родственников в гости, где можно было рвать сколько угодно яблок. В Баронске мы жили долго, отец присылал какие-то деньги, насколько я понимаю, но скоро появился закон, что все должны работать, – кто не работает, тот не ест. Это, конечно, была глупость, потому что все домохозяйки оказались перед необходимостью немедленного трудоустройства, так как они ничего не умели, кроме домашней хозяйственной работы. Моя мама пошла работать в контору, вроде горсовета, где печатала на машинке какие-то бумажки. Конечно, ей пришлось для этого научиться печатать. Помню, как я туда приходил, и мне дарили катушки от лент, которые вставляются в машинку, и как я ими играл. Мать проработала там некоторое время формально и говорила, что это чепуха, а не работа, но таким образом она была «трудящаяся».

Мы снова погрузились на пароход и отправились до Рыбинска, по дороге пересаживались на другой пароходик, поменьше, видно, река мелела, но первый пароход был огромный, волжский гигант, многопалубный и назывался, по-моему, «Совдеп» или что-то в этом роде.

В Рыбинске при пересадке я пережил страшную ночь. Нас высадили, пароход отчалил, а новый еще не пришел. И мы остались на улице. Лил жуткий дождь, под ногами слякоть – время противное, осень, – и мать уговорила какого-то сторожа пустить меня на склад, который он охранял. Сначала тот заартачился – не имею права, но мать его убедила, что пятилетний ребенок ничего плохого сделать не может. Меня

засунули в сарай, где было сухо и дождь не мочил, и оставили одного, наказав никого не пускать. Я это воспринял очень серьезно, как настоящее поручение. И поэтому, когда пришли за мной – уже надо было ехать дальше, я устроил скандал и никого не пускал, грудью встал на защиту склада. Помню, меня потрясло, что дверь открылась и вломились какие-то люди, а я же отвечаю за сохранность сарая! До сих пор живет во мне этот ужас – не потому, что они со мной что-то сделают, а потому, что я, ответственный, не укараулил того, что мне доверили.

Когда мы вернулись в Петроград, шел двадцатый год. Подробности всего происходящего изгладились в памяти, но помню, что к нашему приезду отец насушил много сухарей, и каждый вечер я и сестра получали кружку, набитую сухарями и залитую крутым кипятком. Эту тюрю мы ели с огромным удовольствием. С огромным удовольствием! Как теперь понимаю, мы проскочили между голодом в Петрограде, который к нашему приезду уже кончался, и голодом в Поволжье, который начался в двадцать первом году.

В Петрограде не то чтобы физически мы недоедали, но никаких разносолов не было. А потом, к двадцать третьему году, к нэпу, еды было сколько угодно, отец тогда неплохо зарабатывал, так что мы жили не скажу что беззаботно, но без напряжения.

Тем не менее существовали бесплатные детские столовые, где давали похлебку – свеклу и морковку, сваренные в воде, и я туда ходил, ел каждый день эту баланду. А потом у нас с другими ребятами был ритуал – правда взрослые относились к нему отрицательно, но мы железно его проводили, а именно: когда кончали есть, брали миски как резонаторы и в них рыгали: «У-а, у-а!» Уж не знаю, что нам хотелось этим показать, но каждый обед мы непременно завершали подобным актом. Кто-то потом мне сказал, что у некоторых народов это обязательный знак вежливости – продемонстрировать таким образом, что ты сыт. Наелся так, что тебя распирает. У меня, правда, плохо получалось, а у моего двоюродного брата звучало довольно мощно – у-ы! И так как в ритуале участвовали все, и миски работали как резонаторы, то концерт был еще тот! Каждодневный рев-рыгаловка!

Я регулярно ходил в бесплатную столовую, а значит, жилось нам не ахти как. Столовая находилась по месту жительства, наверное, составлялись какие-то списки, тогда это было принято. Не могу сказать, что я выглядел истощен-



ным, меня досыта кормили дома, и голода я не испытывал, но, с другой стороны, если мать меня туда посылала, значит, по ее понятиям, еды было недостаточно.

И все-таки в то время я жил в определенной беспечности. Это просто свойство молодости. Я не задавался никакими бесполезными, с моей точки зрения, вопросами, мне казалось, что все как шло, так и будет идти. А шло, на мой взгляд, хорошо. Ну в каком смысле хорошо? Пойду в школу, после уроков пообедаю дома, повожусь с ребятами, поиграю, потом отправлюсь в детскую техническую станцию, поконструирую и поклею разные самолеттики, потом – кружок юных натуралистов, еще какой-нибудь кружок. Все шло вроде бы нормально. Пока отец был жив и зарабатывал, мы жили прилично, а потом бедно, правда, я этой бедности как бы не чувствовал, считал, что и так можно жить, но сейчас-то, объективно говоря, понимаю, что жили очень бедно. Я не ощущал ущемленности, просто знал, что масла у нас не бывает, только маргарин, и хлеб мы едим не с маслом, а с маргарином. С одеждой тоже было не блеск. Во всяком случае, я из-за нее и танцевать, пожалуй, не научился, мне не в чем было ходить на вечера. Многие ребята на это не обращали внимания, ну, подумаешь, плохо одет, все равно потанцуем. А я не мог, не знаю почему. Наверное, по глупости. Мне казалось, все выглядят прилично, а я ободрался какой-то.

Позднее, став студентом, я получал казенную форму, хотя ее все равно приходилось выкупать. Стоила она дешево, но все-таки приплачивали какую-то сумму, сравнительно небольшую. А до этого носил что-то непонятное, юнгштурмовку с портупеей, по воспоминаниям сестры – какие-то брюки и куртки, пошитые мамой. Первый костюм я себе позволил, когда стал инженером. И появился в нем в Москве. По правде говоря, это был отцовский костюм, перешитый на меня, брюки остались как есть, а пиджак пришлось переделать.

Ярких событий в школьные годы не происходило, да и не могло происходить, потому что школа каждый год менялась. И самое яркое событие – очередная ее реорганизация.

Каждый год придумывали что-нибудь новое: бригадный метод, дальтон-план, и это было ужасно. Причем тогда даже считалось, что в некоторой мере стыдно писать абсолютно грамотно, мол, нехорошо, есть в этом что-то пролетарское, и вообще ни к чему. Важно, чтобы все было правильно в идейном смысле слова, а не в смысле правописания, тем более

что правописание нам толком и не преподавали. Вообще нам толком ничего не преподавали, старые учителя вели свои предметы очень хорошо – если это были хорошие учителя, – несмотря на всякие дальтон-планы, но были преподаватели и абсолютно пустые, поэтому в голове у меня от школьного образования образовалось все, что угодно, только не система знаний. И совершенно справедливо о нашем поколении говорят, что у нас есть высшее, но нет среднего образования. Такое выросло поколение.

Гуманитарных предметов тогда не было, а то, что нам преподавали, можно назвать как угодно, только не гуманитарными дисциплинами. Например, для нас даже самого понятия «история» не существовало, вместо истории читались какие-то странные курсы, которые назывались «обществоведение»: все общество делилось на классы, и один класс шел против другого. Считалось неприличным называть Петра I Петром Великим, так как он-де был представителем буржуазно-помещичьего класса, который хотел захватить то-то и то-то и обездолить крестьянство. Именно так нам все и преподносили, блоками. И учебников по истории не было никаких, вот такая нелепая ситуация. В конце концов она стала настолько очевидной, что создали специальную комиссию в ЦК партии по проблеме преподавания истории в школе (я уже к тому времени школу закончил). Комиссия состояла из Сталина, Кирова и кого-то еще. Вот тогда-то и стали учить истории. Но поскольку она столько лет была в загоне, никто ее не знал, а главное, никто не знал, как ее преподавать. К тому времени и вышел учебник, одобренный Сталиным и всей комиссией, учебник для четвертого класса, первый учебник истории в советское время. А дальше сложилась уж совсем комическая ситуация, которую я наблюдал как бы со стороны: единственным источником, цензурно-безупречным, стал учебник для четвертого класса средней школы, поскольку его «благословил» Сталин. По-моему, это был учебник Шестакова. То есть появилась история, но не дальше четвертого класса. Было очень смешно, когда во всяких журнальных статьях по истории России, которые тут же появились, в списке использованной литературы называли учебник для четвертого класса. Существовали, конечно, дореволюционные книги по истории России, но что в них – черт его знает! – а это апробировано самим Сталиным. И вот публикуется статья какого-то крупного ученого или академика по историческим проблемам, а ссылки в ней – на школьный учебник!

Естественные дисциплины, то есть естествознание, ботаника, зоология, у меня шли хорошо. Был юннатом, сажал деревья, животинки какие-то водились у нас, а главное юннатское заведение, Центральный клуб юных натуралистов, располагалось недалеко, в том же квартале, где я жил, поэтому после школы я знал куда пойти. Там стоял аквариум, плавали рыбки, но главное было – треп: трепались с ребятами о рыбках, хомяках, о том, как бы устроиться в экспедицию и поехать куда-нибудь летом, – вот чем мы жили. И в этой среде я не был особо активным, не был и особо пассивным. Как все. Что все делали, то и я делал, не выделялся. Хотя мама считала, что я страшный бездельник, дома не занимаюсь уроками, сочинение пишу перед самым уходом в школу утром, соскочив с постели, в одной рубашке. И когда мама меня ругала за то, что я не занимаюсь дома, я с удивлением отвечал: «Ведь я все это уже слышал на уроке! Раз я вынужден – хочу не хочу – высиживать положенные часы в школе, то нет смысла терять время и не слушать, а потом заниматься еще и дома». Наконец матери это надоело, она пошла в школу и сказала учительнице: «Пожалуйста, спросите сегодня моего Бобку (так меня звали дома), он уроков дома не готовил». Учительница спросила и поставила «отлично». Память у меня тогда была очень хорошая.

Если дома меня называли Бобкой, то в школе приятели звали Пушкой. Почему Пушка? Потому что это естественная трансформация фамилии: Раушенбах – Раушен-пушка – Пушка. До сих пор я Пушка, когда встречаюсь с одноклассниками. Пушкой буду для них до конца, потому что так меня «окрестили», говоря современным языком, в третьем классе и до окончания школы иначе не звали. Хотя буквальный перевод моей фамилии на русский язык – «журчащий ручей».

Школьные годы очень интересные, но они проходят как бы бессознательно, бессмысленно, как будто еще не понимаешь, что живешь. А вот потом возникает интерес, и оказывается, что самое главное – прошедшие годы, только осознаешь это поздно.

О том, что я, когда вырасту, буду работать в авиации, я знал лет с восьми. Это была не мода, а серьезное решение, принятое благодаря в какой-то мере моему приятелю Борису Иванову, крестнику моего отца, лет на восемь старше меня. Разница в возрасте большая, и это была не дружба, а с моей стороны – преклонение, с его же – покровительство. Я считал, что он верх совершенства на белом свете, а ему нравилось

иметь такого вассала, на которого он мог смотреть сверху вниз и воспитывать. Он был очень хорошим, Борис Иванов. Однажды показал мне в большом журнале, кажется в «Ниве», вышедшей в военное время, году в четырнадцатом-пятнадцатом, снимок английских кораблей, сделанный с английского самолета. Снимали с небольшой высоты, поэтому крупные корабли были хорошо видны, и Борис мне сказал: «Смотри-ка, смотри, все совершенно не страшно. Сфотографировано с самолета, а смотреть не страшно». Меня это так поразило, что зацепилось на всю жизнь, — только летать, только летать! Единственное, что я все-таки сообразил, что просто летать неинтересно, а интересно строить самолеты. И вот после этой фотографии в «Ниве», после слов Бориса Иванова, что «все совершенно не страшно», я пришел в авиацию. Совершенно случайно, в общем-то. Но это первая любовь, самая горячая и вечная.

Учась в школе, я мечтал об археологии, но не пошел в археологи, потому что понял: в Египте мне все равно не копать. А что для школьника может быть интересней, чем Египет? Любовь к истории я чувствовал всегда, в особенности к древней, поэтому ездил в основном по древним русским городам. Посещая памятники древней русской старины, я не сразу, но зато основательно заинтересовался иконами. Прежде всего меня смутило то, как в них давалось пространство. В иконописи повсеместно используется странная «обратная перспектива», которая кажется абсолютно алогичной, противоречащей очевидным правилам, известным сегодня всем и подтвержденным практикой фотографии. Неужели это результат «неумения», как об этом писали многие? Почему вообще художники пишут так, а не иначе? Я пытался найти рациональные корни.

Оказалось, что «обратная перспектива» и многие другие странности совершенно естественны и даже неизбежны.

За столетия происходило не постепенное улучшение способа изображения пространственных объектов на плоскости картины, а изменение задач, решавшихся художником, причем всякий раз они решались оптимальным образом. Задача, вставшая перед древнеегипетскими художниками, была решена ими наилучшим образом. Если ставить ту же задачу перед современными художниками, то они не смогут предложить ничего лучшего.

Аналогично и античность. Так что история изобразительного искусства — это не постепенное восхождение на вершину

абсолютного совершенства, а покорение ряда равновысоких вершин. Выяснилось, что создание идеальной картины, во всем следующей зрительному восприятию, в принципе невозможно, то есть нельзя изобразить мир таким, каким ты его видишь, до мельчайших подробностей. Что любое изображение – обязательно искажение.

«Я так вижу!» Считалось, что художник таким образом просто выпендривается: подумаешь, какой гений, все видят одинаково! А оказывается, это имеет смысл, математический смысл, потому что для одного важна вертикаль – стены, а для другого – горизонталь, пол. И художническое «я так вижу», казалось бы заумное, имеет строгое математическое обоснование.

Решить эту задачу искусствоведам было не под силу. Для этого пришлось учесть работу не только глаза, но и мозга при зрительном восприятии. А это, в свою очередь, потребовало математического описания.

Есть разные способы восприятия мира. Одна половина мозга занимается логической частью, другая – внелогической. Это даже в какой-то мере разделено физиологически – на левое и правое полушария. Одно включает логические знания, в том числе и науку, и речь, и так далее, другое занимается внелогическим познанием мира, там сосредоточены чувство красоты, поэзия, религия... Но это очень грубая схема. Мне не хотелось бы, чтобы так препарировали человека: вот левое, вот правое, и они совершенно не связаны. На самом же деле человек – это некое единство, и ему свойственно целостное понимание мира. И обе части одинаково важны, и одинаково дополняют друг друга, если можно так выразиться.

У Гомера есть пример взаимодействия логической и внелогической частей нашего сознания. В «Илиаде» Гектор говорит об ожидающей его трагической судьбе:

...Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью, и сердцем,  
Будет некогда день, и погибнет священная Троя...

В детстве я чувствовал, что в какой-то прошлой жизни я был египтянином. Видел почти наяву. Вот я выхожу во дворик с глинобитными стенами. Раннее утро. Семья моя еще спит. И такое солнце...

## ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗА

*Мужественные люди, как известно, любят угол, эстеты – овал. А я люблю шар.*

Что в пространстве проще и яснее, хотя над шаром ломали голову Архимед и Гиппарх? А Герману Шварцу понадобились годы, чтобы доказать истину вполне очевидную: из всех тел наименьшая поверхность – у шара.

Наименьшая. И разнообразнейшая до границ мыслимого, если шар – земной. Чуть приплюснутый, шершавый, почти на три четверти мокрый. И, сказано поэтом, меблированный.

Посреди степи чувствую, как Земля вдали закругляется – всякий раз я на вершине шара. В Южной Америке или по ту сторону экватора в Африке взаправду жил антиподом, до смешного – головою вниз. Боясь сорваться упасть в небо.

Мне снятся высокомерные сны: вытяну ноги и упрусь в Апеннины, закину руку за голову и ударюсь о Чукотку.

Когда на минутку отвлекусь от дела, сразу пускаюсь блуждать по земному шару – видовой кинематограф: бегут одно за другим места, где был, где ездил. В миг радостного возбуждения перед глазами молнией вспыхивает пейзаж с гористым кругозором, с извивами реки.

Полет на Марс, кратеры Луны – сожалею, но такое мне безразлично. Земной шар, только он, – и на нем вижу выпуклый и зазубренный щит страны, где вырос.

Сама жизнь моя началась в переломный строгий час – в Москве в конце декабря 1905 года, на высоте вооруженного восстания. В городе бои, на улицах и мостах стреляют – акушерка едва добежала.

Летом 1914 года услышал:  
– Война.

Стояла жара, вокруг Вереи горели леса, пахло гарью. Мне шел девятый год. Вернулись в



Москву. Я прочитал в «Русском слове» похвальбу генерала фон Ренненкампа, командующего Первой русской армией: «Дам на отсечение правую руку, если не войду в Берлин». Видел, как громили фабрику Шрадера, по ветру летел пепел. Заодно, не разобрав, на моих глазах потрепали и заводик Смита, англичанина. У дяди, прапорщика 212-го Романовского полка, скрипела свежая португя. Он привез мне с фронта, как тогда полагалось, австрийскую винтовку. Я переставлял флажки на карте, они медленно сдвигались вправо. С матерью мы мерзли в первой очереди за хлебом, это было на Покровке, принесли домой мягкие булки, обсыпанные белой мукой; запах их помню.

В сад доносились гудки паровозов с Курского вокзала. Мне было лет восемь, когда страсть ездить и видеть сказалась поступком. Дачный уже трогался, я быстро вскарабкался меж буферов на площадку под острой грудью паровоза «С» и, замирая от восхищения и жути – совершенно то же ощущение, что и над льдиной у Северного полюса, – впереди всех домчался до Москвы-Рогожской, оттуда домой пришел пешком. Перепачкался в мазуте и масле, меня оглушал паровозный свисток, и машинист грозил из будки кулачищем. А я был несмелым. Водили за руку, пичкали сладким, зимой кутали в башлык. Увижу на небе тучку – гулять не пойду. В речке не купался – не отваживался. На каток не бегал: а вдруг покажусь нескладным? Первый раз безотчетный порыв нарушил осторожную жизнь.

Каждый год паиньку выбирали старостой в классе, и он послушно следил за порядком. Но однажды решился поленом припереть изнутри дверь школы, чтобы не проник учитель ненавистного счетоведения – тот подергал ручку и ушел. Я делал обратное, не замечая того. Оставался собой и становился другим.

Начинал раздваиваться, начинал жить.

\*\*\*

Учиться отдали за два года до революции в Императорскую Практическую Академию Коммерческих Наук – пышное название было у школы на Покровском бульваре, основанной еще в 1810 году и едва ли не лучшей в Москве. С внутренней церковью. Иногда приезжал на дутых шинах попечитель – генерал-губернатор Джунковский, свиты его величества генерал в аксельбантах. Тут, в привилегированной школе, я впервые испытал унижение. На законе божием старообрядцы

должны были покидать класс, как и лютеране, евреи и караимы, — нас, нечистых, принимали в ту школу неохотно. Я и не подозревал, что нам для духовного развития было полезно считаться изгоями.

В феврале 1917 года шел в школу по Грузинскому переулку, нес ранец, встретился товарищ: — Поворачивай обратно — революция. На фронте школы замазали слово «императорская». С форменной фуражки маленькую корону велели сколоть — осталась дырка.

В октябре 1917 года дом наш попал под траекторию Андроньев — Кремль. С горы над Яузой пушки вели огонь по юнкерам, стекла в окнах со стуком вздрагивали; слышу удар воздуха от летящих снарядов. И все то время слышу. Трамвайную мачту с круглой пробойной — экспонат перед Музеем Революции — видел на своем месте, на поле сражения: у решетки Тверского бульвара, против кинематографа «Великий немой». Сам читал аршинные буквы на розовой стене Страстного монастыря: «Не трудящийся да не ест». Помню, когда исчезли «аго», «ять» и в конце слов твердый знак. Помню, как в 1918 году после 31 января сразу пошло 14 февраля. Знаю, что такое колобашка — землистый хлеб; мерили на восьмушки. Помню, как за билет на Большого театра платил пятнадцать миллионов

Забор, ограждавший наш дом и сад, был сожжен на «буржуйке». Дворницкая сторожка у ворот давно опустела, снег сгребали мы с отцом, пока он не ушел фельдшером на фронт, в дивизию Киквидзе, — лечить от сыпного тифа. И болеть самому. Чтобы позже от последствий тифа умереть.

\*\*\*

Время текло, я читал. И постепенно просветился: Кант — идеалист, Милль — эклектик, Бюхнер — вульгарный материалист, Реклю — анархист, Ключевский — буржуазный либерал... Вокруг шумела революция, и я перешел к Плеханову. Ничто не вразумило меня столь решительно, как его ясный, острый, легкий «Монизм». Так мы все называли книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Она-то и ввела меня в общий фарватер.

Затем, естественно, я проштудировал все тома «Капитала». От сих до сих тогда никто не задавал.

И я уже верил, что моральный закон будет установлен разумным и активным классовым действием. Не сомневался, что новое общество утвердит справедливость, сломит отчуж-



дение, искоренит привилегии, раскует личность, даст ей духовную свободу, навсегда покончит с рабством.

Сегодня, полвека спустя, в дневнике тех лет нахожу умилительную фразу – зеленый подросток писал: «По этому вопросу я вполне согласен с Марксом».

В первый год жизни вместе в день моего рождения Зина тащит, сгибаясь, тяжелый сверток. Он занял полкомнаты.

– Что я тебе купила!

Срывает бумагу: бюст Карла Маркса. В полную величину. Мог бы стоять в парке.

\*\*\*

В школе я получил звание техника банковского дела и попал в Мосгорбанк помощником бухгалтера.

Стоял за конторкой и усердно помогал сводить ежедневный дебет-кредит. Иногда мне поручали сверстывать баланс всего банка. Но плелся домой и раскрывал тетрадку – известно, чем ты более одинок, тем дневник нужнее:

«В углу пахнут лыжи. Фиолетовое окно, вечер, легкий мороз. Эмалевый закат на Севере, книга. Конечно, вот где я. Это мое...»

В первый год свободного приема в вузы выдержал конкурсные экзамены, из банка ушел, и теперь у меня были летние и зимние каникулы. Ждал их и готовился к ним.

\*\*\*

Саами еще звались лопарями – они промчали меня в буран на оленях по окоченевшей тундре, держа хорей, как копьё. В погосте у камелька без трубы зябла лопарка с голым младенцем.

По дороге на Мурман, как розовая люстра, вращалась лесная Карелия: лучи низкого солнца вспыхивали в стеклярусе инея. Петрозаводск был весь деревянный, кроме губернаторских зданий с чугунными львами на Циркульной площади – сколок Петербурга.

По холмам и замерзшим озерам в санях до водопада Кивач. Спрыгивая с одиннадцати метров, он в полную силу ревел среди глухого леса: еще не отвели струю для гидростанции. Я думал: у нас и свой Канадский щит из гранита!

На какие деньги ездил? Стипендии бы не хватало. В доме висела икона, единственная, какая к тому времени осталась, – темная, прокопченная гарью деревянного масла икона Николая-угодника в золоченом серебряном окладе. Верейс-

кая прапрабабушка Федосья по завещанию отказала ее отцу моего деда, служившего у Морозовой. Мать очень любила меня и, чтобы добыть денег на путешествие, продала икону того святого, во имя которого она же назвала.

Как я мог принять эту жертву? Увы, когда стремлюсь в путешествие, ни с чем не считаюсь, не отступаю. Это не признак силы.

А потом я отправился на Памир.

\*\*\*

Некий психолог называет личность, приверженную пространству, «хорологической» – от греческого «хора», место. Следовательно, не я один такой. Не редкость.

Был ребенком – хотел дознаться: а что за тем лесом? Чертил карты окрестностей.

Карта обдает меня радостью. Вижу – висит, я к ней устремляюсь.

Люблю вместо бумаги или стекла класть на рабочий стол карту – расстелить и прищипить: пишешь – будто едешь.

В Уругвае увидел журнал с эпиграфом: «Жить не необходимо, плыть необходимо». Плыть, *navegar*. Во времена великих открытий эти слова были девизом португальских и испанских мореплавателей. Теперь иносказание. Но у газетного киоска на улице в Монтевидео я вычитал и смысл прямой, тогдашний: всегда хочу плыть.

Как изначален, общечеловечен этот символ. «Сломай дом, построй корабль», – зовет клинопись вавилонской поэмы о Гильгамеше, древнейшей поэмы на Земле, ей пять тысячелетий. Герой еще молод, он смело странствует в поисках тайны бессмертия. А вот близость конца:

– И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

В незнакомом городе мне прежде всего нужно уяснить основы плана, иначе город не почувствую. Был, помню, в Новокузнецке – первым делом обошел главные перекрестки, заглянул в даль улиц и, как школьник, начертил схему на бумажке. А за суматошный день проездом в Амстердаме ничего не уловил – мучаюсь до сих пор, образа города нет. Ни каналы, ни Рембрандт, ни золотой кораблик на шпиле дворца не утешают. Не вижу соразмещения.

Великое блаженство: смотреть с воздушного корабля на землю, на живую карту. Летел однажды из Владивостока в Москву через Сибирь: двое всю дорогу не отрывались от

иллюминатора — я и десятилетний мальчик, прильнувший к стеклу.

Уехав, ношу перед собой образ города или ландшафта. Я, как говорится в психологии, эйдетик: что уловлено сетчаткой глаз, в мозгу живет долго. Такое больше свойственно детям. Возвращаясь в какое-нибудь прелестное место, разочаровываюсь и скучаю: не вижу нового, уже известно, все пережито.

\*\*\*

Геометрию, учение о пространстве, я люблю, алгебру — нет: геометрию с ее чертежами я вижу.

В пространстве я дома. Что значит заблудиться? Чутьем выхожу куда надо.

Мне нужно знать не только «что», но и «где». Читаю в газете: в Ленинграде на набережной Мойки опознан дом Ломоносова. Дано описание — число этажей, внешний вид. Но дома я не вижу — потому что не знаю, где же на Мойке? На каком берегу? В каком конце? Ближе к Новой Голландии или к месту, где жил Пушкин? Заряд для меня пропал. У писавшего не было потребности обозначить пространство, а я без точной привязки к местности мало что понимаю.

С чувством местности — картографы, летчики, полководцы, грибники.

Откуда у современного человека страсть обозреть пространство? Где ее истоки? В ориентировочном рефлексе древнего охотника? В атавизме «территориального императива», как у птиц и зверей, оберегающих для себя пространство в лесу? Говорят, и петухи-то поют под утро, чтобы еще раз громко засвидетельствовать право на свой двор, на клочок пространства.

Когда я был молодым, Самуил Яковлевич Маршак, сразу разглядевший влечения, наставлял меня:

— Пусть поезд идет не порожняком, а груженный. Евгений Онегин с набережной Невы слышал, как «дрожек отдаленный стук с Мильонной раздавался вдруг». Сказано неспроста. Все улицы в тех местах были покрыты деревянным торцом или гладким камнем, а на Мильонной (теперь улица Халтурина) мост через Зимнюю канавку замостили булыжником. Дрожки потому и дребезжали.

Вот что значит познавательный образ.

А сколько их в «Путешествии Онегина»! Совершенно необязательно истекать им из науки в узком смысле.

В стихотворении «Равенна» Блок говорит:

Далеко отступило море,  
И розы оцепили вал...

Все знают эти строки, но мало кто в полную меру оценивает точность поэта. Равенна сейчас окружена сушей, морского горизонта оттуда не усмотришь: Адриатика примерно в шести километрах. А когда-то Равенна была гаванью римского флота. Блок применил познавательный образ. Точность, невсеобщность – вот что облакает его настоящим изяществом.

Видел Равенну в 1966 году, как раз тогда отменили смертный приговор, вынесенный Данте почти семьсот лет назад.

Сегодняшняя Равенна заполнена юными девушками: какие-то женские школы. У ветхих стен монастыря, где позже жил Байрон, – могила. Прочитал на мраморном надгробье: «Злу я не покоряюсь». Что было горшим злом для Данте? Изгнание из Флоренции – и смерть Беатриче.

\*\*\*

Волошин был посвящен в естественной истории культуры. Скажем, стихи его о Коктебеле дышат знанием.

Вот подход геологический:

Огонь древних недр и дождевая влага  
Двойным резцом ваяли облик твой.....

А вот исторический:

В одно русло дождями сметены  
И грубые обжиги неолита,  
И скорлупа милетских тонких ваз,  
И позвонки каких-то пришлых рас,  
Чей облик стерт, а имя позабыто.  
Сарматский меч и скифская стрела,  
Ольвийский герб, слезница из стекла,  
Татарский глет зеленовато-бурый  
Соседствует с венецианской бусой,  
А в кладке стен кордонного поста  
Среди булыжников оцепенели  
Узорная турецкая плита  
И угол византийской капители.  
Каких последов в этой почве нет  
Для археолога и нумизмата –

От римских блях и эллинских монет  
До пуговицы русского солдата.

Волошин сожалел об отсутствии «художественной метеорологии, геологии, художественной ботаники, художественной зоологии, не говоря уже о художественной социологии». Но он вовсе не хотел поучать. О раскопках, столь интересных для него, говорил: «Не научная доказательность важна была для искусства в этих археологических открытиях: они создали новые разбеги для мечты и для догадки». Оставался поэтом.

А как было бы, на мой взгляд, интересно изучить, скажем, двуединое дарование Мариэтты Сергеевны Шагинян. Или литературную работу академика Александра Евгеньевича Ферсмана.

Поговорить о возросшем давлении науки на искусство мы все горазды, но попыток разгадать законы творчества очень мало. Больше пишем, что Эйнштейн играл на скрипке. А на скрипке играл даже хирург Платон Кречет у Корнейчука.

Павлов считал, что у обычных людей «мыслительная» и «художественная» системы более или менее уравновешены, а у творческих личностей та или другая преобладает: либо ученый, либо поэт. Как исключения поминал Лукреция Кара, Леонардо да Винчи, Гёте, Бородин.

Можно добавить. Гоголь сказал о Ломоносове: «Чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта». Белинский говорил, что у Герцена ум «осердеченный», что Герцен умел интеллект доводить до поэзии.

Эти двусторонние таланты соединяли различное не одинаково. Герцен в «Былом и думах», в публицистике сливал в одном творческом потоке, так же как, скажем, и Лукреций Кар в своей поэме. Бородин отдавал силы по очереди то химии, то композиции. Как в наш век и в грядущее время? Может быть, разносторонность творчества будет более присуща людям обычным, как мы все?

В Милане я увидел «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, чудом уцелевшую на стене трапезной в церкви, разрушенной бомбой. Остолбенел, не только композицией пораженный – она известна, не только красками – они выпцвetaют, а перспективой, трехмерностью. Репродукции всю глубину пространства не улавливают. Сказал:

– Математика.

Зина ответила:

– Эх ты. В слиянии с искусством.

\*\*\*

Читал курс экономической географии в Московском институте инженеров транспорта. В тридцать шестом году вырвал себя из учебного плана и почти полгода странствовал по Дальнему Востоку, вернулся – мне говорят : «Вы уволены».

Было больно. Но ей-же-ей – какая удача! Освободилось время – написал книжки. Они устаревали прежде, чем успевали выйти из типографии. И не следовало жалеть – ведь именно быструю изменчивость я и пытался показать.

\*\*\*

Весной 1948 года среди ночи звонок дежурного редактора «Известий»:

– Николай, поздравляю. Утром прочитаешь.

Утром прочитал: лауреатство за книгу «Над картой Родины».

В те годы премия значила для писателя куда больше, чем теперь. Позже вторая Государственная – за книгу «Россия» – прошла совсем спокойно. А тогда я был обласкан издательствами. Ездил на парадные встречи, где хлопали в ладоши, не прочитав.

В фойе Художественного театра я с малых лет млею перед портретами писателей, и как раз там Фадеев с пожатием руки выдает нам лауреатские значки, на глазах Толстого и Чехова. И мне не было совестно!

Из «Огонька» пришел фотограф. Не могу сейчас смотреть на эту картинку без стыда и отвращения: под торшером в задумчивой позе расселся с открытой книгой тип, упоенный собою.

Я вообразил, что пишу хорошо, и поэтому стал писать совсем плохо.

Пафос окостенел. Много фанфар. Вовсе нет личного начала, собственного взгляда на вещи.

Но время шло. Постепенно одумался, осмотрелся.

Почувствовал : а ведь я в тупике. Засомневался, что и как писать. Книги перестали выходить. Я соскучился по самому себе.

Просыпаюсь однажды утром и говорю:

– А почему бы мне не слетать на Северный полюс?

Отчаянный ход ферзем в проигрышном положении.

\*\*\*

Море у берега забито льдом. Оно тихо шумит, но это не шум прибоя, а шум льда. Еле слышный шелест, настороженный шепот, издали идущий гул.

Скупая прелесть, я бы сказал – торжественность. Откуда такое чувство на голых, холодных камнях? Наверно, суровость природы вызывает новые силы в душе человека – силы на жизнь, на борьбу, на восхищение прекрасным.

Летчик Виктор Михайлович Перов заколебался:

– На СП не пойду. На полюсе слишком тепло. Лед тает, полоса размыта, обломана, слишком коротка. К тому же вся в ропаках.

– Как же? Неужели возвращаться?

– Очень может быть.

Замкнулся, надвинул капюшон, отвернулся.

В самом деле, машине ничего не стоит свалиться в море.

Уж не вернуться ли? Тревога, как рана.

Много позже был я в Ферраре, где сначала жил, а потом томился узником в сумасшедшем доме Торквато Тассо. Там, у стен замка, я сразу увидел островок в Ледовитом океане, откуда смелый Перов боялся лететь на расколотую льдину.

В тот тревожный час на островке вдруг с радиорубкой – музыка. Несомненно, Лист. Прислушался – ах, это «Тассо». Удары стальных клинков и шипение адской смолы. Трубные звуки страдания и славы. А между ними – менуэт, мелодия любви. Вспорхнула, овеивает весь мир – зажмурил глаза.

Как я мог сомневаться? Лететь, лететь!

\*\*\*

В Москве перед полетом возбуждение поглотило меня. Жена проводила до ворот аэродрома. Я ушел с рюкзачком по длинной асфальтовой дорожке между пакгаузами – и не оглянулся.

Какая боль, но поздно, не догонишь. Служитель спрашивает, выдавая билет в рискованный рейс: – Кому писать?

\*\*\*

После долгих колебаний Перов все же решился. Человек определяется борьбой с самим собой. Не будь соблазнов измены, чего бы тогда стоила верность? Если бы добро всегда вознаграждалось, какая бы дешевая была ему цена.

Летим над океаном. И вот спускаемся. Восторг опасности, моя душа накалена. Садимся на осколок льдины.

Что было для меня, литератора с любовью к географии, заветным мечтанием, недостижимым? Как ни наивно...

У начальника дрейфующей станции Алексея Федоровича Трешникова толстая амбарная книга, он все туда записывает, записал и слова моей депеши.

Храню ее:

Прием: 15-го 10 07 № 529

13 сл. 14-го 17 ч. 30 м.

Служебн. отметки: замедл.

Москва Потешная 3

Из: Север три № 636

врачу Зинаиде Васильевне  
Косенко

Что такое Северный полюс? Точка на вершине земного шара. Точка, поглотившая последнее кольцо параллелей. Точка, где солнце всходит и заходит раз в году, а звезды ночью не восходят и не заходят вовсе. Точка, которая вращается вокруг себя самой. Точка, где сходит на нет центробежная сила Земли. Точка с каким угодно временем суток. Точка, не знающая разделения между понедельником и вторником. Точка без запада, востока и севера: куда ни помотришь, всюду юг. В домике кают-компаний, стоящем на полозьях и похожем на возок, я увидел пианино. Рядом с библиотечными полками, таблицей шахматного турнира и стенной газетой «Во льдах» висел приказ: «Неорганизованное преследование медведей воспрещается».

Кинооператор и доктор, в палатке которых я жил, читали Бернарда Шоу. Спросил, знают ли, как встретился с Нансеном. Шоу сказал:

– Вы бы лучше изобрели порошок от головной боли, чем открывать Северный полюс, который никому не нужен.

Нансен не дошел до полюса, но много сделал полезного. И был благородным – написал в дневнике к концу жизни: «Ты не достиг того, на что надеялся, но, может, удалось что-то другое? Вечно кропотливо готовишься совершить что-нибудь великое, и всегда неизбежно получается нечто совсем другое, случайное, сделанное средненько и не доведенное до конца».

С промежуточного островка, где звучал «Тассо», отвезли на полюс собаку. Я ее очень стеснялся. Люди думали, что понимают, зачем лечу на льдину. Но понять это собаке было трудно. Она смотрела на меня, и я отводил глаза.



\*\*\*

Когда-то я понял: путешествие не литература, если нет путешественника. Простая мысль – а сколько потребовалось труда, чтобы ее уразуметь и применить. Стал тогда искать свое «я» в пути. Значит, стал искать и «я» читателя.

А теперь начал думать: почему же «я» – лишь в пути?

Путешествие есть жажда пространства, но, если хотите, и одна точка – пространство. Атом пространства. Не будь точки, не ощутить бы нам просторов.

Душа-то ведь ведет свою жизнь в одном месте – в себе самой. А я мыслил территориями. Меня что-то уносило от излучин души к излучинам реки. И я, и читатель удалялись в пространство, вовне. И понимали друг друга меньше, чем могли бы.

Шел я, шел – и опять, как тогда, давно, оказался перед озером в неведомых горах. Ну же! С риском по отвесной скале. Через неоткрытый перевал...

Где же в моих книгах борьба за достоинство личности? Где жизнь идеалов? Где различение средства и цели?

Возможно, поздний путник подходил к повороту дороги. Возможно, я подбирался к попытке написать что-то другое, по-иному. Кто знает – может быть, напрягши все силы, я сумел бы чего-то добиться.

Но спираль вдруг сломилась – и способность писать я утратил: Зина умерла.

## ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

**Н**очь. В квартире тишина. В кабинете молча стоят стеллажи с книгами по специальности. Две дверки раскрыты – в углу за ними горит перед иконами лампада. На письменном столе – лампа, на стенах – фотографии. Дом уснул.

Воспоминания теснятся. Образы ушедших подходят и обступают меня. Они ничего не говорят и ничего не просят. Я сижу перед ними, виноватый и должный. Я много от них получил хорошего, радостного, светлого, но не платил им той же мерой любви, которую получал сам. Они многому научили меня, и жизнь многих из них была подвигом служения людям, науке, Церкви. У одних был подвиг яркий, у других – тяжелый и малозаметный в своей повседневной обыденности. Образы человеческие обладают притягательной силой.

Мемуары стали модой. Воспоминания пишут выдающиеся полководцы, крупные ученые, дипломаты, знаменитые писатели, артисты, художники. Никем из них я не был – рядовым прошел войну, позже стал рядовым научным работником (в конце жизни мелким синодальным чиновником и рядовым священником Русской Православной Церкви, пятым-третьим священником небольших приходов Москвы). «Ты никто», – сказал мне директор института, где я работал, когда я однажды увлеченно попытался как-то обосновать ему одно масштабное мероприятие в середине 60-х годов. Однако я прожил короткую, но интересную жизнь с наблюдениями и размышлениями, радостями и болями. Жил в гуще солдатских масс, общался с представителями интеллигенции всех рангов, с рабочими, колхозниками, духовенством. Порою меня принимали за рабочего, погонщика ослов, или называли профессором, или считали священником, хотя (тог-



да) я ни тем, ни другим не был, случилось — подавали милостыню, как нищему. Я встречался с генералами, беседовал с учеными, имеющими мировую известность, посещал кабинеты академиков и министров, беседовал с членами республиканских ЦК, разговаривал с премьер-министрами, Председателями республиканских Верховных Советов, посещал епископов и гостил в архиерейских домах.

Передо мной прошло несколько исторических эпох, но я воспринимал их на уровне рядового русского обывателя, среднего интеллигента, воспитанного в советское время, на старости лет увидевшего демократию непонятного типа.

Перед лицом истории мне не надо оправдываться, ибо мне не дано было влиять на ее ход. Как и многие мои сверстники, я был захвачен турбулентным потоком бурных событий середины XX века (последних трех четвертей XX века). Жить в нем было трудно, и порою животное чувство самосохранения порождало стремление выскочить из наиболее горячих вихрей.

Я в них лишь наблюдатель. Исключение, может быть, представляют годы младенчества и детства: через себя и из себя я пытался раскрыть некоторые черты психологии и мироощущения раннего и позднего детства. О них обычно пишут очень со стороны, взглядом постороннего объективно-го наблюдателя.

В этих записках я как скатанное зернышко легкого пороодообразующего минерала (кварца, полевого шпата, слюды) в препарате пробы изучаемого под микроскопом песка...

### **Эскизы и этюды младенчества и детства**

Разные периоды жизни моей кажутся написанными разными красками. Они отличаются цветовой тональностью и имеют разную манеру рисунка.

Раннее детство написано нежной акварелью ясного, но не яркого солнечного дня, когда по синему небу плывут легкие и высокие облака. В детстве были дни и ночи, зима и осень, долгие вечера, когда в огромной, как мне казалось, детской я катал каштаны и ползал вслед за младшим братом по большому и мягкому ковру. Но не эти реальные краски круговозратного года определяют красочную тональность и рисунок раннего детства.

В красках в живописной манере я воспринимаю и художественные произведения: уверенным, сочным маслом пишет Толстой; отточенные рисунки пером характерны для Чехова;

темпера и сепия, а в ранних произведениях пастели, отличают Достоевского; всеми красками писал Пушкин, но пастелью он не владел.

Акварели — это символ чистоты и ясности человеческих отношений, отсутствие забот, это нежность и любовь, которую я встречал от всех и особенно от горячо мною любимого деда.

Незабудки нельзя писать маслом — считал И. Грабарь, среди его маслом сделанного букета сирени нежным звучанием акварели передано очарование скромных незабудок.

Масляные краски стареют, акварели сохраняют свою ясность в веках. Мы не дорожим скромными свеженаписанными листками акварелей — они лежат в альбомах и папках и выбрасываются. Значительными кажутся лишь холсты, написанные маслом.

Так и в молодости мы не дорожим своими воспоминаниями. Как акварели водою, они смываются переживаниями отрочества и юности.

Акварели дают первую радость общения творящей руки с богатым миром красок. И они приходят к нам в детстве.

Акварели — это ясная голубизна неба, прозрачная легкость облаков. Тяжелые тучи — те лучше писать маслом. Почему-то от раннего детства в памяти сохранились в основном ясные дни, мягкие закаты, когда синее небо неуволимо переходит в розовое. Помню напоенный солнцем разлив Свислочи, пронизанные синевой неба осенние желтые, красные, оранжевые кроны городского парка Минска. Наводнение в Ленинграде и три дня мучительного сидения в доме — это что-то чуждое в общей тональности детства, как кусочек холста, написанный пастозной кистью в акварельном альбоме.

Я рос, и передо мною открывался огромный мир, где все было ново, полно захватывающего интереса и значимо. Лишь позже с возрастом пришло умение отделять мелкие события от значительных. Но оглядываясь назад, к старости начинаешь понемногу понимать, что это взрослое умение не останавливать внимание на мелких событиях приводило иногда к тому, что многие крупные события не были вовремя осмыслены и пропущены были многие важные, но поначалу незаметные пути-дороги. Но оно же (это умение) позволило не размениваться на мелочи, отказаться от многих поначалу соблазнительных тропинок и в дурящем многоцветии жизни стараться сохранить свою личность.

Мир огромен потому, что сам младенец очень маленький.

Одно из первых воспоминаний. Я сижу высоко над полом, на руках большого и сильного отца в магазине игрушек. Их неисчислимое множество: на полках, на полу, на прилавке. Но самое интересное – детский черный рояль, по его клавишам можно ударять пальчиками, и он издает тонкие, звенящие звуки. Это чрезвычайно интересно и ново. Такого предмета или существа я еще не видел и не слышал. В этом младенческом возрасте нет еще понятий одушевленное и неодушевленное. Игрушка – это для взрослых, а для младенца это предмет или существо, полное своего смысла; вещь, которая в отличие от ножей, кружек, вилок и многого другого является личной собственностью ребенка. С нею, когда станешь чуть старше, можно фантазировать, уноситься в будущее и прошлое.

Рояль издавал под моими пальчиками звенящие звуки. Мое внимание пытались переключить на окружающее игрушечное богатство. Но остальные игрушки молчали, и меня, всхлипывающего, унесли из магазина. Где-то далеко внизу под папиными ногами плыла земля.

Я много старше. Года четыре. В городском парке Минска играет оркестр. Дирижер машет палочкой. Я стою около эстрады и тоже машу палочкой, подражая движениям дирижера.

Порыв ветра сдунул с пюпитра ноты. Я бросаюсь их подбирать и с радостью, с важным удовлетворением подаю оркестрантам. Они мне приветливо улыбаются.

«Мой сын – это будущий Вилли Ферреро<sup>1</sup>», – думал тогда отец, как он сам мне рассказывал позже. Но сын обманул горделивые мечты отца: как и отец, я оказался человеком без слуха. Отец не мог воспроизвести ни одной мелодии, но музыка доставляла ему большое наслаждение. А меня музыка больше томила и раздражала непонятным набором звуков.

Минск. В комнатах сумрачно и сыро, окна почти вровень с землей. Я залез на стоящую у окна большую черную корзину и показываю рукой на окно – надо гулять. Окно – интересное место, через него можно видеть мир, то есть двор, но сегодня оно заиндевело. Бабушка снимает меня с корзины и доказывает, что гулять нельзя. Что мне ее уговоры, я ее не понимаю. Я хочу гулять. Я плачу, сидя на полу.

---

<sup>1</sup> Ферреро Вилля (1906–1954) – итальянский дирижер, выступал с детских лет. Концертировал в России.

Сыро, скучно и неудобно в доме. Это все я чувствую, но не выражаю словами.

Ленинград. Мы давно-давно не гуляли. Сегодня весь день сидим дома. В столовой дедушкиной квартиры ярко горят лампы. За окнами темно. Я залезаю на кресло, стоящее у окна, и пытаюсь убедить деда, что надо гулять. Не помню, говорил ли я тогда или больше объяснялся жестами. В памяти осталась одна рука на спинке кресла – другая тянется к окну – и мое четко осознанное желание – гулять!

«Нельзя гулять, – говорит дед. – Наводнение. Там вода!» Он сажает меня на подоконник, за окном во мраке противоположный дом. Я смотрю вниз. Наш Климов переулок залит водой. В ней мигают и колышутся отблески полутемных окон. К подъезду противоположного дома плывет черный силуэт лодки с тремя мужчинами. В душе чувство недоумения: вода там, где мы всегда гуляли, где ходили дяди и тети, где ездили извозчики. И вот теперь там нельзя гулять.

Первые воспоминания отрывочны. Я не могу их расположить в хронологическом порядке. Где-то в памяти запали детский рояль в минском магазине, вид залитого наводнением Климова переулка в Ленинграде, или Петрограде, и другие картины. «Стук-стук-стук», – стучат колеса поезда. Ночь. Темно. Над проходом горит свечка. С фонарем, куда вставлен стеариновый огарок, ходят проводники.

«Стук-стук-стук», – стучит поезд. Я лежу на нижней полке между стенкой и мамой. На соседней полке спит домработница Аня.

Я издаю какой-то неопределенный звук, хочу подняться. Мама укладывает меня обратно: «Спи! Это проверяют билеты». Ей неудобно лежать со мною на одной полке, – она едет, как я понял много позже, в Ленинград рожать второго ребенка.

«Стук-стук-стук», – стучат колеса, предрекая мне жизнь в поездках и путешествиях.

«Тук-тук-тук», – бежит по рельсам поезд.

С этого момента я могу рассказать о жизни последовательно по своим воспоминаниям, а что было раньше – по рассказам и семейным преданиям и картинкам, сохранившимся в моем сознании.

Мамы нет! Мама исчезла!!! Я остался вдвоем с домработницей Аней да со старой тетей Катей. Это очень плохо – нет мамы. Та же маленькая квартира тети Кати при больнице, те

же стены, что были вчера, но... «мамы нет!». Все стало плохо. Исчезло самое нужное, исчезло то, что освещает всю жизнь и всегда помогает.

Ма-ма-а! где ты?

Меня вносят в большую комнату, где много кроватей. На одной из них в углу у окна, распластавшись, лежит улыбающаяся мама.

Мне велят взять на руки большой белый сверток и говорят: «Это твой братик». Я в недоумении смотрю на его маленькое розовое личико, заткнутое в конец свертка, — не нужен он мне. Его держат передо мною. Он препятствие, которое не дает мне залезть на кровать к маме. Мне нужна мама! Она лежит за свертком, названным «братиком».

«Это твой братик», — говорят взрослые.

По тону взрослых ясно, что этот братик — что-то очень важное для меня и мамы. Она так нежно смотрит на нас обоих.

Но мне нужна мама! Вечер. Аня со мною гуляет вдоль ограды Таврического сада. Мягко падают снежинки. Видно, как они летят в свете фонарей. Тая, они щекочут нос. Я требую, я капризничаю, я ни на что не соглашаюсь, я показываю рукою и требую, чтобы меня вели туда, в тот дом, где мама. Я знаю этот дом.

Ой, как горько, как плохо быть без мамы. И никто-никто этого не понимает. Я не говорю этих слов. Я весь в чувстве оставленности — одиночества.

Ребенок не может отлить свои чувства в чеканку слов. Хотя мне уже три года, я только овладеваю словами.

Я не говорю даже с собой. Я мыслю образами, чувствами, выражаю их жестами и мимикой. Но выразить эту боль, эту тоску я могу только прижавшись к ней, к маме, только взирая на нее.

Мне нужна мама!

«Стук-стук-стук», — стучат колеса поезда. Мы с мамой и тем, что теперь называется Кирой или Кириллом, возвращаемся домой, к папе, в Минск. Я делаю радостный прыжок по ходу поезда, и, ударившись лбом о верхнюю противоположную полку, падаю на пол. Ужасно больно и горько. Меня утешает мама и кладет на лоб большой медный пятак. Такие пятаки исчезли в начале тридцатых годов. На меня обращают внимание соседи по купе: высокий мужчина со светлыми вьющимися зачесанными назад волосами и какая-то женщина — в памяти осталось лишь ее мелькавшее перед глазами платье.

Я замолкаю и гордо сам держу на лбу большой-пребольшой пятак. Меня хвалят, что я быстро перестал плакать.

«Стук-стук-стук», – стучит поезд. Всем не до меня. За окном мелькают столбы, светофоры, дома, деревья. Я забираюсь на нижнюю полку, в углу которой лежит то, что называется братом, и ползу на четвереньках к окну, держась подальше от края полки, чтобы снова не оказаться на полу. Вдруг меня поднимают за ворот рубашки в воздух и сажают на другую полку против хода поезда.

Мужчина говорит, что если бы не он, я бы придавил младенца. Мама благодарит светловолосого мужчину. Это внимание к моей персоне мне совсем не нравится: почему они думают, что я хотел придавить Киру – мне нужно место у окна.

Теперь я сижу на середине другой полки спиной по ходу поезда. Мне видно серое небо и проскакивающие мимо окна столбы. Лучше, когда они и все, что за окном, бежит навстречу окну, когда за окном видны плывущие с разною скоростью (это меня поражало) столбы, дома, люди, лошади, собаки, далекий лес. Что делать на середине лавки? Я смотрю на пол вагона. Там ничего интересного нет. Молчу! Скучно! Что делать на середине полки? Меня влечет к себе непрерывно меняющийся вид из окна вагона.

Всю жизнь я потом любил несущиеся мимо поезда панорамы. Они открывали мне красоту утренних зорь Казахстана, бескрайность его степей и пустынь, незнакомую для нас воздушную перспективу Западной Европы (именно в вагоне я понял, что только там мог родиться импрессионизм Теккерей<sup>2</sup> и Моне): с Сызранского моста я впервые был пленен мощью Волжских просторов. Какая прелесть ехать ранней весной с севера на юг, особенно раньше, когда можно было сидеть на подножках открытых площадок вагона.

Как не стремиться к окну младенцу, как не тосковать ему на середине железнодорожной полки. Потребность познания так же неотъемлема от человека, как потребность в воде и пище. Она больше и глубже, чем потребность в одежде и жилище. Стремление к нему горит в младенце, когда новы все проявления бытия. Все, что видит младенец, – предмет познания. Для взрослого познание есть непрерывное углубление в сущность явлений. Счастлив тот, кто среди многоцветия

---

<sup>2</sup> Уильям Мейкпис Теккерей (1811–1863) – известный английский писатель. В молодости был художником.



известного видит и радостно воспринимает новое, не скользит торопливыми взглядами по поверхности фактов. «Хлеба и зрелищ», – кричала римская толпа. «Ум ненасытного любознательного», – писал Рене Декарт, – болен больше, чем тело больного водянкой».

В Минске нас встретил радостный и нежный папа. От вокзала мы ехали в санях на извозчике. Наши ноги кучер покрыл огромной овчинной шкурой. Я сидел под шкурой на коленях у папы – только голова наружу, а мама держала Кирилла.

Езду на извозчиках в пролетках и санях я любил. Слово-то какое – «пролетка» – пролететь – промчаться. Однако больше мне, вероятно, нравились сани: в старости я чаще вспоминаю их стремительную езду. На пролетках с ухабами старых городов не всегда очень-то пронесешься.

Зимой извозчики в шубах, обшитых синей тканью и затянутых широким поясом, в больших шапках ходили вокруг своих лошадей, покрытых попонами, притоптывая валенками и похлопывая рукавицами. В городе, на площадях и у общественных зданий, были постоянные стоянки извозчиков, как теперь стоянки такси. Родители договаривались с извозчиками обычно за гривенник или пятиалтынник, и при этом обязательно, как мне помнится, слегка торговались.

Мы теперь семьей вчетвером едем домой.

Девушкой мама мечтала, что, если у нее будет сын, она назовет его Кириллом, если дочь – Кирой. Папа же меня назвал Глебом. Узнав о рождении второго, отец послал телеграмму: «Поздравляю рождением Кирилла. Целую, Саша». Это мама рассказывала позже молодым девушкам, которых она опекала, а я... подслушивал.

В Минске мы жили в двухэтажном доме: низ кирпичный, верх деревянный. На Руси считалось вредным жить в каменных домах, полезнее – в деревянных, – в них легче дышится, но кирпич прочнее, он не гниет. Мы занимали квартиру на первом этаже: одна ступенька вверх и за дверью три ступеньки вниз, в темную-темную прихожую-кухню, а за нею две небольшие комнаты, одна в два, другая в одно окно.

В комнатах почти нет мебели. В первой, в углу у окна, стояла большая корзина, обтянутая черной клеенкой. Тонкие деревянные планки прижимали клеенку к корзине и придавали дополнительную жесткость конструкции. Эта корзина много потом ездила с нами, и мы, дети, спали в ней. В ней летом хранились зимние вещи, зимой – летние. Шкафов в

квартире я не помню. Младенцем я любил в этой квартире стоять на корзине и смотреть в окно.

В своей памяти я отчетливо вижу через открытую дверь из первой комнаты во вторую маму, сидящую на кровати. Она положила на одно колено щиколотку другой ноги и, держа на так сложенных ногах Кирилла, кормит его грудью. Голова его находится на ее локте. Пальцами другой руки она управляет тугой грудью, помогая сосать младенцу. Лицо мамы сосредоточено и нежно. Вечные чувства и поза материнства! Вспоминая маму и удовлетворенно наслаждаясь обликом своей жены, кормящей грудью нашего с ней сына, я сделал теперь уже где-то затерявшийся эскиз.

С тех пор прошло почти четыре десятилетия. Я в своих воспоминаниях отчетливо вижу и свою маму, и свою жену, кормящих младенцев грудью. Вечная прелесть и подвиг материнства. Ими создается и жива жизнь.

События, для взрослых незначительные, кажутся ребенку весьма важными, интересными, значимыми, разделяющими этапы его бытия: жизнь его очень коротка, он не знает этого взрослого слова «этап», но своим младенческим существом остро ощущает все перемены, происходящие с ним и близкими ему. Ощущение значимости происходящих событий усиливается тем, что дитя не может предвидеть их последствия и обычно не знает причин, их вызывающих. Ведь и каждый человек, в разном возрасте и состоянии, воспринимает события в меру своего жизненного опыта и культурного развития, в меру своей веры.

Крупные события для одних кажутся мелкими происшествиями для других; то, что трагично для одних, смягчается упованием веры у других. Для меня, трехлетнего ребенка, таким важным эпохальным событием был переезд на новую квартиру.

В конце апреля 1925 г. родители, взяв меня с собой, а Кирилла оставив под чьим-то присмотром, осматривали большой пятикомнатный дом на Пулиховской улице. Перед домом палисадник, где росли два каштана, за домом — сады, нежно-яркие от начавшей распускаться листвы, обливаемой лучами весеннего солнца.

Отец и мать внимательно обходили огромные в моих масштабах комнаты дома, кухню, переднюю, заглядывали в чулан. Мне очень хотелось через люк спуститься с папой в подвал, затем я рванулся вслед за ним по лестнице на чердак, но был схвачен маминой рукой. Без слез и крика, но огорчен-

ный, остался я с мамой в сенях. Мне хотелось видеть все, что видят и смотрят папа и мама, особенно папа, но я не умел выразить свои желания в словах. Чердак, куда полез папа, мне казался очень интересным, таинственным, – я ведь никогда еще не был на чердаке, да и само слово «чердак» я слышу первый раз и не знаю, что оно означает. Многого нельзя ребенку. С этим ему часто, очень часто приходится смиряться. Из меня воспитывали послушного младенца. Впоследствии послушание основывалось на чувстве любви и доверия к матери.

Из разговоров родителей между собою и с хозяевами дома, старой-престарой горбатой старухой и ее дочерью, я понял, что мы переедем в этот дом жить. Мне нравился он, с высокими комнатами, а сад за ним – совсем не похожий на сад в старом дворе, вымощенном булыжником, на который очень больно было падать. Через несколько дней я, гордый и счастливый, шагал вдоль улицы-дороги, по которой, увязая в песке, двигалась груженная нашим скарбом телега. Меня хотели взять не то на руки, не то на телегу, но я твердо заявил: «Сам!» Этот переезд я воспринял как какое-то ритуальное событие, хотя, конечно, этого слова я не знал. «Я сам!», ибо переезд – это что-то важное, необыкновенное в жизни. Все: мама, папа, дядя-кучер идут пешком, только маленького Киру везут в колясочке. Новый дом вместо двора с булыжником подарил мне сады с жучками, бабочками, кузнечиками, близкое соседство с курами, цыплятами, очень страшной козой, каждодневное прохождение кавалерии на водопой и восхитительные военные песни:

Но от тайги до британских морей  
Красная Армия всех сильнее.  
Так пусть же красная сжимает властно  
Свой штык мозолистой рукой.

Не понимая смысла этих слов, я кричал их во все свое младенческое горло.

- Перестань орать, – говорили взрослые.
- Солдаты громче, – утверждал я.
- Их много, а ты один.

Однажды у меня заболело горло, взрослые утверждали, что это из-за того, что я громко пою, много ору. Помню мое не то недоумение, не то недоверие, которое вызывали эти замечания. Прохождение кавалерии было захватывающим зрелищем: красавцы кони, идущие четким шагом, и на них

стройные фигуры кавалеристов и громкие-громкие песни. Услышав движение воинских подразделений, я бросался к окну, чтобы видеть чудесное прохождение, а взрослые — закрыть окна, чтобы в комнаты не проникала пыль, поднятая с немощеной улицы. Мне оконные стекла мешали более непосредственно ощущать происходящее на улице. Я как-то попросил не закрывать окон. «Там же пыль», — был не терпящий возражений ответ. А мне казалось, что пыль упиралась в стекла и мешала смотреть на завораживающее зрелище проходящих войск.

Детский мир огромен; детей окружают большие, крупные вещи и высокие взрослые тети и дяди. Под стол можно пройти пешком и создать там таинственную сказку из кружева виденного, слышанного и самим придуманного. Вспомнив свое младенчество, как-то раз я залез под стол к своей внучке двух с половиной лет. Она была в восторге, а взрослые шокированы: дед под столом... Каждый ребенок хочет скорее вырасти, стать сильным и большим. Когда я стал ростом в ногу отца, то вставал к ней, и мне казалось, что я уже очень большой. Когда мою сверстницу спросили, что она хочет в подарок, она ответила: «Маленьких, маленьких человечков», — и показала на пальчик своей ручонки. Маленькое — это прекрасно. Оно слабее тебя. Оно нуждается в твоей помощи и заботе. Маленькое может быть светлым и добрым. Сказки о гномах и дюймовочках возникли из этого детского чувства и мечты. Каждый ребенок мечтает вырасти, но не мечтает быть великаном. Великаны — это Бармаи, Циклопы, Голиафы. Дети любят котят и щенков. Котята и щенята не говорят им «нельзя», «отстань», «пойди отсюда». Их и человеческих младенцев объединяет великое братство детства. Как-то в газетах писали, что к играющим на поляне в Африке детям прыгнул молодой леопард. И дети и леопард стали весело играть вместе, пока леопарденочка нечаянно не царапнула маленькую девочку: за это самый старший мальчик наказал его ударом розги. Смущенный леопардов детеныш ушел в джунгли. К ужасу своей бабушки, институтки и трусихи, я прекрасно себя чувствовал в будке цепного пса, которого боялись взрослые. Там можно было сидеть в полутьме, мечтать и гладить мохнатого зверя или смотреть оттуда, как пес яростно лает и путает больших взрослых дядей и тетей. Бабушка металась в палисаднике за забором, а меня за руку или за ногу, плачущего, вытаскивал из будки отец. Вот я повис,

схваченный за запястье его раздраженной рукой. Отец быстро идет, и я качаюсь и поворачиваюсь на вздернутой ручонке над булыжником двора.

Аисты меня пугали. Они живут высоко на крыше и очень большие. Старшие дети – сестры нашей домработницы Ани – приучали меня гладить аиста по спине. До нее надо было дотянуться ручонкой. Аист поворачивал свой длинный клюв и сверху смотрел на меня своими черными непонятными глазами. Он мне казался воплощением строгости, как наша хозяйка дома, морщинистая согнутая старуха с суковатою палкой. Детский мир огромен, луговые травы одного роста с младенцем. По их стеблям на уровне глаз ползают красочные мохнатые гусеницы, зеленые прыгающие кузнечики. Спокойно и деловито жужжат над цветками шмели. Шевелят своими усами молчаливые жуки. Машут крыльями многоцветные бабочки. Множество тварей населяет луг. Имена их мне неизвестны, но это живое, подвижное, красочное и потому привлекательное. Дед, прочеркивающий палкой бороздки на дорожках, чтобы по ним ползли гусеницы, казался мне чудотворцем. Сколько я ни проводил бороздок на земле – гусеницы всегда их обходили. Не эти ли бороздки деда для гусениц на дорожках и тропинках парка и садов вычеркнули из моей души страсть охотника, убивающего летящее и бегущее?..

Детский мир миниатюрен и огромен... в своей миниатюрности. Его измерения и законы отличаются от мира взрослых. Вспоминая и рассказывая о нем, мы вынуждены переводить его представление в понятия взрослого человека, ибо иначе этот мир не будет понят, и о нем нельзя рассказать другим. Это мир чувства, мир инстинктов, мир новизны и открытий, не формулированных в терминах рассудка и логики. Это мир образов и красок.

Детей часто называют «почемучками». Но раньше вопроса «почему?» встает вопрос «а это что?» Он возникает сначала как зрительное и звуковое восприятие образа, а затем – как просьба к взрослым назвать предмет. Бог приводил зверей к Адаму, и он каждому давал имя.<sup>3</sup> В этой формуле древних выражена суть одной из стадий филогенеза – онтогенеза человеческого познания – «а это что?» Потом приходит «а

---

<sup>3</sup> «Бог привел (их) к человеку, чтобы видеть, как он назовет их ... и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт.2:19-20).

почему?» и затем – страстное желание и, наконец, мудрое познание «добра и зла».

Язык детей – это язык звукоподражаний и жестов. Из звукоподражания рождается ау-ау, гав с очень сильной редукцией согласных, му-у, ку-ку, которое превратилось у взрослых в кукушку. От осторожного ш-ш возникли слова шепот и шорох.<sup>4</sup> Переводя фонетику младенцев на фонетику взрослых, мы четко произносим согласные, и ребенок, приспособляясь к нам, вместо ау-ау начинает произносить ав-ав. Поезд дети раньше называли у-ууу, изображая гудок паровоза. Я поезд, для взрослых непонятно почему, называл тю-тя-бэ-бэ, гу-ту-бэ-бу. Для меня главное в нем было не свисток паровоза, а постукивание колес, шипение пара и другие плохо улавливаемые звуки.

Язык детей, вероятно, более интернационален, чем язык взрослых. Они прекрасно играют друг с другом, а перед родителями встают языковые барьеры. Кстати, женщины лучше догадываются, что нужно чужеземцу, чем мужчины. У них больше интуитивного восприятия, меньше укорененной привычки все складывать в жесткие правила рационально выраженной логики.

Я помню себя чуть выше дедова колена, стоящим у железнодорожного полотна за окраиной Минска. Мимо несется, стуча по рельсам, пыхтя клубами пара и маша рычагами колес паровоза, пассажирский поезд. Я с восторгом кричу тю-те-бэ-бу и машу ручонкой – вторая в большой ладони деда. Поезд промчался, немножко грустно и не хочется идти домой. Я хочу ждать другого поезда. Поезд – это что-то живое, дышащее, доброе: он везет людей. Самым приятным запахом мне казался тогда запах железной дороги. Когда я научился говорить, то однажды, садясь с мамой в вагон, сказал: «Как приятно пахнет в поезде». Мама явно не разделяла моего вкуса: «Это же запах угля и дыма».

Ленинград. Квартира деда. Мы приехали погостить. Большие венские стулья я составил цепочкой друг за другом. Деда, тю-тя-бэ-бу, – тащил я деда к первому стулу. Он закуривал трубку. Я садился в середину цепочки. Дед начинал стучать рукой по своему карману, – что там лежало, не знаю, но для меня получался стук колес, – поезд из стульев бежал по рельсам. Я предавался активному, доведенному почти до

---

<sup>4</sup> Здесь речь идет не о подлинном происхождении слов, а о поэтической интерпретации их звучания.

реальности воспоминанию езды на поезде. Я ехал! Воспоминание, воображение и неосознанная мечта о новых поездках сливались воедино, заставляли меня сидеть в цепочке стульев, и я вместо окружающих меня стен комнаты представлял панорамы лесов и полей, плывущие дали, мелькание домов, людей, лошадей, собак и кошек. Под стук дедушкиного кармана мой поезд несясь вперед, выпуская клубы табачного дыма. У взрослых четко разграничены представления о прошлом, настоящем и будущем. Дети, не зная еще созидательного и губительного течения времени, способны как в реальность играть в события прошлого и развивать воображаемое будущее. Он – капитан корабля, за окном бушует непогода, гнутся кусты, по ржи бегут волны, на чердаке свистит ветер – это волны бушуют по морю – это ветер свистит в снастях корабля – видит и слышит мальчишка семи-девятилетнего возраста. Трехлетний не знает о море: на стульях он несется по воображаемым рельсам на встречу с жизнью.

Купаться ходили в чистые воды Яузы, иногда по ней катались на лодках. Однажды вечером мы – Володя, восьмилетний хозяйкин сын, я, пятилетний мальчишка, и его брат чуть младше меня, вышли из нашего сада и пошли вдоль лесной опушки. Вдруг я увидел, что сбоку вслед за нами шагают наши большие тени. Они то целиком ложатся на землю, то, укорачиваясь, поднимаются на кедры и рослые стволы сосен.

– Вова, это что? – спрашиваю я старшего.

– Это тени, – отвечает он.

– А почему они такие большие?

– А потому что теперь вечер, а днем они короткие.

– А почему они вечером длинные, а днем короткие?

– А потому, что вечер есть вечер, а день есть день. Это понимать надо, – тоном старшего наставлял Володя. Я не понимал, почему раз вечер есть вечер, то тени должны быть длинные, но в своей бестолковости я Володе не сознался. Длинные тени запали в мое сознание. В последующие дни я наблюдал, как менялись их размеры от утра к полудню и от полудня к вечеру; заметил, что если не было солнца, то не было и теней. По-видимому, окружающие ничего не могли мне объяснить в доступных для меня понятиях – тогда бы мои терзания с тенями кончились. Осенью на городской квартире в Москве я играл палкой. Вдруг увидел, что тень от нее меняет длину. Эту работу с палкой я повторил в коридоре, в комнате,

с различными предметами, на вечерней улице, подходя и уходя от фонарей – вел, как сказал бы образованный исследователь, целенаправленный эксперимент. А вот и вывод из него, сформулированный мною примерно так: чем ниже лампа, фонарь или солнце над предметом, который дает тень, и чем он дальше от них находится, тем длиннее его тень. Я поспешил сообщить свое открытие маме. Она не нашла в нем ничего особенного, формулировка моего открытия показалась ей сложной и длинной, запутанной, да и самого открытия она не увидела. Она четко сказала: – Длина тени зависит от угла между направлением луча, освещающего предмет, и плоскостью, на которую падает тень.

Я был огорчен. Новое, что я с таким трудом и тратой времени установил и надеялся радостно рассказать маме, было для нее давно известным и скучным. В объяснении мамы я не понимал слова «угол». Причем тут угол? Угол может быть у дома, у комнаты. Могут поставить в угол. А здесь с тенями какой угол? Но я не стал маму расспрашивать. Задумываясь над этим эпизодом спустя много десятков лет, я уже теперь понимаю, что мать допустила педагогическую ошибку. Ей бы со мною повторить мои эксперименты и в ходе их ввести в мое сознание понятие «угол» как определенный геометрический термин, заставить меня самому придти под ее руководством к данной формулировке. Как часто взрослые губят зачатки научных исканий своих детей. В доме бабушки была комната, которая мне очень нравилась: на ее четырех сторонах были очень тонкие рисунки немецких пейзажей. Однажды между мною и сахарницей оказался графин с водой. Рисунки за графином казались крупнее, чем если смотреть на них не через графин с водой. Многие мелкие вещи я стал рассматривать через графин с водой, они всегда казались крупнее, чем «на самом деле». Можно сделать сахарницу, масленку разнообразными, если одну часть их поставить за графином с водой, а другую – чтобы ее не загораживал графин, и смотреть одновременно на обе.

– Мама, знаешь! – сказал я с восторгом. – Вода увеличивает предметы. – Как увеличивает? – удивилась мама

– А знаешь? Смотри: за графином с водой все кажется больше. – Между нами и сахарницей, чтобы доказать справедливость своих слов, я поставил графин с водой. – Вода ничего не увеличивает, – безапелляционно заявила мама. – Предметы кажутся больше потому, что смотришь на них через



выпуклый графин, который работает как увеличительное стекло, как линза.

Опыты с тенями и графином с водой знаменуют новый этап в развитии моего сознания: от младенческого восприятия потока событий, фактов, предметов и явлений в их непосредственной данности я перешел к отбору фактов, меня интересующих, к их анализу, сопоставлению, потом сознательно ставил эксперименты, хотя и по-детски примитивные. Младенчество кончилось, началось детство.

Мои опыты для человечества ничего нового не открыли: все законы, в них проявляющиеся, давным-давно, за тысячелетия до меня были известны людям. Но это были мои независимые от других открытия; они для меня открывали новое и тем самым дарили мне радость познания. Но никто, даже мама, не разделял эту радость. Они глушили ее своими знаниями взрослых людей, почерпнутыми на уроках и в учебниках. В нашем воспитании имеется большой недостаток, дефект: мы обычно не учим детей, школьников, студентов видеть и познавать мир, а стремимся передать наши знания и представления о нем, не задумываясь о путях человеческого познания. Мы обычно развиваем в детях, школьниках и даже студентах память, а не умение видеть, наблюдать и размышлять о виденном, и тем самым подсекаем способности будущих исследователей.

Эта воспитательная проблема очень остро встала передо мной в годы педагогической деятельности. Как часто над студентами и аспирантами висит груз ранее выполненных работ: «А это уже известно», хотя очень часто под поверхностью, а порою и на поверхности казалось бы хорошо известного лежат новые непредвиденные грани, которые позволяют взглянуть на всю проблему с принципиально новых позиций. Во многих студентах и аспирантах в детстве было убрано стремление к познанию нового, ибо они постоянно сталкиваются с тем, что все известно папам, мамам, дедушкам и бабушкам: если увидел новое – не думай сам, а спроси взрослого, он все расскажет.

Ученый не тот, кто много помнит, а тот, кто владеет методологией мышления в своей специальности и умеет работать. Я знал больших эрудитов, которые в собственном творчестве были практически бесплодны.

В Рассудове, на хуторе Фортунатовых, кончилось детство, а, может быть, уже раннее отрочество, ибо мое сознание вышло за пределы видимого, в него вошло многое из книг, и

я мечтал о поездках в Африку и Антарктиду, в своем воображении гулял по берегам Белого и Голубого Нила, старался увидеть журавлей. В нашей светелке с окнами на все четыре стороны я воображал себя на капитанском мостике. Ветер завывал в снастях (на чердаке), по ниве перед окнами бежала волна – это бушевало море. Я был в восторге, когда со своего капитанского мостика увидел шаровую молнию. Вокруг меня лежали карты, и по ним я изо дня в день шел через датские проливы и вдоль берегов Европы и Африки, выходил на берег, чтобы осмотреть животных, а в русском подмосковном лесу собирал грибы, по полям и лугам ловил насекомых, тащил в дом ящериц и ужей. В свои воображаемые путешествия я втягивал своего младшего пятилетнего брата Кирилла.

Мне нравилось рисовать, копировать на глаз, а не через кальку (она дома не водилась) географические карты. Помню, был очень удивлен, когда карта Африки, нарисованная по памяти, получилась точнее, чем потом, когда я рисовал ее, имея перед глазами карту атласа.

Несколько позже я случайно подслушал разговор матери. Она говорила: «С Глебом трудно, у него ярко выраженные естественнонаучные интересы, а мы с мужем типичные гуманитарии». Глубочайшую благодарность я испытываю к своей маме: она сумела заметить мои интересы и способствовала их становлению. Это было одним из проявлений подвига и жертвенности материнства. В том, что я стал научным работником в области естествознания, доктором наук и профессором, есть и ее заслуга.

Она умерла, когда мне было одиннадцать лет.

## ПРОИЗРАСТАНИЕ ТРАВ

*Мы* не меняемся совсем.  
Мы те же, что и в детстве раннем...

Квартира на Александровской площади досталась нам вот каким образом.

С 1915 года в ней жил варшавский коммерсант Вигдорчик, муж маминой сестры. Помню старую фотографию, где изображены упитанный мальчик в форме бойскаута и девочка в кружевных панталончиках – мои двоюродные брат и сестра. Вигдорчики были беженцы, так назывались тогда люди, эвакуировавшиеся из Варшавы перед приходом немцев. После замирения с Польшей семья тетки, запихав в мыло бриллианты, отбыла в Варшаву, а квартира, обставленная мебелью красного дерева в стиле fin de siecle, досталась нам. Отец как врач при действующей армии получил охранную грамоту на жилплощадь и имущество бывших буржуев.

С нашим въездом в квартиру совпал распад провинциального гнезда. В Москву из Борисова приехали дед, тетка и дядька. Они заняли две комнаты, в двух других поселились мы.

Не помню возвращения отца с фронта, хотя, кажется, умел к тому времени говорить. Смутно помню железную буржуйку

в большой комнате, сохранившей название столовой. Следы от нее навсегда остались на паркете.

Первое воспоминание. Я лежу в кровати. А по комнате ходит большой человек в шинели внакидку и что-то жует. Человек ест. Для детского сознания еда – понятное и важное дело.

Рано пришедшее слово – Пушкин. Я стою на кухонном окне. Мне говорят: «Гляди – Пушкин. Пушкин – козел». Старая интеллигентка из нашего дома держит



во дворе коз. Ей нужно козье молоко для поддержания здоровья.

Козы пасутся в саду баронессы Корф, иногда выходят на улицу и едят афиши.

Окно — мое кино. События происходят в кухонном окне. Из столовой — только лиственная поверхность садов, Сухарева башня, отдаленные крыши домов. Улицы не видно с шестого этажа. От нее — только звуки.

Еще до рассвета — шоркает дворницкая метла о тротуар. Федор Абрамыч встает раньше птиц. Потом в тишине цоканье копыт. Извозчики. Одно из первых моих слов в такт копытам: э-э-дет! Просыпаются галки. Огромными стаями они шумно кружат над садом. В окне — заря и галочки стаи. Едут ломовики, гремя о булыжник железными шинами колес. Иногда долго везут рельсу — огромный камертон.

Потом прокладывают по Бахметьевской трамвайную линию. На ранней заре со звоном стеклянного бубна пролетают трамваи.

Звуки способствуют воображению. Я представляю себе извозчика, трамвай, метлу, может быть, вовсе не такими, каковы они на самом деле.

Звуки законного пространства пробуждают чувство одиночества.

Ощущение прочности возвращается, когда постепенно заря высветляет углы комнаты, кофейного цвета тисненные обои. И убранство. Сияет желточного цвета паркет, который пахнет мастикой и воском. На полу французский ковер — по красному фону зеленовато-голубой орнамент. Бахрома аккуратно расправлена — кисть к кисти. Рояль «Бехштейн», по сложному лекалу очерченный у окна, отражает зарю в своем черном озере. Вдоль стен по обе стороны массивного стола под плюшевой зеленой скатертью — предводители нашей мебели — буфет и сервант. Буфет как орган. Он блещет гранями хрусталя, закруглениями красного дерева, зеркалами, медными ручками и перламутром. У дальней стены — баржой на приколе — тоже красного дерева кровать. И еще множество предметов помельче: тумбочка — узкий дом с мезонином; чайный столик на колесиках, откидывающий по бокам четыре плоскости из толстого стекла; стоячие часы в углу, похожие на человека в чалме, часы с двойным боем, которому предшествует долгое хрипение в глубине организма; и еще золоченые овальные часы на буфете рядом с серебряной вазой; торшер, литой из белого металла, с пале-

вым шелковым абажуром; кушетка с причудливо изогнутой спинкой. А над столом свисает на чугунных цепях огромная лампа с цветными стеклышками и хрустальными шарами и шариками. Шарики иногда выпадали, и я утаскивал их, постепенно разрушая лампу.

Моя кровать вдоль наглухо закрытой двери в кабинет явно не подходит ко всему мебельному ансамблю. Но у папы частная практика – у подъезда прибита вывеска «Кожные и венерические болезни». На двери – надраенная медная табличка. А в квартире – кабинет.

Туда мне удастся проникнуть только изредка и только тайком, чтобы полюбоваться на никелированные орудия папиного ремесла да украсть несколько листов гладкой бумаги для рецептов и анамнезов. Иногда удается прихватить круглую печать. Я с восторгом ее ляпаю на все, что попадется под руку.

Вещи у нас в квартире уважаемые. Папа искренно огорчается, когда у нас что-нибудь портится или ломается. И я редко что-нибудь порчу или ломаю. У меня вырабатывается нечто вроде привязанности к вещам. Но не вообще, а к знакомым предметам нашей квартиры.

У меня к ним родственное чувство и род жалости, оставшейся на всю жизнь, дескать, работали вы на меня, служили мне, а я вас недостаточно люблю, недостаточно о вас забочусь. Потому что, по странности, любви к вещам у меня нет, и никогда не было желания иметь вещи, кроме тех, что у нас были. И когда они старели и выбывали из строя, мне тяжело было что-либо выбросить на свалку, а хотелось запихать куда-нибудь на чердак, на пенсию – пусть живет старый стул в свое удовольствие, ничего не делает и покоится на чердаке.

Это чувство жалости к вещам у меня очень раннее. Оно, видимо, идет от раннего ощущения непрочности мира, символом которого были вещи, казалось бы, прочные и надежные навсегда.

...Чуть ли не с младенчества в мое сознание входит таинственное понятие смерти. Смерть – некое событие, являющееся началом других событий. Смерть как конец я начинаю понимать потом, лет в двенадцать. И не сплю ночами, в ознобе страха, вдруг осознав, что и я смертен.

Но это потом. Пока же смерть странным образом размыкает узкий мир нашего дома.

Площадь Борьбы, бывшая Александровская, – треугольник, неровно замощенный булыжником. На моей памяти

здесь разбивается сквер. В сквере молоденькие деревца, теперь уже выросшие и тенистые. А тогда тощие и не мешавшие обзору. По одной стороне треугольника, ограничивающего сквер, — наш дом. По другой — забор Туберкулезного института и на углу Новой Божедомки, ныне улицы Достоевского, — морг.

Морг явным образом доказывает, что смертны не только обитатели нашего дома, но и другие жители города. Значит, жизнь переламинается и продолжается и там, возможно, таким же образом, как и в замкнутом мире дома.

Похороны, кроме того, — зрелище, одно из самых увлекательных у нас на скверу, наряду с шарманщиком, ученым медведем, водимым цыганами, с бродячими акробатами и петрушкой.

Похороны — зрелище.

У ворот морга стоит резной катафалк, чаще всего черный, а порой красный — это хоронят партийца.

Пара черных коней, запряженных в одну оглоблю, с черными или красными султанами, как в цирке, покрытых траурным сетчатым покрывалом. Траурный возница в цилиндре с перышком и в длинном, торжественном, хотя и засаленном одеянии.

И духовой оркестр, играющий марш Шопена или «Замучен тяжелой неволей». И всхлипывания, и плач. И медленно трогаящийся кортеж, уходящий либо по Бахметьевской — к Лазаревскому кладбищу, там теперь детский парк культуры и отдыха, либо — к Палихе, туда, на Ваганьково.

И уходящий, удаляющийся — и чем дальше, тем чище и грустней звучащий оркестр — тоже размыкает пространство. Но иная даль, чем свалки, пустыри и паровозы за садом баронессы Корф, — торжественная, обстроенная городом, раскрывающаяся музыкально даль жизни, смыкающаяся с потусторонностью, но далеко, невидимо, даль, в которую уходит похоронный кортеж, символ слома и начала новых судеб.

Мне сны снятся редко. Но среди них постоянно — все один и тот же сон об отце; уразуметь его я не умею.

А сон вот какой.

Столовая в нашей старой квартире. Все прежнее, но словно заброшенное. И мама не дома, а где-то в чужом месте. Это я вижу одновременно — дом и не-дом. Что-то от меня скрывает. Дома никого. Отца нет. Я не первый раз стараюсь его застать. И во мне странное предчувствие. Наконец, где-то на завершении сна, я вижу отца. Но он не радуется мне,

отворачивается, говорить не хочет. Он чужой, равнодушный. Я понимаю, что он ушел от нас, что он нас разлюбил. И что у него есть другой сын.

Просыпаюсь с тоской.

Единственное мне ясно, что это сон об уходе. А прежде снилось другое:

Мне снился сон. И в этом трудном сне  
Отец, босой, стоял передо мною.  
И плакал он. И говорил ко мне:  
Мой милый сын, что случилось с тобою!

Лицо в этом сне было точно такое, как в гробу. Это был сон о гневе. Это был сон о том, что он не был счастлив.

Я понимаю теперь, что чувствовал это где-то с самого раннего детства. В мою любовь к отцу всегда примешивалась доля жалости. Он вошел в мою жизнь какой-то жгучей лирической нотой, еще неразгаданной до конца. И в стихотворении «Я маленький. Горло в ангине» я плачу не о бренности мира — это литература. Я плачу об отце.

И позже я плакал о нем. И в нем о себе.

Дождь идет. Осень. Сумерки. Я иду по городу, руки затолкав в карманы. Иду отцовской походкой, усталый. У меня болят ноги. Я думаю о доме и о работе. Я — отец. Но думаю почему-то: «Бедный папа!» И слезы наворачиваются на глаза.

И он — я знаю, — так же бредя по дождливому городу, полный забот и усталый, думает: «Бедный сын!»

Наверное, ни я, ни он не были никогда бедными. Но в этой взаимной мысли была какая-то высшая жалость, связывавшая нас без слов. Может быть, жалость об утраченном общем детстве и тоска об утрате друг друга.

Отец — мое детство. Ни мебель квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего младенчества. Его воздухом был отец.

Он и сам какой-то стороной своего существа всегда принадлежал детству. Он не то чтобы любил детей, он, скорее, любил детство, легко входил в него, как входят в детскую комнату, и там не переставал быть тем, чем был. Так же вошел он и в мою раннюю жизнь.

Я ощущал его равным. И это равенство только украшалось его взрослым опытом. Он не играл в дитя и не играл с ребенком. Вообще, играть не было ему присуще. Если все мы немного актеры, это совершенно не было свойственно отцу.

Он не был внешне ребячлив, наоборот, почти всегда серьезен, с особым, простодушным юмором, какого-то тоже детского пошиба.

Отец был ясен и чист душой. Вот что более всего соприкасалось с моим ранним сознанием. Вот в чем он не изменялся, а оставался. А я уходил, во мне многое оседало, отпадало, перемешивалось. Он же оставался. Сны об уходе – может быть, о моем уходе от него. И жалость, и горечь, и тоска, и ощущение безвозвратности – это все о разлучении душ. Мне иногда кажется, что я плохо знаю отца – мы ведь все друг друга плохо знаем. А иногда думаю, что знаю его слишком хорошо, лучше, чем он сам себя знал. Я ведь давно стараюсь отца из моих составных частей особо выделить и к этой части особо присмотреться.

Тут нужна большая работа души. Ведь каждая наша составная часть прилегает к другой и оттого утесняется, изменяется, срастается. А над этими частями лежит и то, что их соединяет, не менее важное – нечто производное, но в этом средостении и есть самое тело моей души. И отца надо из себя вынуть, расправить, связать с тем, что помнится. Вот какая работа нужна – как реставрация старинной картины – та же бережность, та же осторожность. И потом все равно не будешь знать, насколько воспроизведение соответствует оригиналу. И никогда не узнаешь.

Для того чтобы правду воссоздать, обязательно кусок живого надо выделить. А выдели – и нарушится связь живого с живым, части с целым. И умирает живое, умирает правда. Вот и думай, как достичь, как постичь, как выделить, не вырезывая, как различить, не нарушая.

Вспоминай осторожно! Горло в ангине. Это у меня бывало часто. А еще скарлатина, дифтерит, корь, свинка, воспаление легких, малярия. Всего не помнит даже мама. Все детство я болею. Но, кажется, только по зимам. И болеть привык. Особая тишина стоит в нашей квартире, когда я болею, какая-то жужжащая, как прятка, тишина. За тюлевыми занавесями только небо. Оттого и не помню – были галки зимой или не были.

Интересное свойство памяти. Когда мы вспоминаем целый период жизни, мы, в сущности, не помним всего протяжения времени, а лишь детали, узоры на бесконечном сером полотне. Эти детали и соединяются в один день, который для нас – картина того или иного времени. А нахватамы частности из разных дней. Память художественна. Помним день, а кажет-



ся, что помним время. Одаренные люди лучше помнят, потому что ярче подробности их памяти и лучше соединены в картину. Более того, от способа соединения деталей в одно зависит наше ощущение протяженности времени. Нагромождение сюжетов и деталей, не сошедшихся в «один день», рождает чувство быстрого протекания времени. Длинная жизнь поэтому вовсе не та, которая насыщена событиями. Чаще всего, лишенная верного расположения деталей, она кажется быстротекущей и, может быть, бесплодно ушедшей. Длинен «один день».

Мое начальное детство – день болезни, картина, где для меня самого неразличимы разные по времени мазки.

Видимо, ранняя Пасха. Потому что Теофил Андреевич, грек, подарил мне большое с узорами шоколадное яйцо. А в нем – я знаю – другое – поменьше, а в этом – третье – маленькое деревянное крашеное. А дядька-провизор принес шоколадного медведя. Медведь сидит в деревянной коробочке и изображает зоопарк. Другой дядька – владелец «Меркурия» – дал мне несколько тяжелых медных пятак. Ими я кормлю медведя.

Но все это мне уже прискучило. Я жду отца.

Отец возвращается с работы всегда в одно и то же время. По нему можно проверять часы. А если он чуть запаздывает, фантазия рисует мне страшные картины. Мне чудится, что он попал под трамвай. Меня охватывает озноб. Это уже на всю жизнь – фантазия делает ожидание для меня мучительным

Я прислушиваюсь к шагам на лестнице. И вот, наконец, слышу его шаги, его стук в дверь. Его звонок.

И мгновенно успокаиваюсь.

Папа входит и сразу ко мне. Он приносит какой-нибудь пустяк – карандашик, блокнотик. Он совершенно не умеет покупать, тратить деньги. Да, по-моему, у него в кармане всегда одна мелочь. Но почему-то этот карандашик, блокнотик дороже мне драгоценного шоколадного яйца...

...Я жду, когда отец покончит с обедом и займется мной. Он со мной не играет, а только рассказывает. Он пересказывает свое детство, и я снова его проживаю. Я ищу ему аналогий в своем детстве, так непохожем.

У него было мало игрушек. И у меня мало. Я их не люблю. Мой дед с отцовской стороны служил бухгалтером на спичечной фабрике и детям своим приносил спичечные коробки. Они из них склеили большой дом. И я мечтаю о такой

игрушке, она мне нравится больше, чем слон из папье-маше с качающейся головой и чем паяц Микель, которого дернешь за веревочку – и он двигает руками и ногами. Микелем его прозвал папа – он утверждает, что паяц похож лицом на Микеланджело.

В детстве отца пугали Микитой, может, это был дворник, может, сосед, Микита живет и у нас. Он не очень страшный, зовем мы его Микитка. Но и я его слегка побаиваюсь.

Он представляется мне не человеком, а странным существом, вроде Берлуки.

Берлука мне однажды приснился. Он лежал студенистой, слегка светящейся массой между нянькиной кроватью и тумбочкой, весь переливался и покручивал один длинный тараканий ус. Я проснулся в страхе.

Теперь я понимаю. Нянька пела одну и ту же песню:

Разлука ты, разлука,

Чужая сторона.

Из Разлуки стал Берлука и соединился с Микитой. Наша с папой домашняя мифология.

Начинается эта мифология с ожидания конца света. В раннем детстве отца появляется комета, вероятно, знаменитая комета Галлея. И в маленьком городке ждут конца света. Старая папина бабка с внучатами забираются с вечера на печь и... ждут. Я переживаю то же потрясение, потому что уже знаю, что такое ожидание.

Я даже забываю, что конца света вовсе и не было.

Он когда-то все же был – для папы и для меня.

Этот рассказ соединяется у меня в сознании с библейскими историями. Папа не рассказывает сказки, а пересказывает Библию. Он рассказывает так же, как про комету. У меня нет ощущения, что все это было давно и происходило не с нами. Я вижу гибель Содомы и Гоморры и жену Лота, превращенную в соляной столб. Мне представляется всемирный потоп и так заботливо помещенные в Ноев ковчег семь пар чистых и семь пар нечистых. Как это понятно и практично.

Библейские сказания путаются у меня с папиным детством. Он рассказывает так, словно происходило все рядом с ним, с людьми, хорошо ему знакомыми. История Иосифа, в сущности, история мальчика из папиного городка, у которого были злые и завистливые братья.

А история младенца, пущенного по реке, чтобы избавить от избиения, и выловленного дочерью фараона! Есть же еще добрые люди. Я же не знаю, что фараонов давно нет.

И странное ко всему этому причастное существо – Бог. Удивительно, что Бог – образ очень ранний – не порождает во мне истинно религиозных представлений. Даже картина сотворения мира не ощущается как могучая аллегория созидания жизни из божественного духа. «Вначале было слово». Так ведь уже было. Значит, было все, названное словом. И сотворение мира – лишь упорядочение того, что было, вроде приборки и расстановки по местам, вроде работы Федора Абрамовича, шоркающего затемно метлой где-то по невидимому тротуару.

Этот образ Бога-работника остается у меня надолго. Лет в восемнадцать я писал:

Весь перепачканный и черный  
Он шел, со лба откинув прядь,  
К земле еще не нареченной –  
Игру материи смирять.

Для меня Бог был натурфилософской, космогонической метафорой. Не более того. Потребность иного представления пришла вместе с развитием понятия о смерти, то есть о высшей цели бытия. Из двух потребностей – космогонической и нравственной (где-то ощущается, что и они неразделимы) – вторая «ближе к шкуре», необходимей. Бог, рождающийся из нравственного импульса жизни, из необходимости объяснить себе себя, надежней и ощутимей, чем Бог-демиург, может быть, еще и потому, что наши представления о материале мира примитивны и ненадежны, несмотря на все успехи современных наук.

Родители мои начали снимать дачу в 1927-м. Помнится, я еще не ходил в школу...

Для меня нет места лучше и прекраснее, чем Шульгино. Дом Аксины Ивановны – первый у околицы, крайний справа при въезде в деревню. С террасы этого нового бревенчатого дома открывается превосходный пейзаж – поле, в начале лета зеленое, потом золотистое, и за краем его темный сосновый лес. Этот пейзаж, дорогой моему сердцу, помню до мельчайших деталей. Какая-то пчелино-жужжащая благостная тишина царит в этой деревне.

Я не знал деревни зимой. Шульгино – это лето. Детское лето. Нескончаемое лето. Зима – это Опалиха. Иногда прекрасная. И все же – зима. В детстве все было лучше, чем сейчас.

Я просыпался на ранней заре от мирных выстрелов кнута

и от пастушьего рожка. Мычали коровы, блеяли овцы, кудахтали куры. Утренний воздух смешивался с запахом теплой скотины. Это бывало мимолетным пробуждением. И я вновь засыпал. И вставал уже позже, когда солнце начинало пригревать. На открытой террасе, выходявшей прямо в поле, уже стоял готовый завтрак: яйца, лишь утром снятые с лукошка, теплый ржаной хлеб, удивительно душистый, только что вынутый из печи, масло, тоже душистое, желтое, пахнувшее ледником, со студеной слезкой, творог – синоним белизны, слоистый и тоже душистый. Все это было неповторимого вкуса и запаха.

После завтрака начинались бесконечные игры и беготня. Молодые мои родители давали мне полную волю, и все дни я проводил с шульгинскими ребятишками, занимаясь тем же, чем занимались мои деревенские сверстники. То мы шли гурьбой в Раздорский лес – сосновый с орешниковым подлеском – собирать землянику; то скакали босые по теплой пыльной дороге верхом на палочках. Палочек-коней у каждого было по нескольку. Я до сих пор ощущаю силу воображения, превращавшую ореховую палочку в коня, и свое чувство к каждому из моих коней, помню ногами нежнейшую пыль на дороге, ощущаю ступнями сыроватую прохладу лесной тропы.

И чувствую запахи, ныне утраченные. В нас стареет, оступляется и обоняние. И теперь ощущаешь лишь крепкие запахи – липа, сирень, жасмин, сено, а тогда были тысячи оттенков – нагретый ореховый лист, мох, телега, лошадь, прошедшая по лесной дороге.

Я узнавал в Шульгине названия трав и растений, порядок сельских работ и названия орудий, повадки домашних животных; словарь Шульгина, его язык – чистейший московский говор – постепенно впитывались моим сознанием и становились его практической частью.

С соседскими ребятишками бегали мы купаться в крохотную речушку Самынку, куда впадал совсем уже крохотный ручей – Соплянка. Это было под лесом, в низине. Соплянка вытекала из осинового заросли, казавшейся огромной и непроходимой, и присоединялась к Самынке в живописном овраге – там сейчас поворот Подушкинского шоссе. Самынка была глубиной по колено. Дно – чистейший мелкий песок. Небольшие стайки плотвичек и мальков плавали и были бы не приметны, если бы не тени их на дне. Из вилок делали остроги и порой удавалось попасть в плотвичку.

Вода в речушке – ледяная. Мы выкапывали яму в песке и садились по горло. Долго, впрочем, не просидишь.

Чаще купались мы в лошадином пруду, с водой шоколадного цвета и дном, где нога утопала в мягком и холодноватом внизу иле, где полно было головастика и лягушек и плавали, извиваясь, толстые пиявки.

Пруд пахнул тиной, застоялой водой. Это нас не смущало. Мы плескались часами в мутной, грязной воде.

В этом пруду купали лошадей.

Это было одно из любимых наших занятий.

Хромой Андрей, наш сосед, молодой крепкий мужик, женатый на рябой пожилой Шелатонихе, детей не имел, поэтому мне поручал красно-бурую добрую кобылку Зорьку. На ней удобно было сидеть, такая она была гладкая, маленькая и удобная.

Поняв, что ее ведут купать, она рысцой бежала к пруду. Останавливалась на берегу. Ноздрями шумно выдыхала воздух. Осторожно вступала в пруд. Долго пила. Поднимала голову от воды. Я ей посвистывал. Она снова пила. Потом опять отрывалась от воды. Капли стекали с ее добросовестной морды. И вдруг она решительно шла на глубину и плыла, вытягивая шею и отфыркиваясь. Я подгонял ее к берегу. Мыл и до сих пор ощущаю ее крепкие кормленные бока, гладкую шкуру, запах гривы, дыханья и конского пота.

Отец мой с военной поры любил лошадей. И мне внушил любовь к ним. Я целый день ожидал встречи с Зорькой, для нее припасая краюшку хлеба с солью или кусок сахару.

Ничего нет лучше, чем мягкие конские губы, осторожно берущие с ладони хлеб или сахар! Зорька глядела на меня кроткими карими глазами с лиловатым отливом, с прямыми простодушными ресницами. И иногда, пошаливая, дотрагивалась губами до моей шеи, щекотно дыша в затылок.

Это славное добродушное существо терпеливо сносило мой неумелый уход. Я без седла ездил на Зорьке к пруду, поил и купал ее, а вечером подъезжал к околице, где верхами собирались шульгинские мальчишки, и мы гнали коней «на елань», так назывался отдаленный луг, где в ночном отдыхали и паслись деревенские кони. Дождавшись темноты, мы разжигали костер близ лесной опушки, пекли картошку. Стреноженные кони хрустели травой и фыркали невдалеке, а потом мы шли ночным лугом, зябким росным вечером домой, в деревню, шая и крича по дороге.

Первое стихотворение я сочинил лет шести. Это было на даче, на 20-й версте, ранним утром я проснулся в детской кроватке с никелированными шариками и с веревочной сеткой. Было светло, солнечно, тихо. Вся тесовая крошечная комната, где я спал, была наполнена светом, свежим запахом сада и движущимися тенями, потому что солнце стояло еще далеко от зенита, и лучи проникали сквозь деревья, которые не виделись, а угадывались по запаху и движению теней.

Вдруг мне в голову сами собой пришли стихи.

Осенью листья желтеть начинают,  
С шумом на землю ложатся они.  
Ветер их снова наверх поднимает  
И кружит, как выюгу, в ненастные дни.

Стихи были непохожи на то, что меня окружало. Они выразили, видимо, мгновенно пронзившее меня чувство непрочности счастья, преходящего того солнечного радостного мира, который тогда меня окружал. Стихи родились из вдруг почувствованного протекания времени. Мне и сейчас кажется, что стихи – это острое чувство наполненности каждого предмета и явления временем, чувство текучести и непостоянства, насыщающих каждый предмет, чувство порой радостное, но чаще грустное.

Я придумал стихотворение об осени, и сама возможность так кратко и складно выразить то, что я иначе выразить не умел, меня поразила и породила желание сочинять еще. Но как к этому подступиться, я не знал.

Мне казалось тогда и долго еще потом (как и многим кажется), что достаточно описать то, что тебя окружает, и твое отношение к окружающему, что достаточно рассказать о своем состоянии, как получатся стихи. Я не говорю о технической стороне этого дела, но если даже она преодолена, все равно расстояние от такого творения до стихотворения очень велико. Потому что поэзия – не оценка; оценочный момент – ее подпочва, на которой трава не растет; оценочный момент – принадлежность личности автора, он передается и поэзии, однако не порождает ее, потому что нуждается в некой абстракции, в остановке мгновения, в выделении времени как абстрактной категории. Поэзия же в физическом ощущении протекания движения, заполненности всего времени, в вещественности времени, в восприятии времени как главного структурного элемента всего сущего и, следовательно, стиха.

Смешно было бы требовать от меня в столь юном возрасте понимания того, что сказано выше. Не обладал я и столь сильным талантом, чтобы, интуитивно это почувствовав, уметь воплотить в стихах. И долго во мне после первого поэтического ощущения не было даже подобных проблесков.

Поэтому, наверное, я не помню самых ранних стихов, кроме отдельных строф или строчек.

Потемнело все кругом,  
Молнии блещут живо,  
Рассыпаются огнем,  
Как искры от огнива.

Конечно, родители пришли в восхищение от моих ранних стихов и немедленно показали их Василию Григорьевичу Яну. Он отнесся к ним благожелательно и сдержанно, правильно полагая, что не стоит лишними похвалами растравлять мое воображение и порождать надежды, скорей всего несбыточные.

Я благодарен ему за то, что он охлаждал порывы моей матери сделать из меня вундеркинда. Отец никогда не имел к этому склонности, не смея подозревать, что из его сына может действительно получиться поэт. У отца были слишком высокие представления о личности писателя, и он представлял себе редкость такого явления, как талант. Я тоже до поры не осознавал себя поэтом и не готовил себя к литературной карьере, просто сочинял, когда сочинялось.

В доме у нас стихов не читали. Из поэтов был один лишь Жуковский. Его я хорошо знал. Но, пожалуй, не подражал. Были еще Гейне в истрепанном издании Маркса и два тома из собрания сочинений Есенина.

В школе буквари и книги для чтения были наполнены другими стихами, главным образом о праздниках. В этом духе стал сочинять и я.

Любил я перекладывать в стихи некоторые понравившиеся мне рассказы, например рассказ о том, как в Китае изготавливается чай. Излагал и некоторые эпизоды истории. В этом, видимо, сказывался будущий переводчик и автор исторических стихов.

Я рассказываю все это не для того, чтобы создать подробную летопись своего творчества. Мне и самому это неинтересно.

Интересно мне, а может быть, и еще кому-то, как и какие

понятия формировала среда, «с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду».

У нас существует уже целая литература, утверждающая мнение, что культура и мыслящая часть общества были уничтожены в России в 20–30-е годы, что осталось мертвое поле бездуховности, что рухнули нравственные устои, что Россия десятилетия была страной рабов и тупиц. И лишь нескольким избранным удалось спасти душу и сознание и возговорить к рабам, ко слабым духом. Да и возговорить без особой надежды быть услышанными и понятыми.

Не стану здесь с этим спорить. Скажу только, что возговорившие не могли бы возговорить для мертвого поля. Да и возговорили тогда, когда на поле стала пробиваться трава. И что не все всходы были выполоты, не все забито плевелами. Что надо быть благодарными этим скромным семенам травы, этим малым корням, прораставшим себе в тишине.

### ИЗ ДЕТСТВА

Я – маленький, горло в ангине.  
За окнами падает снег.  
И папа поет мне: «Как ныне  
Сбирается вещий Олег...»

Я слушаю песню и плачу,  
Рыданье в подушке душу,  
И слезы постыдные прячу,  
И дальше, и дальше прошу.

Осеннюю мухой квартира  
Дремотно жужжит за стеной.  
И плачу над бренностью мира  
Я, маленький, глупый, больной.

### ВЫЕЗД

Помню – папа еще молодой.  
Помню выезд, какие-то сборы.  
И извозчик – лихой, завитой.  
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.  
А в Москве – допотопный трамвай,  
Где прицепом старинная конка.  
А над Екатерининским – грай.  
Все впечаталось в память ребенка.  
Помню – мама еще молода,



Улыбаются нашим соседям.  
И куда-то мы едем. Куда?  
Ах, куда-то, зачем-то мы едем!

А Москва высока и светла.  
Суматоха Охотного ряда.  
А потом – купола, купола.  
И мы едем, все едем куда-то.  
Звонко цокает кованый конь  
О булыжник в каком-то проезде.  
Куполов угасает огонь,  
Зажигаются свечи созвездий,  
Папа молод. И мать молода.  
Конь горяч. И пролетка крылата.  
И мы едем, незнамо куда, –  
Все мы едем и едем куда-то.

\* \* \*

Писем напишу пяток,  
Лягу и умру.  
Знай сверчок свой шесток –  
Хватит жить в миру.  
Но умру не насовсем  
И не навсегда.  
Надо мною будет сень,  
А над ней звезда.  
Над звездою будет Бог,  
А над Богом свет,  
А над светом голубок  
Посреди планет.  
А над голубем цветок,  
А в цветке пчела,  
Что опустит хоботок

<Последнее стихотворение>

## НЕ ВЫДЕРЖУ ИЗГНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА

...и меня было двустороннее воспаление легких. Я умирал в больнице и просил врача продлить мне жизнь хоть на шесть дней. За эти несколько дней я и написал сценарий... В нем идет речь о моем детстве.

Из всех моих ненаписанных и непоставленных сценариев я хотел бы поставить сначала этот... «Исповедь»<sup>1</sup> – это сценарий фильма, сложенный из цепочки воспоминаний, которые проснулись в моей памяти перед закрытыми воротами кладбища...

В 1966 году я возвратился в Тбилиси, возвратился после двадцати лет разлуки в город, в котором родился в 1924-м.

Горы уже не росли... они остановились...

В поисках гробов, рождение которых видел, пошел на Старо-Верийское кладбище...

Старо-Верийское кладбище закрыто навсегда. Старо-Верийское кладбище перестраивается в парк культуры и отдыха.

Я задыхаюсь от пыли и жары на Старо-Верийском кладбище.

Бульдозеры гудят и рушат последнее пристанище предков. В раскаленном воздухе стоят столбы желтой пыли... И желтая пыль не успевает оседать на иссохшие от жары листья сирени...

Мою дорогу к предкам то и дело перебегают, как призраки, юноши в черном трико, держа в руках нивелиры и теодолиты.

<sup>1</sup> В текст включены фрагменты сценария «самого главного», глубоко автобиографического фильма С. Параджанова. Режиссер смог приступить к его съемкам лишь в 1989 г., незадолго до смерти. Сцена из детских воспоминаний, снятая во дворе родительского дома, стала последней съемкой в его жизни. (Примечание составителей)



Ревут бульдозеры. Поднимается пыль, и в желтой пыли черными мочалками стоят кипарисы с окаменевшими стволами.

Давно уже улетели мраморные ангелы, опирающиеся на расколотые кресты. Лабрадоры давно распилены и проданы по нарядам. Союз художников и сейчас не протестует против происходящего.

Бульдозеры ровняют кладбище. И прыгают в желтой пыли юноши в черных трико, с теодолитами и нивелирами.

И я решаю уйти с кладбища. Уйти! Это значит забыть...

Забыть печали детства.

Забыть могилы...

Нет, я не уйду с кладбища! Я не выдержу изгнания из детства.

Я вообще против изгнаний и гонений! Мои призраки! Мне с вами лучше, чем с теми, кто живы. Я вас люблю больше, чем тех, кто любит меня!.. Мои кипарисы... И корни кипарисов... Мы с вами в родстве!

Вы касались и касаетесь моих предков. Какое-то время мы вместе с вами росли. Вы почернели от времени, я побелел...

Тбилиси – некогда Тифлис – отличается и отличался от всех других городов предрассудками.

Если курица кричит петухом – это к смерти.

Если зимой белым цветом зацветет вишня – это к смерти.

Тетя Аничка, женщина с зобом, в платье из черного сатина, догоняла черную наседку, прокричавшую петухом.

На белом снегу осталось красное пятно, над которым колыхался и взлетал черный пух. Потом тетя Аничка схватила топор.

На балконах стояли соседи и требовали срубить вишню. Вишня зацвела зимой белым цветом.

Муж тети Анички, дядя Васо, прокуренный портной, пытался выхватить у нее топор. Валились, издавая странные звуки, оцинкованные тазы. Аничка проклинала, плакала, захлебывалась в слезах, вырывалась из рук портного Васо.

Из-за прокопченных занавесок выглядывала Вера, младшая дочь портного.

Вера – ее то и дело увозили в Абастуман<sup>2</sup>. В школу она

---

<sup>2</sup> Горный курорт Грузии, где лечат туберкулез.

ходила редко. Вера была высокая, красивая, выше всех в классе, с синими глубокими тенями под глазами. Вера, в лаковых плоских туфлях, с ранцем за спиной, появлялась на улице, и ее долго провожал тревожный взгляд Анички, матери Веры. Дети в школе упорно распространяли небылицу, будто бы Вера съела собаку.<sup>3</sup> В классе Вера сидела на одиночной парте. Черный большой репсовый бант подчеркивал ее бледность и красоту.

Сейчас Вера выглядывала из окна. Прокопченные кружевные занавески колыхались.

Аничка рубила ствол вишни, проклинала ее, плакала.

Крона вишни рухнула, завалив деревянный забор.

Тесно стоящим дворам срубленная вишня добавила пространства. Стало легче дышать. Все сразу оголилось и стало неподвижным. Черную зарезанную курицу никто не трогал. Ее обнюхивали собаки, кто-то бросал в них поленья, и собаки с визгом убегали от черной курицы, прокричавшей петухом.

Все чего-то ждали. В Тбилиси, городе предрассудков, предрассудки подкрепляются фактами...

Умерла Вера! Аничка то и дело теряла сознание.

Жвания, лучший фотограф города, ретушировал портрет покойницы. Вера смотрела прямо на нас, за ней, как два черных крыла, торчал плоский бант. Синие тени под глазами ретушер убрал и добавил улыбку, которую никто не видел на лице живой Веры. Улыбка на лице Веры появилась и в гробу.

Сестры Анички в черном шли к нашему дому. Мама была удивлена и огорчена. Женщины в трауре вошли в наш дом. Мама вынесла белый шелковый тюль (занавески), отмерила длину по росту Веры, добавила на оборку надо лбом, отрезала острыми ножницами, пробормотав: «швидобаши» («на счастье»).

Предлагали деньги. Мама отказалась решительно. Женщины в черном запахнула платки, и за черными платками исчезла белая фата.

Все молча раскачивались на месте.

Мама убрала со стола остаток фаты и тайно от всех перекрестилась. Потом уложила меня на тахту, закрепила иголку в ковер и что-то начала причитать. Мама подчеркнуто зевала, заражая зевотой меня. Я послушно зевал и не хотел спать.

---

<sup>3</sup> Существовало поверье, что собачье мясо излечивает туберкулез.

Утром мама, хорошо одетая, источая запах пудры и духов, заперла меня на ключ и пошла хоронить Веру.

Во дворах толпился народ, все пропускали солидных дам и венки в помещение, носили стулья, поднимая их над головой, венки вешали на заборах, на ствол срубленной вишни, потом снимали и давали девочкам в плоских лаковых туфлях, с плоскими бантами на затылках. Девочек выстраивали парами, объединяли венками. Я влезал все выше на окно, пытаюсь увидеть происходящее. Все копошилось в тишине: носили стулья и венки, переставляли крышку гроба от одной стены к другой. Потом зазвенели стекла в галереях, раздалась духовая музыка. Над черной толпой несли Веру в образе «невесты бога».

Вера, убранная нашей фатой, улыбалась. Черный бант заменили белым. Кто-то закрывал двери, кто-то бил три раза гробом о дверь, кто-то кричал: «Шени пехи мдзи-ме икос» («пусть твоя нога будет тяжелой»)...

Тучные, хорошо одетые дамы прижимали клеши своих юбок ридикюлями, брали друг друга под руки и пытались всей толпой идти в ногу под Бетховена.

В стороне от дам, с непокрытыми головами, шли вокруг Васо тучные мужчины в коверкотовых брюках (Васо был брючник).

Аничка в амфитеатре дворов и балконов еще раз потеряла сознание. Кто-то давал ей нюхать нашатырь.

Белая фата колыхалась.

Солнце отражалось в стекле отретушированного портрета Веры. «Невеста бога» улыбалась.

Это все, что я помню о Вере.

Первая моя трагедия: «Похороны кружев, улыбка ретушера. И запах духов и пудры мамы».

Да... Это было ранней весной.

Тбилиси, апрель 1941 года.

На горе Мтацминда осыпается поток камней, камни бьются о стволы цветущего миндаля. Миндаль не осыпается.

Тетя Сиран!

Тетя Сиран... Она всю жизнь носила только черное.

И всю жизнь шила, шила только рубашки. Когда я еще учился в 7-м «А», она сшила мне первую рубашку из голубой полосатой вискозы. Вискоза вытекала из-под пояса. Я снова запихивал ее за пояс. Она снова вытекала.

Сегодня, когда я кончаю 10-й «А», тетя Сиран всему нашему классу шьет белые сорочки из белого шелкового

полотна. И мы рыщем по всем шкафам и комодам, чтобы набрать шесть перламутровых пуговиц (обязательно перламутровых!). И долго обсуждаем, какие мы купим цветы для выпускного вечера. И все решаем: только белые георгины. И покупаем белые махровые георгины с перламутровыми бутонами, но почему-то этим апрельским утром георгины мокрые. И мы все идем в белых рубашках из шелкового полотна... идем хоронить тетю Сиран...

Крашенный французский выхухоль называется котиком. Мой папа в 1920 году купил для мамы шубу-клеш у Сейланова, владельца табачной фабрики.

Купив шубу, папа всю жизнь упрекал ею маму: «Охрат дагирчес!» («Чего мне это стоило!»).

Мама же надела шубу всего два раза: в первый – когда пошел снег в Тбилиси, а в другой – на похороны отца.

Остальное время шубу от обысков прятали у соседей, в чуланах, или проветривали на чердаке.

Однажды ночью отец вышел во двор и быстро вернулся в спальню. Он будил маму:

«Товли модис» («Снег идет»). И мама в длинной батистовой рубашке, полусонная, встала с кровати, машинально вынула шубу, надела на ночную сорочку и как сомнамбула вышла на кухню, открыла дверь на чердак и медленно, зевая, поднялась по стремянке на крышу.

Отец вернулся в постель и вскоре захрапел. А я от испуга съежился на подушке, не понимая, что произошло.

Мама же ночью стояла под снегом на крыше, чтобы промок мех.

Утром я увидел мокрую шубу на кухне. Мне показалось, что ее всю ночь жевали буйволы.

«Охрат дагирчес» свершилось – папа умер.

Соседки требовали, чтобы мама на похороны надела шубу (из любопытства: сравнить – котик или «под котик»).

Мама машинально надела шубу и вышла за гробом отца на улицу... Уцелела только спинка шубы, потрескались рукава, на груди просматривалась подшитая основа меха. Все наши соседки, тети, даже толстая Рыжуха и ее дочери были в черных шубах «под котик» (униформа всех вдов в Тбилиси).

А еще молодым мой папа проснулся в опере от трагедии юного Вертера. Юный Вертер стрелял себе в висок.

Давид Бадридзе, игравший Вертера, упал убитый. Зал был в шоке. Мама облегченно вздохнула: папа прекратил храпеть.

Бывшая жена Бадридзе в окружении жен Андгуладзе<sup>4</sup> и профессора Вронского<sup>5</sup> рыдала. Слезы бывшей жены кто-то увидел даже с галерки. Бывшая жена Бадридзе, правда, плакала всегда, даже когда Бадридзе в роли герцога в шестнадцатый раз, уже на грузинском языке, пел «Сердце красавиц...»

Обычно только в опере маме жали туфли. Мама в антракте проклинала сапожника Сако. А папа требовал, чтобы мама не смела смотреть в ложу бельэтажа.

Потом фаэтон подъезжал к дому. Мама раздевалась, снимала искусственные крупные жемчужные серьги и переодевалась в новое платье-жерси, вдевала настоящие бриллиантовые серьги, кольца. Папа закрывал плотнее ставни. Зажигал люстру, смотрел на маму, пил вино...

Папа засыпал и храпел, не допив вино. Мама раздевала отца и укладывала на тахту, садилась, потом ложилась рядом с ним, сперва разглядывала себя и драгоценности, как Маргарита в опере «Фауст», потом засыпала, забыв погасить люстру.

Мама, кстати говоря, меньше всего боялась обысков.

Больше всего она боялась сального пятна на стене, на обоях, в том месте, куда прислонялся к ним отец.

Обычно она спешила подложить ему под голову «курд балиши» (думку). Кстати, эта подушка ушла с папой в могилу.

Иногда маме казалось, что деньги, которые он прятал от всех, были именно в этой подушке, ведь их потом нигде не нашли.

Мама злилась и сама себе говорила: «чадзаглдес», «джандабас» («пропади ты пропадом»).

И после переклейки обоев и ремонта квартиры, который мы сделали, похоронив отца, когда затопили дровами печку, на стене проступило старое сальное пятно.

В городе сумасшедшее движение...улицы сузились, перекрыты перекрестки; запрещены звуковые сигналы (их заменяет ругань шоферов). Рассматриваю земляков. Тут, как всегда, свой лад во всем – в походке, плоских кепи... Однако думаю об одном – о кладбищах...

Надгробья облицуют город.

---

<sup>4</sup> Известный оперный певец.

<sup>5</sup> Профессор Тбилисской консерватории.

А это новое кладбище над обрывом в Сабуртало <sup>6</sup>...

Кажется, что могилы продаются в магазинах подарков.

Я стою над могилой отца. Она на новом участке.

Земля, перепаханная и смешавшаяся с осколками зеленого стекла от бутылок с вином, по обычаю разбитых у изголовья, где и лежит зеленая отцовская шляпа. На могиле рядом – плоская кепка, дальше на могиле милиционера – милицмейская фуражка.

Я долго стоял над могилой отца, будучи сам уже отцом, упрекая его в том, что он лишил меня детства.

Подул сильный ветер с Сабуртало, он сорвал с меня шляпу и шляпу с могилы отца, кепку и милицмейскую фуражку, и все они, разом подхваченные ветром, полетели вниз к обрыву.

Я, бегущий в надежде поймать свою шляпу, кажусь смешным со стороны.

Я догоняю ее и возвращаюсь к могиле.

Детство!..

Что это?.. Почему я не запомнил его?..

Почему я упрекаю всех и даже усопших?..

Ветры Сабуртало! Должно быть, они не только срывают шляпы с могил – они восстанавливают время.

Вот оно...

Длинные коридоры Метехского замка, превращенного в тюрьму. Мне разрешают свидание с осужденным отцом.

Кричат рябые и рыжие надзиратели.

За решеткой стоит человек, которого я упрекал.

Он улыбается мне и высоко поднимает над головой лошадку. Печального коня моего детства <sup>7</sup>...

\* \* \*

Сила подлинной вещи, видимо, в том, что взята одна высокая нота и держится до конца. Мне долго не давалась эта нота, хотя казалось нередко, что вот стоит еще раз попытаться – и это случится. Порой мне кажется, что я мог бы снять «Тени забытых предков» <sup>8</sup> гораздо раньше – не пережив стольких, пускай даже оправданных, неудач. Горько, что я лишь сейчас сделал открытия, к которым меня побуждала еще дипломная работа.

---

<sup>6</sup> Прежде равнинное место на окраине Тбилиси, где постоянно дули ветры.

<sup>7</sup> По свидетельству Параджанова, отец в тюрьме сделал ему игрушку – коня из жеваного хлеба.

<sup>8</sup> Фильм «Тени забытых предков» по повести Коцюбинского.



Эта коротенькая лента «Молдавская сказка» – единственная из моих прошлых работ, несовершенства которой я не стыжусь. Помнится, первое, что расположило меня к этой вещи, были рисунки – дипломные рисунки одного из тогдашних выпускников ВГИКа. Я всегда был пристрастен к живописи и давно уже свыкся с тем, что воспринимаю кадр как самостоятельное живописное полотно. Я знаю, что моя режиссура охотно растворяется в живописи, и в этом, наверное, ее первая слабость и первая сила. В своей практике я чаще всего обращаюсь к живописному решению, но не литературному. И мне доступнее всего та литература, которая в сути своей сама – преображенная живопись.

Режиссура – обманчивая профессия. Она не так самостоятельна, как иной раз кажется, ибо часто тебе приходится воплощать на экране чужую тему, чужие мысли, чужие образы. И если ты обладаешь хорошей культурой и умением, ты можешь делать вполне добротные вещи. У меня в те годы не было такого умения – были только благие порывы. И это не ирония – то были действительно добрые порывы, от которых я не отказываюсь. Иногда, очень редко, им случилось пробиться на экран – вопреки всему.

...Мы слишком порой полагаемся на силу опыта и забываем, что в некоторые места надо входить юными, отрешившись от своего привычного мира. Чтобы не отстранить предмет своим присутствием.

Одни раньше, другие позже, а я давно уже увлекся народной керамикой...

Меня влечет Опошня и знаменитая опошнянская глина. Из десятка тысяч штук выбираю шедевры народных мастеров. Это жанровые сценки, сказки, феерии. Вечером тянет на пейзаж... Рассматриваю опошнянскую церковь на бугре. Деревянное пятикупольное сооружение позднего классицизма, времен последних Романовых. В Отечественную войну артиллерийский снаряд сбил боковой купол, чем нарушил симметричность и придал церкви некоторую тревожность.

Церковь действующая...

Прощаясь, священник перекрестил меня левой рукой. Правая была ампутирована в медсанбате в 1943 году под Сталинградом.

Мы часто говорили о Пиросмани – о том, каким он должен предстать на экране. Мне виделся... город из черной клеенки – той самой клеенки, на которой писал Пиросмани.

И в городе этом плачут ковры, свисая с балконов и

галерей. И люди в ковбойках и узконосых туфлях несут по улочкам пустой гроб. А впереди процессии – Пиросмани. Улыбаются погребкам и духанам. И в руках у него – ничего. А на кладбище ждет их разрытая яма... Но Пиросмани отходит в сторону, где хоронят кого-то знатного и богатого, берет свою порцию шилаплава и, съедая горячий рис, исчезает, к великому изумлению всех...

Когда я бывал в Аккермане, то представлял: хорошо бы расчленил эти стены белого, голубого и розового ракушечника, чтобы во фресковой манере воссоздать «житие» Игоря и Ярославны. Вероятно, при определенном цветовом замысле и умелом использовании оптики можно воссоздать фресковую истину – не псевдоисторическую фактуру, а исторические чувства.

Где-то в моем столе лежит рисунок. Кладбище Пер-Лашез... Мадонны всех времен и всех сортов – горбатые, рыжие, накрахмаленные, смуглые, нищие, сухопарые. И вдруг среди них, среди этих мадонн, новый символ времени, новый крест – навсегда отвинченный немой красный пропеллер...

Едва я вчитался в повесть Коцюбинского, как захотел ставить ее. Я влюбился в это кристально чистое ощущение красоты, гармонии, бесконечности. Ощущение грани, где природа переходит в искусство, а искусство в природу.

Я убедился, когда работал над «Тенями», что совершенное знание оправдывает любой вымысел. Я могу песенный материал превратить в действенный, а действенный в песенный. Я мог этнографический материал, религиозный перевести в самый обыденный, обиходный. Ибо, в конце концов, источник у них один и тот же.

Решив снимать фильм, мы спешно, один за другим, выехали в Карпаты. Когда я приехал на место и огляделся, меня совсем не охватило очарование. Скорее, напротив. Первое, что попало на глаза, относилось к самой обыденной современности. Я увидел европейскую обувь, асфальт, велосипеды, высоковольтные вышки. Скалы, где бились Гутенюки с Палийчуками, уже нет – ее взорвали, когда прокладывали дорогу. Признаться, меня огорчило это странное сочетание древнего и молодого. Гудение проводов и тягучая скорбь трембиты. Золотые часы, потеснившие рукав с домотканой вышивкой... Одно окно моего номера выходило на Черемош, быстрый, извилистый, другое – на асфальтовый двор, по которому однажды прошла на базар старуха с коровой, а

после вернулась одна, позвякивая осиротевшим колокольчиком.

Судьба сжалилась надо мной. Меня выселили из гостиницы в обычную хату, и с этой минуты я начал по-настоящему постигать уклад той жизни, про которую хотел рассказать.

Никакой литературный образ не является чувственным материалом. До тебя не доходят влажность травы, запах лесной плесени... Во рту у меня до сих пор вкус воды, бегущей из-под корней сосны. На губах после каждого глотка покалывают иглы... Горы, которые прежде смотрелись как бы на горизонте – красивым и холодным «общим планом», теперь предстали во всей своей первобытной близости. Путешествуя по горам, мы ежечасно открываем маленькие тайны – почему здесь или там проваливается нога, откуда бьют родники, отчего обуглены корни. Белые овцы выходят из кустарника красными – заросли полны черники. Я нахожу в лесу на холмах потерянные запонки, гильзы от патронов, яркие перья, много разных следов. На сырой гористой почве следы долго не исчезают... Каждое село могло бы создать у себя краеведческий музей, ничуть не похожий на соседний, но разницу вам удалось бы почувствовать очень и очень не скоро. Когда я слушал пастухов, играющих на дримбе (струна, которую зажимают губами и бьют пальцами), то долго не мог отличить печальный мотив от веселого. Это очень обижало гуцулов. И только со временем удалось что-то уяснить, уловить.

Мы поняли очень скоро, что любая кинематографическая имитация, любая стилизация – подобно тому, как нередко воссоздается Древняя Русь, Древний Рим или Древний Египет – будет здесь оскорбительна...

Как-то нам довелось прожить несколько дней по соседству с одной знаменитой старухой. Никто не знал, сколько ей лет, говорили, что больше сотни. Она не возражала... Нас подвели и познакомили... Старуха помнит Ивана Франко – ходила с ним собирать грибы. Он подарил ей французские духи, и она до сих пор бережет их.

Я одеваю своего актера в «национальное» и веду к ней на показ. Ваня Миколайчук родом с этих гор и легко преображается, входит в роль. Он замечательно, просто на редкость красив – будто нарочно придуман для этой куртки с позументом, шляпы с тетеревиными перьями... Я завожу его в хату.

– Маты Алена! Смотрите сюда – это Довбуш. Довбуш Олекса...

Время давно уже остановилось для нее. Она внимательно смотрит на Ивана, потом отворачивается.

– Но ты брехун, мой пан! Когда я пришла в это место, тут стояла одна еврейская корчма. И ко мне приходили гайдуки Довбуша. Я знаю, какой он. Довбуш хромой и горбатый, у него добрые глаза...

Воистину просто и свято. Для нее Довбуш был воплощением доброты – человечности, говоря иначе, – но вовсе не красоты. Она смотрела не на одежду (та могла бы быть вполне современной), а в глаза... Мы долго прожили на Гуцульщине, мы любовались ее людьми, так же как любовались природой, – не видя их глаз, не понимая душевного лада. И вдруг однажды мне случилось подсмотреть нечто... не подобрать слова... священное, иначе не назовешь.

Свежим утром, чуть раньше обычного, я вышел из хаты, завернул к обрыву... В ледяных водах Черемоша стояли, скрытые по грудь, он и она. Пожилые супруги. Они стояли почти неподвижно – не сняв головных уборов – и темными, заморенными ладонями терли свои необычайно белые тела. Мир на секунду предстал во всем своем первобытном мужестве и наготе.

Мне вспомнились позолоченные часы, которые так гордо носят нынешние гуцулы. Мне припомнилась история. При Франце-Иосифе в Карпаты часто наезжали обеспеченные туристы, любители народной экзотики, и гуцулы охотно отдавали свои прекрасные вышивки, декоративные сосуды, плакетки за стеклянные бусы, медные городские браслеты, дешевые побрякушки... И не было странно потом увидеть парня, на шляпе которого вместо тетеревиных перьев ярко сверкал золотой погон. И вовсе не странно выглядел милиционер, который встретился нам в горах. Он был удивительно здешнего цвета, и вдобавок на околыше его фуражки красовал пушистый горный черноривец.

До сих пор эти люди воспринимают свой мир по-детски свежо – точно единственно вероятный. И сами они – такие как есть – «единственно вероятные» в этом своеобразном мире. Все, что ими создано, подсказано природой и сразу почти уходит в природу. Их деревянные церкви, сделанные из смереки (горной сосны), неотделимы от архитектуры лесов и гор, голоса их трембит – порождение эха, несколько необычного на полонинах.

Их слитность с природой, их самобытность не убиты историей. Они не отреклись от своих языческих праздников

– встречают весну, провожают зиму, торжественно отмечают первый выход овец на пастбище. Гуцулы прошли через страдания, сами испытали все, что выпало моему Ивану Палийчуку: кабалу, одиночество, унижение. Но все же остались свободными... И мы хотели сделать фильм о свободном человеке, о Данко этой земли (Коцюбинский очень любил молодого Горького) – о сердце, которое хочет вырваться, освободиться от быта, от мелочных страстей и привычек, хочет избавить от них тело и душу. Это поэт, потерявший однажды музу и обреченный жить непонимаемым, непонимающим...

Шло воскресенье. Нарядные сельчане толпились у храма Богородицы. Сюда же на площадь понаехали торгаши с воскресным товаром. Один из них, хмурый гуцул, брякнул на землю огромный мешок, распустил. В мешке лежали сопилки. Бабы, увешанные детьми, подходили к мешку – покупали по несколько штук, совали младенцам, подросткам. Скоро вся площадь огласилась тягучим, стройным воєм...

К мешку подошел мальчик, вынул сопилку... тихо поиграл... положил в мешок. Вынул другую... снова подул, слегка отодвинувшись в сторону... снова положил. Хозяин мешка хмуро косился на его макушку. Тот выбрал еще одну сопилку... еще поиграл... уже потянулся было к очередной, но тут хозяин вырвал товар у него из рук, бросил мешок и сильно локтем отпихнул от себя. Мальчик поплелся, стал неподалеку и долго-долго смотрел на торговца спокойными, взрослыми глазами. А вокруг стонал, гудел, завывал, хлюпал разноголосый хор фальшивых сопилок...

Ивану не пришлось погибнуть вместе с любимой. Он остается на земле – он даже переживает плотскую, низменную любовь к другой женщине. Но поэзия, живущая в нем, не может помириться с этим. Он хочет доброй и созидательной страсти – той, которая осеняет человека подобно вдохновению, благодати. Хочет близости и единства с любимой. Как Ромео, или Тристан, или Ферхад. И потому спасение для Ивана – в смерти, в небытии. Только там, за гранью присутствия, он видит возможность слиться со своей любовью и музой. Похожий мотив рождался у многих народов, и в теме этой, конечно же, есть интернациональное звучание. Мы открывали для себя Карпаты не как этнографический материал. Любовь, отчаяние, одиночество, смерть – вот фрески из жития человека.

...Мы делали фильм о страстях, понятных каждому человеку, и пытались передать эти страсти в слове, в мелодии, в каждой осязаемой вещи. И, конечно, в цвете. И здесь я действительно опирался на живопись, ибо живопись давно и в совершенстве освоила драматургию цвета – его организацию, возможности проявления. Мне кажется, что сейчас отказываться от цвета – значит заведомо расписываться в собственной слабости. Бесцветность прямая в какой-то степени означает бесцветность и переносную. Нам, кинематографистам, нужно сегодня учиться у таких педагогов, как Брейгель, Архипов, Нестеров, Корин, Леже, Ривера, у примитивистов – у них цвет был не только настроением, дополнительной эмоцией, но частью содержания. Речь идет, в сущности, обо всей изобразительной культуре, которую глупо рассматривать как некий наряд, украшение, но которая сама по себе содержательна, идеологична. Как-то я прочел прекрасный эпизод из жизни Делакруа – в общем-то, известный. Некая дама предложила ему сюжет для картины: герцог Веллингтон беседует, уединившись, с князем Меттернихом. Эту сценку она наблюдала в посольстве. Делакруа, отвесив поклон, возразил: «...для истинного художника это было всего лишь синее пятно рядом с красным пятном». И тот же Делакруа, когда его спросили, какой предмет он хотел изобразить в руках воина, ответил: «Я хотел написать блеск сабли». Не саблю, а блеск сабли.

Но, нечего говорить, найти такую содержательную форму не так-то просто. Ведь художнику надо было изобразить не просто два разных пятна – красное и синее, а два конкретных, единственных в своем роде пятна, не просто блеск, а блеск сабли. Несомненно, блеск орудийного ствола, стекла, росы он изобразит иначе. Мы должны что-то узнать и в этих пятнах, и в этом блеске. Это главное. Конечно, проще было бы нарисовать (а лучше сказать, скопировать) саблю, но кто же поверит в нее? В нарисованную саблю или в нарисованных генералов?

Мы обедняем себя, мысля только кинематографическими категориями. Поэтому я постоянно берусь за кисть, поэтому я охотнее общаюсь с художниками, композиторами, чем со своими коллегами по профессии. Мне открываются другая система мышления, иные способы восприятия и отражения жизни. Вот когда чувствуешь, что кино – синтетическое искусство. Это одна из возможностей уходить от себя, от

своих удач и ошибок — уходить от стандарта, от сложившегося и привычного мира...

...Так хочется сделать фильм о времени — о великом зодчем, который постоянно реконструирует, восстанавливает, разрушает, достраивает. Время великодушно и справедливо — оно снимает налеты истории, возвращает нас к первоначальной истине. Оно очищает память, снимает наветы и оскорбления с осужденных, воскрешает забытых, судит неправедных.

...В соседнем дворе, одном из дворов моего детства, начинает поскрипывать с четырех утра. Старый гончар запускает свое «колесо»... Один за другим освобождаются от его ладоней глиняные близнецы. Он почти не глядит на форму, гудит себе что-то в нос. Пальцы привычно и равнодушно скользят по глине, оправляют будущие бока...

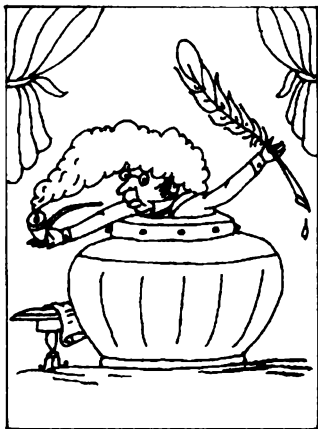
Но вот приходит новый заказ. Старик осторожно, медленно разгоняет круг. Останавливает поминутно. Смотрит, свыкается с непривычными очертаниями. Пальцы тревожно прощупывают состав... Сейчас он перешагивает, переступает через что-то... уходит все дальше и дальше... Новый предмет становится на скамью, сразу же изменяя весь окрестный пейзаж. Другая лужа, другое дерево, другие облака, горы, море... И весь этот беспредельный, щедрый мир.

## КОГДА МЫ БЫЛИ БЕССМЕРТНЫМИ...

Человек как существо нравственное наделен памятью. Она поселяет в человека неудовлетворенность. Делает его уязвимым, способным к страданию...

Пусть кто-нибудь скажет о своих наиболее ярких детских впечатлениях, и можно с уверенностью сказать, что в нашем распоряжении материал, при помощи которого о человеке складывается безошибочное мнение. Но если мы на минуту представим себе человека, лишенного памяти, то существование его оказывается иллюзорным, он как бы выпадает из времени, не способный ухватить длительности и последовательности, внутреннюю логику и свою связь с жизнью.

Говорят, что Время необратимо... Наверное, это так, потому что мы не можем физически вернуться в прошлое, даже на несколько минут, на мгновение... Но что такое прошлое? Это, вероятно, то, что уже прошло?.. А что это означает – прошло? Для каждого человека в прошлом заложена непреходящая реальность настоящего, текущего мгновения. Прошлое – в определенном смысле – даже реальнее и, уж во всяком случае, стабильнее, устойчивее настоящего... Настоящее скользит и уходит как песок меж пальцев и обретает свою материальную весомость лишь в воспоминании о нем. Ничто не проходит, в пику надписи на Соломоновом Кольце, все откладывается в человеческой памяти – таким образом, в этическом смысле Время обратимо. Иногда еще как обратимо! Оно не может исчезнуть бесследно, несмотря на то – или, наоборот, благодаря тому, – что является лишь субъективной духовной категорией. Оно, наше прожитое Время, оседает в душе каждого неким временным опытом.





Время – это горький и сладостный дар, дарованный человеку... Потому что жизнь – это отведенный человеку срок, в который он может и должен сформировать свой дух в соответствии со своим пониманием человеческого предназначения. Жесткие – как это ни грустно – рамки временной деятельности кристаллизуют нашу ответственность перед собою и другими.

Таким образом, человеческая совесть тоже и зависит от Времени, и живет в нем.

Может быть, Время – условие существования нашего Я? Наша питательная атмосфера, которая разрушается за ненадобностью в результате разрыва связей личности с условиями ее существования? Когда наступает смерть. И смерть индивидуального Времени тоже, в результате чего жизнь человеческого существа становится недоступной для чувств остающихся в живых. Мертвой для окружающих...

Время нужно для того, чтобы человек мог быть личностью. Конечно, не линейное время. Не в смысле возможности успеть сделать, иметь возможность совершить поступок. Поступки – результат, а мы рассуждаем о причине, оплодотворяющей человека в нравственном смысле.

История – еще не время. И эволюция тоже. Это последовательности. А время – это состояние. Пламя, в котором живет саламандра человеческой души.

Что значит для меня память, связанная с детскими чувствами? Что значит она для меня? Почему она лучший друг и советчик, когда дело касается творчества? Потому ли, что напряжение связи с ней возбуждает твою волю, жажду творчества? Обязательства перед памятью? Не забыть, запомнить навсегда, закрепить, рассказать о своем детстве? О себе, когда мы были бессмертными и счастливыми? Когда все еще было впереди, все возможно...

«... Рассказ какой-то про одно и то же,  
На свет звезды, на беглый блеск слюды,  
На предсказание беды похожий.  
И что-то было в нем от детских лет,  
От непривычки мерить жизнь годами  
И от того, чему названья нет,  
Что по ночам приходит перед снами,  
От грозного, как ранние года,  
Растительного самоощущенья...»

Вот что писал мой отец Арсений Тарковский.

\* \* \*

Мы жили с мамой, бабушкой и сестрой – это была вся наша семья. По существу, я воспитывался в семье без мужчин. Я воспитывался матерью. Может быть, это и отразилось как-то на моем характере. Мои родители разошлись. Это было в 1935–36 году. Мы остались с моей сестрой Мариной у мамы. Я помню маленький хутор в лесу, километрах в девяноста-ста от Москвы, недалеко от деревни Игнатьево на берегу Москва-реки. Здесь провели несколько лет. Это было тяжелое время, потому что тогда разладились отношения моей матери с отцом, и он оставил нашу семью. Я помню, как однажды отец пришел ночью к нам и требовал, чтобы мама отдала меня ему, чтобы я жил с ним. Помню, я проснулся и слышал этот разговор. Мама плакала, но так, чтобы никто не слышал. И я тогда уже решил, что, если бы мама отдала меня, я бы не согласился жить с ним, хотя мне всегда не хватало отца. С тех пор мы всегда ждали его возвращения, так же как потом ждали его возвращения – с фронта, куда он ушел добровольцем.

\* \* \*

Во время эвакуации, когда мы жили в Юрьевце – зимы были прекрасными. Видимо, оттого, что в этом маленьком городке на Волге не было никаких заводов, способных перепачкать зиму.

В 1942 году, в канун Нового года, там выпало столько снега, что по городу было почти невозможно ходить. По улицам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на коромыслах ведра, полные пенистого пива. Они с трудом расходились на узких, протоптанных в снегу тропинках и поздравляли друг друга с наступающим праздником. Никакого вина, конечно, в продаже не было, но зато в городе был пивной завод, и по праздникам жителям разрешалось покупать пиво в неограниченном количестве.

Снег был чистый, белый. Он шапками лежал на столбах ворот, заборов, на крышах...

\* \* \*

Детство моих сверстников связано с войной. «Когда нам было девять лет, наступил 1941-й год. В 1945-м нам исполнилось тринадцать. Люди одного поколения в мирной жизни менее связаны друг с другом. Мы же были связаны войной. Ожиданием. Надеждой и страхом. Верой и голодом. Письма-

ми от отцов в виде треугольников, приходивших с фронта. Обесцененными денежными аттестатами, а некоторые счастливыми короткими побывками и свиданиями с отцами и братьями.

Я помню, как это было у нас.

Редкие березы, ели – не лес и не роща, – просто отдельные деревья вокруг дачи, на которой мы жили осенью сорок четвертого года.

Мы бродили по участку и собирали сморчки. Я бесцельно слонялся между деревьями, потом наткнулся на канавку, наполненную талой водой. На дне, среди коричневых листьев почему-то лежала монета. Я наклонился, чтобы достать ее, но сестра именно в это время решила испугать меня, с криком выскочив из-за кустов. Я рассердился, хотел стукнуть ее, но в то же мгновение услышал мужской, знакомый и неповторимый голос: «Марина-а-а!»

В ту же секунду мы уже мчались в сторону дома. В груди у меня что-то прорвалось, я споткнулся, чуть не упал, и из глаз моих хлынули слезы. Все ближе и ближе я видел его очень худое лицо, его офицерскую форму, кожаную портупею, его руки, которые обхватили нас. Он прижал нас к себе, и мы плакали теперь все вдвоем, прижавшись, как можно ближе друг к другу, и я только чувствовал, как немеют мои пальцы – с такой силой я вцепился ему в гимнастерку.

– Ты насовсем? Да? Насовсем? – захлебываясь бормотала сестра, а я только крепко-крепко держался за отцовское плечо и не мог говорить.

Вдруг отец оглянулся и выпрямился. В нескольких шагах от нас стояла мать. Она смотрела на отца, и на лице ее было написано такое страдание и счастье, что я невольно зажмурился.

\* \* \*

Было раннее холодное утро. В эту первую послевоенную осень, пока мать еще не устроилась на работу, она часто приходила сюда, на этот маленький, почти в самом центре города, рынок. Тогда почему-то цветы не разрешали продавать даже на рынках. Да и какие тогда были цветы! Не то, что сейчас, когда их везут с юга вагонами и самолетами.

Перед воротами рынка, в узком переулке, застроенном старыми, невысокими домами, стояли женщины и продавали поздние вялые астры и крашеный ковыль. Нельзя сказать, чтобы торговля шла бойко – не то было время.

Среди этих женщин, приехавших из-за города, стояла и моя мать. В руках нее была корзинка, накрытая холстиной. Она вынимала из нее аккуратно связанные букеты «овсюка» и так же, как остальные, ждала покупателя. Я представляю, как она смотрела на людей, шедших на рынок. В ее глазах был вызов, который должен был означать, что она-то здесь случайно, и нетерпеливое желание как можно быстрее распродать свой товар и уйти.

Пожилой человек с бородкой и в длинном светлом пальто подошел к ней взял цветы и, почти виновато сунув ей деньги, торопливо пошел дальше. Мать на секунду опустила голову, спрятала деньги в карман и вытащила из корзины следующий пучок.

Из ворот рынка вышел худой милиционер и остановился, начальственно поглядев по сторонам. Женщины с цветами бросились за угол. Одна мать осталась стоять на прежнем месте, и весь вид ее говорил, что вся эта паника, вызванная появлением милиционера, ее не касается. Она полезла в карман за папиросой, но никак не могла найти спичек. Милиционер подошел к ней, откинул холстину и, увидев цветы, сказал хриплым голосом:

— А ну давай... Давайте отсюда...

— Пожалуйста...

Мать иронически усмехнулась, пожала плечами и отошла в сторону. В этом ее движении было что-то и очень независимое, и в то же время жалкое. Извинившись, она прикурила у прохожего и глубоко затянулась. Закашлялась. Надо было дожждаться, пока милиционер уйдет.

...В вагоне было темно, и стояла такая духота, что, несмотря на открытые окна, у меня кружилась голова и перед глазами плавали радужные круги. Мы с матерью стояли в проходе, а Антонина Александровна с моей сестрой сидели у окна, притиснутые огромным человеком с потным лицом. Поезд с грохотом проносился мимо запыленных полустанков, пакгаузов и дымящихся свалок, огороженных колючей проволокой.

Потом пошли леса. Но даже это не приносило облегчения, и вагонные сквозняки лишь усиливали во мне сосущую тошноту. В вагоне кричали, смеялись, пели. Сквозь шум и грохот поезда было слышно, как в дальнем конце вагона кто-то с тупой настойчивостью терзал гармошку. У меня потемнело в глазах, и я почувствовал, что бледнею. В этот момент я словно увидел себя со стороны и поразился своему внезапно

позеленевшему лицу и провалившимся щекам. Мать вопросительно взглянула на меня.

– Тошнит что-то... Я пойду в тамбур... – пробормотал я и стал протискиваться по забитому проходу. Мать двинулась за мной. У меня тряслись колени, ноги были как ватные, я ничего не видел вокруг и из последних сил рвался к спасительной площадке. «Только бы не упасть, – думал я. – Только бы не упасть».

Потом я стоял на верхней ступеньке подножки, придерживаясь за поручень. Мать сзади держала меня за ремень. Поезд мчался вдоль зеленого склона с выложенной белым кирпичом надписью: «Наше дело правое – мы победим». Я подставлял лицо ветру и, стараясь глубоко дышать, понемногу приходил в себя.

– Чего ж это он? – услышал я позади сочувственный женский голос. Мать что-то ответила. Отдышавшись, я повернулся к ней и попытался улыбнуться.

– Ничего, нам скоро выходить, – сказала она.

– Ну-ка, на, выпей, – услышал я тот же голос. Пожилая женщина, одетая, несмотря на жару, в ватник и резиновые сапоги, наклонилась над большим бидоном и налила в крышку молока. Я посмотрел на мать. Она кивнула и отвернулась.

– Спасибо, – сказал я бабе в резиновых сапогах и, стараясь не расплескать молоко, принял из ее рук глубокую жестяную крышку. Пока я пил, она весело смотрела на меня. Мать повернулась и пошла обратно в вагон.

– Мы сейчас... Я пойду за нашими...

Когда поезд ушел, мы долго стояли на деревянной платформе и слушали, как замирает вдали его грохот. Потом наступила оглушительная тишина, и в мои легкие ворвался пахнущий смолой чистый кислород.

В поле было прохладно. На глинистой дороге стояли глубокие желтые лужи. Солнце светило сквозь легкие прозрачные облака. В сухой траве тихонько посвистывал ветер.

Мы бродили по неровному пару, изрытому кротовыми норами, и собирали «овсюки» – метелочки, похожие на овес, коричневого цвета и покрытые мягкими шелковистыми ворсинками. Каждый раз, собрав несколько небольших пушистых букетиков, я, как учила мать, перевязывал их длинными травинками и складывал в корзину. Хотя я и знал, для чего предназначаются эти «букеты», я сказал матери, которая с охапкой «овсюка» шла в мою сторону, время от времени наклоняясь за особо красивыми экземплярами:

– Ма, может хватит... Ходим, ходим, собираем, собираем... Ну их!..

– Ты что, устал? – не глядя на меня, спросила мать.

– Надоело уж... Ну их!..

– Ах тебе надоело? А мне не надоело...

– Не надоело – вот и собирай сама свои «овсюги». Не буду я!

– Ах не будешь?

Мать изменилась в лице, на глазах ее выступили слезы, и она наотмашь ударила меня по лицу. Вспыхнув, я оглянулся. Сестра ничего не заметила. Тогда я пошел на самую середину поля... Щека моя горела. Я поднял с земли палку и, чтобы отвлечься, стал разрывать рыхлый холмик над норой, чтобы проследить подземные ходы, вырытые кротом. Издали я видел, как сестра, Антонина Александровна и мать медленно ходили взад и вперед, то и дело нагибаясь за этими проклятыми «овсюками».

\* \* \*

Те, кто родились позже 1944-го года – совершенно другое поколение, отличное от военного, голодного, рано узнавшего горе, объединенного потерями, безотцовщиной, обрушившейся, как стихия, и оборачивающейся для нас инфантильностью в 20 лет и искаженными характерами. Наш опыт был разнообразным и резким, как запах нашатыря. Мы рано ощутили разницу между болью и радостью и на всю жизнь запомнили ощущение тошнотворной пустоты в том месте, где совсем недавно помещалась надежда.

Наше поколение – битое. В том смысле, который обычно употребляют в отношении женщины, печенками и бедами понявшей смысл и значение верности.

В нас еще долго жило эхо этой самой надежды, которая объединяла всех, кто пережил войну. Она связывалась с исполнением всех желаний, задавленных смертями, бомбежками, нищетой и разрухой.

Желание покоя и сытости выродилось после войны у одной половины в истовые убеждения и служение им, у другой – в приспособленчество и стремление к излишествам.

Несмотря на, в общих чертах, общий мартиролог, расслоение началось необратимое и ожесточеннее, как только мы стали взрослыми.

Трудно говорить о специфике роли, которую играет в жизни наше поколение. Единственное, на что можно решить-

ся, – это рассказать о себе. Тем более, что говорить от лица многих недостойно и безответственно.

\* \* \*

Детством, воспоминаниями о себе, чувствами бессмертия и острой растительной радости художник питается всю свою жизнь. Чем ярче эти воспоминания, тем мощнее творческая потенция.

Поэтому автобиографический жанр – единственный, в котором художник целно и недвусмысленно приносит жертву у истоков своего таланта. Поэтому-то я должен снять фильм, который будет называться «Белый день» («Зеркало»). Фильм о моем детстве, счастливой памяти и о любви, смысл которой можно осознать только сейчас, когда ты, наконец, понял, что и как ты любил и почему. Тогда же любовь была бессмысленна и поэтому радостна и безмятежна. А так как очень хотелось быть счастливым, то научиться этому можно, только вспоминая. Детство, сияющие на солнце верхушки деревьев и мать, которая бредет по покрытому росой лугу и оставляет за собой темные, как на первом снегу, следы...

\* \* \*

Я был хитрым и наблюдательным. Хитрость оплодотворяла мою наблюдательность и вместе с неумением ее скрывать выкристаллизовывалась в какую-то отвратительную и болезненную незащищенность.

Незащищенность же эта своеобразно выразилась в моем патологическом нежелании действовать в нужный момент. Я как бы заскорузнул в сладострастном эмпирическом пафосе. Я был похож на растение. На тыкву, с практическим умыслом выпускающую завивающийся ус, чтобы за что-нибудь уцепиться. Беда в том, что я так ни за что и не цеплялся. Тыква была дефективная... Усы ее не стремились к опоре, а с болезненной напряженностью вздрагивали в мутной парной темноте огородной зелени, лишенные цели.

Меня успокаивал огород. Он царственно покрывал пространство между домом и тремя заборами. Один отделял его от улицы, ведущей вверх, в гору, к кирпичной выбеленной Симоновской церкви, другой – от соседского участка, а третий, с калиткой на веревочных петлях, от нашего двора, заросшего лебедой и растением, названия которого я не помню – с шишечками, похожими на цветущий подорожник,

которые пачкали руки черным, если их раздавить между пальцами...

Все три забора были старыми и поэтому прекрасными. Кстати! Считается, что время само по себе способствует выявлению сущности вещей. Поэтому японцы видят особое очарование в следах возраста. Их привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелость камня или даже обшарпанность – следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Вот эти черты древности именуются словом «саба», что буквально означает ржавчина. Саба, стало быть, – это неподдельная ржавость, прелесть старины, печать времени.

Такой элемент красоты, как саба, воплощает связь между искусством и природой.

Но я не японец! Откуда же такая тяга к патине?

Да, заборы – это особая тема. Заборы после дождя, когда они сохнут на солнце...

\* \* \*

Первый раз я был в кино в 1939 году. Меня повела туда мать. Она считала, что кино вредно сказывается на детской психике и всячески старалась оградить меня от него.

Мать повела меня в «Ударник». Шел «Щорс» Довженко. Картину я не запомнил. Я помню лишь голубоватое мерцание экрана и черные взрывы среди подсолнухов, сопровождавшиеся музыкальными аккордами. Из этого посещения «Щорса» я ничего больше не помню. Эти взрывы и подсолнухи меня потрясли.

Довженко – гений. И, к сожалению, должен добавить – гений наполовину несостоявшийся. Его «Земля» – великая картина. У нас в кино не так уж много великих картин. Из немых: «Земля», «Броненосец «Потемкин». Из звуковых: «Щорс» и, на мой взгляд, «Окраина» Бориса Барнета гораздо талантливее и значительнее «Чапаева». Сейчас «Окраина» смотрится с огромным интересом. Она осталась современной даже по форме. Актеры там играют просто прекрасно.

Если говорить о корнях, которые питают меня, то они скорее связаны с литературой, живописью, поэзией и музыкой, чем с кино как таковым.

\* \* \*

В 7 лет я поступил в музыкальную школу и с переборами кончил ее в 1946 году по классу рояля. Инструмента у нас не было, и занимался я у знакомых в разных домах. Кончил я ее



частным образом, и Нина Александровна, моя учительница, за два последних года занятий не взяла с нас ни копейки. Она знала, что матери моей трудно.

Если бы после школы я поступал в консерваторское училище, я бы попал наверняка. Так говорила Нина Александровна. Но я бросил музыку, несмотря на отчаянные усилия моей матери, направленные на покупку билетов и абонементов в Консерваторию, куда мы ходили с ней по два раза в неделю.

Музыку я бросил. И до сих пор об этом не жалею. Жалею, что не стал дирижером. Но музыка легла мне на душу. Параллельно с 1943 года я два года занимался живописью в художественной школе, и живопись тоже бросил...

В нашем доме было много книг, и я привык много читать. Когда я занялся режиссурой: поступил во ВГИК в мастерскую М. И. Ромма, а потом оказался на Мосфильме и столкнулся с ней вплотную, я понял, что все, что я знал, мне пригодилось. Но что меня поразило на всю жизнь и за что я больше всего благодарен матери, это природа. Это чувство любви к ней – нежной и грустной, не только не гаснет, но крепнет с каждым годом. Наверное, поэтому «Жизнь в лесу» Торо – моя самая любимая книга.

В школе же, где, в основном, все учебное время я посвящал драматическому кружку, жажда творчества выражалась лишь в отвратительном самолюбовании...

Главное, что я считаю важным для моего занятия кино, – это облик, который врезался в мою память – вода, деревья, леса, поля, дождь, листья, заборы под солнцем, огороды, раскаленные зноем крыши среди деревьев, и все это, словно минутные деления на часах моего детства. Детства, которое не более и не менее, материал духовной жизни, залог ее разрастания и соединения с другими людьми, организующими мою судьбу.

Еще в начальной школе меня поразил пушкинский «Пророк». Я его не понял, конечно. Но увидел. Он в моем воображении связывался с иконой времени Грозного «Иоанн Предтеча», которая висела на стене в комнате, где я спал. Мятая с огромными крыльями фигура на красном, как кровь, фоне. И почему-то я видел песок. Плотный, убитый временем. Это, наверное, из-за строк, «как труп в пустыне я лежал». Правда, я не чувствовал тогда, что такое труп... И еще из-за строки: «В пустыне жалкой я влачился»...

Улица уравнивала меня по отношению к рафиниро-

ванному наследию родительской культуры. Что же касается родителей, то если отец передал мне частицу своей поэтической души, то мать – упрямство, твердость и нетерпимость. Хотя у отца тоже всегда было достаточно этих необходимых в наше время качеств для тех, кто занимается творчеством.

Любопытная деталь в связи с данью, которую я с почтением приношу своим родителям. Когда уже во ВГИКе приемная комиссия решала, кому быть или не быть студентом, В. Шукшин и я были вычеркнуты из списка поступивших. И, как объяснил мне потом М.И.Ромм, за мою излишнюю интеллигентность и нервность, Васю же Шукшина за темноту и невежество. И только заинтересованность Михаила Ильича помогла нам стать студентами режиссерского факультета.

В детстве моя мать впервые предложила мне прочесть «Войну и мир». Потом в течение многих лет не переставала цитировать мне куски оттуда, обращая внимание на детали и тонкости толстовской прозы. Поэтому «Война и мир» явилась для меня школой вкуса и художественной глубины, после которой я не мог читать макулатуры, вызывавшей у меня чувство брезгливости и глубокого презрения.

Мережковский в своей книге о Толстом и Достоевском... подчеркивает неудачные места, где герои пытаются либо философствовать, либо философски оценить явления. Подчеркивает с целью резкой критики. На мой взгляд – справедливой. Но это не мешает мне любить Толстого за «Войну и мир». Теперь-то я знаю, что гений не в абсолютной законченности произведения, а в произведении со следами даже невнятными и неумелыми кусками, которые он преодолевает талантом и страстью.

И снова я, как маньяк, возвращаюсь к своей теме. Теме детства, земли, которая для меня слилась в грустную на высоких регистрах, похожую на шарманку музыку. Это Бах – фаминорная хоральная прелюдия для органа. Если я хочу сочинить для своего фильма что-нибудь толковое, я слушаю Баха и вспоминаю Симоновскую церковь.

Во время войны, когда мне было уже двенадцать лет, мы снова жили в Юрьевце. Но теперь нас называли «выкуиrowанными» или «выковыренными», как кому больше нравилось.

Симоновская церковь была превращена в краеведческий музей. Пустовал только огромный ее подвал. Стояло жаркое лето, и тени высоких лип вздрагивали на ослепительных стенах. Мы с приятелем, который был на год меня старше и

вызывал во мне чувство зависти своей храбростью и каким-то не по возрасту оголтелым цинизмом, долго лежали в траве и, шурясь от солнца, со страхом и вожделением смотрели на невысокое приподнятое над землей оконце, черное на фоне сияющей белизны стен.

Замысел ограбления был разработан во всех деталях. Но от волнения все его подробности смешались у меня в голове, и твердо я помнил лишь об одном: влезть в оконце вслед за моим предприимчивым приятелем. Мы позвали мою сестру, спрятали ее в траве за толстой липой и велели ей следить за дорогой. В случае опасности она должна была подать нам условный сигнал. Умирая от страха, она согласилась после напористых увещаний и угроз. Размазывая по лицу слезы, она лежала за деревом и умоляюще смотрела в нашу сторону с надеждой на то, что мы откажемся от своего безумного предприятия.

Первым юркнул в прохладную темноту подвала руководитель операции. За ним я. Выглянув из оконца, я увидел перепуганные глаза сестры, отражающие блеск освещенных солнцем церковных стен.

Мы долго бродили по гулкому подвалу, по его таинственным и затхлым закоулкам. Сердце мое колотилось от страха и жалости к самому себе, вступившему на путь порока.

В ворохе хлама, сваленного в углу огромного сводчатого помещения, пахнувшего гниющей бумагой, мы нашли бронзовое изображение церкви — что-то вроде ее модели искусной чеканки, формой напоминающей ларец или ковчег. Мы завернули ее в тряпку. Собрались уже было отправиться в обратный путь, как вдруг услышали чьи-то шаги. Мы бросились за гору сваленных в кучу заплесневевших от сырости книг и, прижавшись друг к другу, замерли, вздрагивая от ужаса. Шаркающие шаги, звонко ударяясь в низкие потолки, приближались.

Из боковой дверцы появилась сгорбленная фигура старика в накинута на плечи выгоревшей телогрейке. Бормоча что-то про себя, он прошел мимо нас, свернул в коридор, ведущий к выходу, и через минуту мы слышали скрежет железного засова и визг ржавых петель. Потом грохнула дверь, эхо ворвалось под освещенные сумеречным светом своды и замерло, растворившись в подземной прохладе подвала.

Я уже не помню, как мы выбрались из подвала. Помню только, что у меня не попадал зуб на зуб.

Не зная, что делать со своей находкой и оценив ее, как предмет, обладающий сверхъестественной силой и способный повлиять на нашу судьбу самым роковым образом, мы закопали его возле сарая, под деревом. Мне было страшно, и долго после этого я ждал жутких последствий своего чудовищного преступления перед таинством непознаваемого. Особенно сильное впечатление эта эпопея произвела на меня, может быть, потому, что в старике, которого мы увидели в церковном подвале, я узнал человека, распоряжавшегося работами еще до войны, когда ломали Симоновские купола... при этом он доил корову, лежавшую на земле...

История эта до сих пор волнует меня и даже пугает. Я иногда думаю о том, что снова вернусь в Юрьевец и раскопаю наш тайник, где был зарыт ковчег. Я и сейчас помню, куда мы спрятали нашу находку, и мне почему-то кажется, что в эту минуту я буду счастлив.

Иногда куски из яростных фильмов Бунюэля, глубоко страдающего от своего безбожия, напоминают мне этот детский эпизод «грехопадения». Переплетением своей детской ограниченности, равной Вере – с отчаянными пограничными конфликтами, имеющими свойства нигилизма, или, что еще мучительнее – отступничества. Отступничества от Общего и Трансцендентного, которое существо ребенка пронизывает более живыми и крепкими корнями, чем взрослого.

Отдельные жесткие и мучительные сцены, окрашенные у Бунюэля колоритом нравственного протеста ли, отчаяния ли, наивного ли и стихийного самоутверждения, через которые этот гениальный испанец вырывается за пределы морали в область нравственной ответственности в творчестве, всегда связанной с риском и искренностью...

ВЕЛИКИЙ СЦЕНАРИЙ...

Бывают крылья у художников,  
Портных и железнодорожников,  
Но лишь художники открыли,  
Как прорастают эти крылья.

А прорастают они так,  
Из ничего, из ниоткуда.  
Нет объяснения у чуда,  
И я на это не мастак.

Младенчество свое помню плохо. До пяти лет – туман...

А что я помню вначале, с чего все началось? Летом, за городом, в сумерках, я шел через картофельное поле и там, на поле, у меня из-под ног выскочил большой серый заяц, прямо из-под ног, внезапно – и помчал к лесу. Это было летом 1941 года...

\* \* \*

10/I. 1946 год. Осень

Осень наступила. Лес весь  
Пожилтел. Ветер листья  
Гонит. Зайчик побелел.  
Все цветы засохли. Птички  
Улетели. Речка вся покрылась  
тонким льдом. Вот уже морозы  
к нам идут, вот уже метели  
под окном поют.

*Шпаликов Геннадий*

18 августа 1946 г. Лагерь

Мы приехали в наш лагерь.  
С песней громкую вошли умыва-  
лись разевались а потом уж спать  
легли.  
Мы ходили на прогулку  
собирали там цветы. Мы



раставили их в банки и  
по спальням разнесли. В  
спальнях чисто все убрали  
все в порядок превели на ленейку  
мы шагали стройно в ногу как могли.

*Шпаликов Г.*

30 декабря 47 год. Новый год.

Новый год настает. Елку ставить пора.  
Новый год настает веселись детвора!  
Вот и ночь настала и, как в сказке кругом все в сиянье  
огня голубом. Нежным светом луна все вокруг,  
освещает, из-за гор и морей новый год прилетает.  
Он бежит и спешит, снегом кроя поля,  
Вьюга воет свистит замерзает река.

*Сочинил Гена.<sup>1</sup>*

\* \* \*

По несчастью или к счастью,  
Истина проста:  
Никогда не возвращайся  
В прежние места.

Даже если пепелище  
Выглядит вполне,  
Не найти того, что ищем,  
Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно  
Я бы запретил,  
Я прошу тебя, как брата,  
Душу не мути.

А не то рвану по следу,  
Кто меня вернет?  
И на валенках уеду  
В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю,  
Там, где — боже мой! —  
Будет мама молодая  
И отец живой.

---

<sup>1</sup> Стихи написаны в детском возрасте, печатаются без исправлений.

\* \* \*

Мама родила меня очень молодой, ей было восемнадцать лет. Она говорила: «Когда ему будет двадцать лет, мы будем танцевать, так как мне только исполнится тридцать восемь». Но мы танцевали редко. Я не помню, чтобы это было серьезно.

О мамах писали всегда, много и сердечно. Пытался и я:

Я бы мог написать про это,  
Так, как мамам пишут поэты –  
Много слов, ласковых-ласковых,  
Что по всем посвящениям затасканы,  
Много слов, нежных-нежных,  
Что написаны кем-то прежде.

Только поэтому не хочу писать к маме. А она у меня – самая расчудесная, редкая мама. (Из дневника. 30 апреля 1955 г.)

\* \* \*

Моему отцу нравилось рисовать снег на закате, весной.

Вернее, он писал, красками, на холсте, и все время: снег, закат, желтизну неба, розовый снег по берегам освобожденной ото льда реки, и ее темную воду, еще более темную между снежных берегов, мост, низкий, деревянный, и деревья, тоже весенние, темные, на желтизне неба, но это (я знаю) – март, долгий месяц, спокойный, с электричками, пригородом, пивом на платформах – поворот кружки вслед уходящему поезду, и смотреть через окно пивной, как мелькают вагоны, сплошной, все убыстряющийся ряд стекол, полосой, уходящей вправо, лица за ними, смазанные, пиво бочковое, дуть на пену, доставая ту самую желтизну, пиво чудесное, холодное, еще зима, ехать никуда не надо – и пошли пешком, по берегу, через мост, с газетами, купленными на платформе, не открывать их, не читать – все после, потом, в постели, со светом, при электрическом свете, но, однако, имея еще и естественное освещение за окном, голубоватое, весеннее, такое весенне-апрельское, что мне становится страшно за себя, я помню все эти освещения, улицы, фонари, горящие при естественном освещении, чудесно все, мягкое освещение, сумасшедшее небо, воздух, кинотеатры, толпа, идущая навстречу, и за мной толпа, апрель.

\* \* \*

Меня успокаивает мысль, что все эти годы, трудные, бестолковые и ужасно длинные, — все это только начало.

Многие думают: это вся жизнь, а это начало, и все еще будет совсем не так. Я подумал: кто же начинал счастливей?

У лучших людей в прошлом — невеселая молодость, а молодость, пока она есть, кажется бесконечной. И по ее первоначальным огорчениям и бедам мы судим о жизни так далеко вперед... К счастью, все не так. И мы такие маленькие, и жизнь такая большая, и так ей наплевать, что мы о ней думаем...

\* \* \*

В конце концов, нет ничего выше радости от настоящего дела, а если радости нет, то чего стоят все твои фильмы? Не важно, что многое позже кажется наивным, а то и вовсе плохо, — важен процесс придумывания и то счастье, когда что-то получается или (я согласен и на это!) кажется, что получилось. Потери, провалы здесь будничны и неизбежны, но зато позже весь кинематограф живет на этих провалах и видимые ранее всем недостатки обретают классическую законность.

Я не знаю, как надо сейчас сочинять сценарии. Но я понимаю, что современный сценарий для современного уровня кинематографа надо возводить, как возводят сложное сооружение.

Великий Сценарий, если такой существует, — подвижен, веществен, наделен цветом, музыкальной партитурой, он звучит, в конце концов, со всей присущей ему разноголосицей, сменой ритмов, оттенков, частностей, — он наиболее жизненный род современной литературы. Для всего этого требуется универсальная писательская техника, а точнее — полный отказ от нее. Что это значит — трудно сказать. Но вспомнить по этому поводу есть что — из русской литературы: «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина. Что это? Поэма? Роман? Исповедь? Разросшийся деревом черновик? Письмо к самому себе?

Чтоб не продолжать список догадок, скажу сразу: по моему, это и есть тот самый Великий Сценарий, воздвигнутый... Как это вышло — загадка, тайна. Леса убраны, собор стоит. Осталось только ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути человека от рождения до смерти.



\* \* \*

Я к вам травкою прорасту,  
Попробую к вам дотянуться,  
Как почка тянется к листу  
Вся в ожидании проснуться.

Однажды утром зацвести,  
Пока ее никто не видит,  
А уж на ней роса блестит  
И сохнет, если солнце выйдет.

Оно восходит каждый раз  
И согревает нашу землю,  
И достигает ваших глаз,  
А я ему уже не внемлю.

Не приоткроет мне оно  
Опущенные тяжело веки,  
И обо мне грустить смешно,  
Как о реальном человеке.

Ведь я – осенняя трава,  
Летающие по ветру листья,  
Но мысль об этом не нова,  
Принадлежит к разряду истин.

Желанье вечное гнетет,  
Травой хотя бы сохраниться –  
Она весной прорастет  
И к жизни присоединится.

## ЗА ПРОЧИТАННЫМИ КНИЖКАМИ

О том, что началась война, я узнал в деревне с милым названием Любитово, которая стояла на холме в окружении полей и мелкокося в десяти километрах от райцентра Осьмино и восьмидесяти – на запад от Луги. Тут мы с мамой наслаждались теплом, которое принесло в обилии лето 1941 года, радовались щедрости природы, купались в просторах дедовского дома и сада. Здесь я со сверстниками – и деревенскими, и дачниками – был непременным наблюдателем, а нередко и участником сельских работ, которые воспринимались нами скорее как игра и потому никогда не надоедали. В Любитове я, в общем-то сугубо городской мальчишка, сердцем прирос к нашей родной земле и всему, что есть на ней...

Несколько тревожных недель – и вот 11 июля, как порыв шквального ветра, деревню оглушило известие: «Фашисты прорвались, идут на Лугу! Приказ всем уходить, скот угонять!» Уходили действительно под носом у врага: днем 12 июля проехали через Осьмино, а поутру на другой день туда ворвался передовой отряд фашистов.

Кончилось детство...

...Облик Ленинграда показался необычным: много людей в военной форме, движение поделовому сосредоточенное, тела аэроплатов, похожие на китов, и рядом с ними – тупорылые темноватые баллоны с газом (мы их потом звали не иначе как «колбасы»).

Всюду шла работа по укрытию первых этажей мешками с песком, дощатыми щитами, между плоскостями которых засыпали тот же песок. Не сразу привык к искрещенным бумажными полосками окнам домов.

Уже позднее по радио услышал стихи, и в память мне врезался



лись строчки: «...неведенья беспомощные знаки, зимы Варфоломеевской кресты...» Что такое Варфоломеевская ночь, я узнал года два спустя – после «Хроники времен Карла IX». Лучшего же определения этому наивному защитному ухищрению, чем дала Ольга Берггольц, не слышал.

К первым впечатлениям от военного, насторожившегося Ленинграда в обилии добавлялись новые. Черты военного города как-то необъяснимо соединялись с его обликом мирных дней, а растерянность июльских, тревога и напряженность августовских, щемящее беспокойство сентябрьских дней вдруг перемежались моментами удивительного внешнего покоя. Город, его дома, площади, улицы, казалось, начинали жить сами по себе и вели между собою беззвучный, только им понятный разговор о себе, о том, что происходило. Но таких моментов тишины становилось все меньше. Все чаще город оглушали рвущий уши вой сирен, отчетливое хлопанье зениток-скорострелок, глуховатые разрывы в воздухе, перемежаемые тонким, пронзительным звуком летящих «юнкерсов» и тяжким уханьем взрывающихся бомб.

Я вращался в этот город физически, как его частица. А заботы по защите нашего дома от возможных попаданий фугасок и, прежде всего, «зажигалок» (о снарядах сначала никто не думал) только усиливали чувство слитности с Ленинградом.

Но я расскажу о другом, совсем неожиданном открытии. Оно органично связано с моим городом военных лет. Это было открытие Книги. Я вдруг обнаружил в моем городе изобилие книжных киосков и лотков. Оказалось, что в ближайшем киоске, в здании Фрунзенского райсовета, что на набережной Фонтанки, дом № 76 (мы жили в соседнем доме с тем же номером), очень много интересного. Я бывал здесь и раньше, когда меня посылали за газетой, вручая положенную монету. Теперь же я шел САМ, разглядывая книги, брошюры, альбомы, и мог приобрести то, что мне понравилось. Разумеется, речь шла о копеечных брошюрах, небольших дешевых книжках. И все же мелочь, которую давали родители на день-два, позволила мне заложить основу своей будущей библиотеки.

Не менее интересный киоск находился в подвале дома № 78, где размещался Ленинградский филиал Гипромеза, – как раз перед входом в столовую, куда в летние месяцы сорок первого еще можно было заглянуть и кое-что купить.

Книжные киоски на улицах – из них самым ближним был киоск у Пяти углов – тоже оказались полны увлекательной литературы. Наконец, немалое количество столиков с книгами стояло на улицах города – в особенности на Невском. Купив в 1943 году книгу Тихонова «Ленинградский год», я нашел там, в октябрьской записи за 1942 год, такие строки: «В городе в огромном спросе книга. Освещенные керосиновыми лампами прилавки в магазине Госиздата, киоски старой книги на проспекте Володарского, столики с книгами и брошюрами, расставленные по всему проспекту 25-го Октября, – всегда окружены любопытствующими и ищущими. Книжные магазины полны покупателей. Все приезжающие с передовых позиций жадно устремляются за книгой. В одной дивизии больше месяца ходил по рукам том с романом Вальтера Скотта...»

(И тут же мне вспоминается, что отец, уходя в 1943 году в армию, – по инвалидности он числился в запасе, – взял с собою несколько любимых книг и среди них – толстенный роман Сенкевича «Потоп», который был вдрызг зачитан...)

Наверное, не так уж сложно представить себе ощущение подростков, в какой-то мере уже начитанных, когда на уличных лотках они видели стопки книг.

Обилие книг в военном Ленинграде объясняется просто. Ведь до войны город был крупнейшим издательским центром страны. В последние же предвоенные годы здесь особенно много издавалось книг. Например, вышел однотомник Маяковского (в сущности, содержащий почти все его сочинения) немислимым для предвоенных лет тиражом: 300 тысяч экземпляров! (Замечу кстати, что вышедший за месяц с небольшим до начала войны однотомник этот в основном остался в Ленинграде и к 1943 году разошелся!..) Когда началась война и связи с остальной страной крайне усложнились, а потом и вовсе прекратились, огромное количество новонапечатанных книг осело в Ленинграде, став, как выяснилось в месяцы и годы блокады, серьезным духовным подспорьем для жителей, обреченных, как рассчитывали гитлеровцы, на уничтожение, а для многих ленинградцев – просто средством спасения.

Не говорю о более старших поколениях, ибо вспоминаю ощущения свои и своих сверстников.

Если наши мамы и сестры вытирали глаза, слушая выступления Берггольц, то мы, мальчишки-подростки, с неукротимым пылом обсуждали такие брошюры, выпущенные для

всеобуча, как «Танки и борьба с ними», или «Ручные гранаты Красной Армии», или «Силуэты вражеских самолетов».

Девчоночьи же души были открыты восприятию стихов несравненно шире наших, мальчишечьих.

Два дополнительных обстоятельства способствовали повышенному интересу к книге, к чтению. Ведь большинство школ Ленинграда вынуждены были вскоре прекратить занятия. Дети оставались дома. Отцы были, как правило, в армии или на производстве с казарменным положением, а матери – сначала на оборонных работах, а потом также на том или ином предприятии и отсутствовали по нескольку суток. Вот и пришлось нам самим занимать себя, причем по мере наступления холодов и усиления голода ребята все чаще оседали в своих домах.

Страшная блокадная зима поставила простую альтернативу: либо ты сосредоточишься на мыслях о еде, тепле, либо сумеешь отвлечь себя от неразрешимой проблемы еды, найдешь способ переключить себя хотя бы частично на предмет, который тебя не насытит, но, по крайней мере, на какое-то время, избавит от голодных мук и миражей, как-то умиротворит физиологию голодающего организма, поможет сберечь остатки энергии.

Ни один из нас, разумеется, не анализировал своих чувств и настроений; вряд ли и взрослые размышляли об этом. Но получилось, что именно книга стала для многих облегчением, а иногда и спасением.

Дети же – говорю о подростках – погрузились в чтение как в некий спасительный физиологический раствор.

Вспомню несколько эпизодов. Уже не один месяц сижу я в дневное время у окна перед простым письменным столом. Я представляю собой подобие капустного кочана, вместо листьев у которого многочисленные одежки, включая и женский шерстяной платок па голове и плечах, а главное – уютнейший меховой мамин жакет, без которого я не высидел бы свои «дежурства» (так отец назвал мое «сидение»)... Помните у Инбер?

На мне перчатки, валенки, две шубы  
(одна в ногах). На голове – платок.

Я из него устроила щиток.

Укрыла подбородок, нос и губы.

Зарылась в одеяло, как в сугроб,

Тепло, отлично... Только стынет лоб...

А на столе — книги. Они лежат стопками. Слева стопки постепенно уменьшаются, а справа — увеличиваются, потому что направо я откладываю уже прочитанные. Те, что ожидают очереди, лежат верхней обложкой вниз, стопка же начинается с первого тома; те, что прочитаны, том за томом ложатся направо лицом вверх. Почему так?

Почему книги оказались на столе и в стопках? Объяснение довольно простое. Когда все мы поняли, что война втянула нас в свой омут всерьез и надолго, когда мое жизненное пространство свелось к кровати да месту за столом у окна, когда прекратились какие бы то ни было занятия в школе, — вот тогда отец, все чаще видя меня с книгой, сказал:

— Ну, сынок, времени у тебя теперь много. Читай, что у нас есть. Прочтешь — про весь мир будешь знать, какие люди живут на земле и как живут.

Это я и сделал. А потом за одной книжкой перетаскил на стол целую грудку, свою систему отбора и последовательности в чтении придумал.

Когда же вдруг утратился счет дням, ночам, недолям, тревогам; когда, заглянув в окно, я видел только серо-белое ледяное небо, необъятные, пушистые и холодные сугробы и ничего живого; когда передвижение даже по комнате перестало быть естественным и незаметным, как то было у меня и моих приятелей и у тех взрослых, кого я знал, — тогда я только радовался, что мои книжки со мною, рядом, что мне не надо вставать и куда-то тащиться за ними, разгоняя тепло маминого жакета. Книжки день за днем заменяли мне приятелей, игрушки, беготню, школу — все, все...

Узнавание необъятного мира литературы тем временем шло. Появилась даже игра с незнакомыми авторами, которых, прочитав, я переводил в знакомые. Подсказал Достоевский, точнее, художник, который томики собрания сочинений Достоевского в приложении к «Неве» снабдил портретами автора в виде изящных медальонов. Незнакомый мне писатель лежал лицом вниз слева; когда я закрывал последнюю страницу, он ложился справа, лицом вверх, и смотрел на меня уже как мой знакомый. Отсутствие портрета на обложке не нарушало игры: автора могли представить линии орнамента, виньетки, просто красивые литеры его фамилии. И сколько тут было возможностей для догадок! Я придумывал, что значит та или иная линия, завитушка, цветное обрамление, и глубоко и навсегда полюбил искусство хорошего переплета. Тургенева же я воспринял быстро и, как позже выяснилось,

правильно, именно через пленительный зеленый переплет с тонкими золочеными волнующими штрихами. Я и сейчас, когда вспоминаю о Тургеневе или слышу его имя, вижу перед собой эти томики.

...Сегодня все как-то необычно. Исчезло ощущение постоянства застывшего бытия. Изменилась мертвенная белая картина за окном. Появились светлые живые нити в нашей комнате, и она раздвинулась, как ожила, в ней появились многочисленные малюсенькие незнакомцы. Мне стало почему-то тепло, и я скинул платок, и даже вылез из рукавов жакета и накинул на плечи. И Тургенев необычно ярко зазеленел передо мной на столе, а золотники на переплете как весело заискрились! Это солнечные лучи пробили плотную блокаду облаков и заledenевшего воздуха и ворвались в комнату. Это они нарисовали удивительно прямые линии и заставили в них танцевать веселые пылинки. А на пухлую снежную подушку на подоконнике вдруг упала капля, потом другая, потом они начали, торопя друг друга, крошить снег, и его поверхность засверкала мельчайшими лучиками...

— Ну вот, сынок, дожили до солнышка, март подошел...— послышался слабый голос справа. Это отец. Он слег от истощения на рубеже страшного января и ужасного февраля и лежал неделю за неделей, уставившись худым, зеленовато-желтым лицом в потолок, иногда вдруг пристально вглядывался в меня и в то, как я читаю, бережно переворачиваю страницы (папины уроки!), заботливо ровняю книжные стопки.

Он мало разговаривал со мной и говорил медленно, уныло. На мамины усилия ободрить и поднять его отвечал слабым, жалобным голосом, что ему уже «все равно». Иногда он просил у меня книжку, но быстро ронял ее на одеяло. Так мы и жили: отец — на кровати справа, готовый к смерти, я — у стола перед окном, вовсе не представляющий, что это за штука — небытие, и мама — она была незаметной, но была везде: и когда поправляла на мне мои одежки, и когда угощала фантастическим блюдом — оладьями из кофейной гущи («Мама, ну почему мы до войны не ели такие вкусные оладьи?» — приставал я, а мама после этого вопроса обязательно вытирала глаза), и когда стеснительно и, как бы извиняясь, говорила: «Мальчик мой, возьми стул и пойдем на лестницу, в «буржуйку» нечего положить...»

Сейчас отец повернулся к окну и каким-то ожившим взглядом разглядывал то, что было за окном. В этот день он

еще раз заговорил со мной... Вдруг послышался удивленный вопрос:

– Сынок, сколько же ты прочел за это время?

И чуть погодя:

– Ты бы взял тетрадку и записал то, что прочитал, понравилось ли, что думаешь про эту книгу, о ее авторе и героях. Ты уже большой, завтра тебе будет одиннадцать лет.

И я взял обычную школьную тетрадку, поставил цифру «1» и записал крупными детскими буквами и с ученическим нажимом: «Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан» и поставил дату: «2/III–1942 г.». Потом записи стали увеличиваться – появились выходные данные, перечень героев, наконец, анализ (эдак страниц на пять – восемь!), конечно, дата прочтения. Занимался я своими записями до конца школы. Чудом они сохранились, эти десять тетрадей: первые – тонкие ученические, последующие – толстые общие. Скажу честно: без комка в горле, без внутреннего трепета не могу возвращаться к ним. Не в страничках собственного детства дело – уж очень много пережитых больших событий, судеб сверстников, встреч со старшими, многие из которых ушли уже тогда, стоит за прочитанными книжками...



«ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ ...»

В школу Антон<sup>1</sup> пошел в первый послевоенный год – во второй класс. Получилось это так.

После обеда, когда дед отдыхал, Антон забирался к нему на широкий топчан. Над топчаном висела географическая карта. Между делом, незаметно, дед выучил его по этой карте читать не по слогам, а по какой-то особенной его методике, сразу целыми словами.

Как-то зимою дед лежал на своем топчане, укрывшись овчинным тулупом.

Дед лежал, а я сидел рядом, на особенном стульце, и читал ему «Правду». Газету эту дед в руки брать не любил, и когда говорил: «Почитай, о чем из столиц исповещают подданных», я уже знал, что читать надо только заголовки, делая после каждого паузу, во время которой дед говорил: «Все ясно» или «Потери несут, конечно, только немцы», или, чаще всего: «Валяй дальше».

Отец вышел на кухню и, пока искал что-то в шкафчике, эту политпятиминутку услышал.

И давно ты умеешь читать, Антоша?

Этого я не помнил, мне казалось, что я умел читать всегда.

И считать умеешь?

Дед выучил Антона и счету, сложению-вычитанию в пределах сотни; таблицу умножения он показывал, играя «в пальцы», и Антон тоже, между прочим, ее запомнил.

– Тасенька, – позвал отец, – иди сюда, посмотри на результаты по системе Ушинского.

<sup>1</sup> Читателю следует учесть особенности художественного строя текста: повествование ведется попеременно – то от имени героя, мальчика Антона, то от детского коллективного «мы», то от «я», когда речь идет о подлинных обстоятельствах жизни автора.



Но мама не удивилась, она уже знала, что Антон читает «Из пушки на луну» Жюль Верна.

— Что будем делать? — сказал отец. — В первом классе станут только алфавит мусолить два года! Надо отдавать сразу во второй.

— Да он, наверное, писать не умеет, — сказала мама.

— Умею.

— Покажи.

Антон подошел к печке-голландке и, вынув из кармана мел (там держать его бабка не разрешала, но Антон надеялся, что мама этого не знает), написал на ее блестящей черной жести: «наши войска преодолевая».

— А в тетрадке ты можешь?

Антон смутился. Тетрадки у него не было. Писали они с дедом всегда мелом на той же голландке. Мама дала карандаш. Карандашом Антон только рисовал (его надо было экономить) — на старых таблицах по метеорологии, где в конце страницы всегда было много чистого места. Он очень старался, но получилось плохо.

— С чистописанием слабовато, — сказала мама.

Было решено, что Антон идет осенью этого года во второй класс, а дед начинает немедленно, после дня рождения Антона, с 13 февраля заниматься с ним науками не на топчане, а как полагается, за столом, и не когда захочется, а каждый день.

Первого сентября я с огромным и слегка кособоким телячьим ранцем, который шили всей семьей, в трофейных, застегнутых под коленками брючках-гольф, шел в школу. Шел впопрыжку, бормотушкой («Семафор, матадор, а не камень лабрадор») отгоняя страх, потому что чувствовал себя слабым в переводе простых дробей в десятичные, боялся, что это сразу обнаружится — первой в расписании стояла арифметика.

Но на уроке почему-то долго копались в примерах на сложение и вычитание в пределах сотни — над тем, что мы с дедом делали устно. Видимо, дроби должны были переводить на следующем уроке. Но и на другой день занимались тем же. На уроке письма ни о каких частях речи и разборе по членам предложения, чего я тоже побаивался, не было и помина. Дед, не преподавая в начальной советской школе, имел смутное представление о ее программе и по ошибке подготовил Антона до четвертого класса включительно. Во втором классе делать ему было нечего, уроков он не готовил, целыми днями играя

в лапту или штандер – игру, которой научил всех Кемпель. Но за первую четверть все оценки были отличные, только по военному делу была двойка.

Двойка в четверти! Отец пошел в школу. Там он, во-первых, поговорил с Клавдией Петровной, которая ставила пятерки ученику, за два месяца не открывшему учебник и превратившемуся в бездельника. Во-вторых, он поговорил с военруком Корендясовым. Выяснилось, что Антон – не военная косточка, про строй вообще не петрит ровно ничего, а когда военрук все же захотел его поощрить – он оказался первым на марш-броске («он не слабый мальчик»), Антон издевательски крикнул: «Рад стараться!». Но – главное – освоить поворот, особенно «кругом»: пятка-носок. Военрук не поленился показать, как поворачивается Антон. Пяткой-носком там и не пахло.

Вечером пришел Бондаренко – отставной капитан, а ныне боец скотобойни. Взяли его туда за силу и меткость – по удару молотом он шел сразу же за кузнецом Переплеткиным и его братом; капитан всегда подчеркивал, что он, Бондаренко, – боец скота, а не какой-нибудь съемщик (это значило: шкур) или стопорезчик. Но новую свою профессию он все равно не любил и говорил, что занимается ею только по необходимости, так как, кроме стрельбы из всех видов оружия, ничего не умеет; его мечтой был электрический скотоубой, как на знаменитых чикагских бойнях. По слухам, это собирались ввести на Семипалатинском мясокомбинате (том самом, который до войны строил отец Антона и где потом падала в обморок специалистка по реализму Достоевского). Бондаренко пришел в форме, с орденами, в сверкающих хромо-вых сапогах работы сапожника дяди Демы; пробелы военной подготовки Антона за первый класс были ликвидированы в полчаса. Тут же Антон узнал, что если тебя хвалит старший по званию, то надо говорить не «рад стараться», а «служу Советскому Союзу».

Антон привыкал. К тому, что в школьном задачнике и, очевидно, вокруг, нет никаких купцов и фабрикантов, а есть колхозники, юннаты, стахановцы, и надо высчитывать, сколько гектаров, а не десятин они засеяли и сколько тонн, а не пудов отгрузили за смену.

- Дед, а кто такой Стаханов? – спрашивал Антон.
- Да есть один такой шахтер – пьяница и жулик.
- Папа! – укоризненно говорила мама.
- Ну, сама и объясняй, – говорил дед.

Перед Новым годом Клавдия Петровна сказала:

– Дети!

Так называла только она, другие учителя говорили «ребята».

– Дети! Скоро у нас в школе будет елка. Кто знает какие-нибудь стихи и песенки про Новый год?

Мишка, сосед по парте, прочел то, как «на Спасской башне бьют часы двенадцать раз». Стихов этих Антон не знал, они ему понравились, и он сразу их запомнил – он всегда запоминал стихи, которые нравились, с первого раза. И Васька Гагин прочитал хорошее стихотворение:

Белый снег пушистый  
В воздухе кружиста  
И на землю тихо  
Падает-ложиста.

Антон осмелел и тоже поднял руку. Теперь он это делал как следует: сгибал руку в локте, а не просто тянул ее вверх, как в первый день, за что над ним вдоволь посмеялись.

– Что ты хочешь исполнить на елке, Антоша? – спросила Клавдия Петровна.

– Про деда Мороза.

И Антон запел альтом как мог высоко:

Рождество Христово,  
Дедушка Мороз.  
Множество игрушек  
Дедушка принес.

– Садис, – сказала Клавдия Петровна; она говорила «садис», «шыгать», «коришневый», «сделалса», «лёв»; Антону это почему-то очень нравилось. – Дедушка тебя научил? Это хорошая песенка, Антон, но ты ее споешь в другое время.

Другое время наступило нескоро. Антон обучил этой песенке дочь Дашу, однако пела она ее только дома и то стеснялась. Но недавно внучка Антона спела ее на елке; песенка молодой учительницей была одобрена.

Какие-то казусы все время случались на уроках истории СССР в четвертом классе. Рассказывая про жизнь древних славян, Антон бодро затарабанил по Иловайскому: «Славяне были нетребовательны в пище – они довольствовались мясом, хлебом, медом и молоком». Класс, питавшийся преимущественно картошкой, грохнул хохотом. В другой раз Антон, освещая революционную ситуацию в деревне, сказал:

– Деревня выступала за большевиков. Туда приезжали инвалиды-пропагандисты.

– Почему инвалиды? – возмутилась учительница.

Этого Антон не знал. Но дед всегда говорил только так: в Мураванке все было тихо, но приехал инвалид-пропагандист... Или: имение Жулкевских стояло нетронутым, но тут явились два инвалида-агитатора и усадьбу сначала разграбили, а потом вообще сожгли.

И еще долго Антон будет говорить «Александр Второй, Царь-Освободитель», а на уроках географии – «Северо-Американские Соединенные штаты», «Северный Ледовитый и Южный Ледовитый», а на уроках физики – что радио изобрел Маркони, называть перенос единичной чертой и писать иногда по рассеянности в конце слов «еры»<sup>2</sup>, что будет особенно раздражать преподавательницу литературы, считавшую, что Антон делает это из хулиганства.

Школ в Чебачинске было две. Семилетка располагалась над бывшим лабазом купца Сапогова; здание пережило три войны, две революции, обходясь без всякого капитального ремонта, как и все сапоговские постройки. Вторая школа, десятилетка, была построена в тридцатые годы в модном барачном стиле, ударно (из сырого леса и с штукатуркой по невысохшему срубу) и требовала ежегодного ремонта, но выглядела все равно сарайно, а за войну, такового не получая, совсем обветшала. В ней было промозгло, в коридорах пахло угаром, а в классах – плесенью и мышами, которые вылезали через дыры в прогнивших половицах почему-то именно во время уроков. В классе сидели в пальто, в стеганках, по трое на парте – не повернуться, от холода ручка не держалась в пальцах. Чернила были в стеклянных чернильницах-невыливайках. Названью мы удивлялись, неизвестному номинатору хотелось сказать, что он – дурак, потому что они прекрасно выливались, надо было лишь их встряхнуть по особой методике: сначала тихонько, а потом два раза подряд сильно и быстро – выплеск тогда получался хороший, толстый.

Учились в три смены, занятия начинались рано. Те, у кого дома не было часов, сбивались на школьном крыльце для тепла в кучку: внутрь технички запускали только за десять минут до начала, чтоб не наследили; на крыльце без козырька, на морозе или под дождем, стояли по часу; с нетерпением ждали Фомку Линника, которому бабка давала большой

---

<sup>2</sup> Ер – старое название твердого знака в русском алфавите.

ржавый зонт, но он часто задерживался перед окнами райкома, где на ночь не тушили свет и можно было прочитать страничку-другую интересной книжки: день Фомка любил начинать с приятного.

Первый урок начинался еще в темноте, включали тусклую лампочку под потолком; если тока не дали, зажигали керосиновую лампу перед доскою, для чего, кроме дежурного по классу, заранее назначался поддежуривающий – ламповой.

Тетради были не у всех, писали на книгах, особенно котировались за добротность бумаги тома Ленина на казахском языке. Для чистописания сами сшивали тетрадки, в начале урока линовали одну-две страницы; в косую ровно налиновать было трудно, у меня получалось нечто в виде веера. Эти тетрадки из-за большой их ценности учительница домой брать зимой не разрешала – в морозы у многих в комнатах жили телята, ягнята, даже куры; у Федьки Лукашевича тетрадь зажевал теленок, у Ильи Муромца – куры закапали пометом.

Переменок ждали с нетерпением – можно было согреться, если устроить кучу-малу или «жать масло». На большой перемене девочки, взявшись под руки и образовав овал человек из тридцати, медленно двигались по кругу и хором пели, так и называлось: петь кружком. Были они в подшитых валенках, в выглядывавших из-под платьев широких байковых шароварах, в растянутых материнских кофтах, застиранных, заплатанных, худые, прозрачно-бледные, но, спевшись за годы, вели мелодию стройно. Песни пели больше русские народные – про Ваньку-ключника, слюбившегося с молодой княгиней («и за грудь, за грудь тугую было хватано не раз»), про достающую из колодца воду красну девицу: «Достает и озирается, одинешенька, кругом, а водица колыхается, чуть подернутая льдом». Но пели и современные: «Может, в Суздале, может в Рязани не ложились девушки спать, много варежек теплых связали, чтоб на фронт их в подарок посылать». Этих песен я почему-то больше никогда не слышал.

Перед уроками в школьном дворе можно было поиграть в зоску: к куску длинношерстной овчины подвешивалась свинцовая блямба, это сооружение подбивалось ногой вверх и парашютировало, давая возможность подготовиться к следующему удару. Мастер мог сделать это без перерыва пятьдесят или даже сто раз. Зоску привез Генка Куликов, приехавший после ашхабадского землетрясения – был разрушен весь город, погибли тысячи. Старшая пионервожатая сказала:

«Врет ваш Генка. Иначе про это сообщалось бы в нашей печати». Мы больше верили Генке.

В школьном же дворе играли в футбол. Старую покрышку туго набивали тряпками, такой мяч плохо катился, а о подскоке не могло быть и речи, на фильме «Вратарь» мы подталкивали друг друга: как подпрыгнет! Нормальный мяч появился классе в седьмом. Но у тряпичного имелось одно крупное преимущество: его можно было гонять даже в двадцатиградусный мороз.

В классе был интернационал – правда, представителей всех наций, кроме немцев, было по одному: кореец, каракалпак, эстонец, поляк и даже китаец. Евреев не было, хотя ходил слух, что мать Витьки Бурлакова принадлежит к этой народности, о которой у нас представления были самые смутные – знали только, что она обитает в каком-то Биробиджане. Казашка тоже была одна – Джабагина, ей потом по рекомендации райкома дали серебряную медаль.

Немецкий преподавали ссыльные немцы. Побеседовав как-то с одной из таких учительниц на преподаваемом ею языке, Атист Крышевич с изумлением обнаружил, что она говорит на каком-то поволжском диалекте, в котором, в частности, нет артиклей, и что этому наречию она обучает сотню детей уже целый учебный год. Антону повезло – в его классе преподавал Роберт Васильевич, человек образованный.

Однажды Роберт Васильевич вошел в класс с видом таинственно-торжественным; не раскрывая журнала, подошел к первой парте и объявил, что сегодня мы будем хором петь Гимн – по-немецки. Петь будем стоя, потому что при исполнении Государственного Гимна встают во всех странах, тем более в нашей стране – при последних словах Роберт Васильевич оглянулся на дверь.

Хлопая крышками, мы встали.

Гимн мы слышали по радио каждое утро перед занятиями, в девять ноль-ноль – в Москве это было шесть утра. Грязно-серый колокол динамика в школьном коридоре включался на полную мощность. Бегать в это время не позволялось, поэтому мы подпевали репродуктору – несколько другим текстом: «Однажды в студеную зимнюю пору сплотилась навеки великая Русь. Гляжу, подымается медленно в гору великий, могучий Советский Союз». Но это можно было делать только тихонько. Теперь же мы могли петь в полный голос.

На очередном уроке, встав при входе учителя, уже не сели и, когда он удивленно на нас посмотрел, завопили: «Гимн!». Роберт Васильевич затравленно оглядел класс и поднял руки вверх.

У него была неудачная фамилия. На первом занятии он ее уточнил и попросил запомнить: он – Херинг, не Геринг, а – Херинг. Но нас сходство с фамилией фельдмаршала не смущало – мы уже знали одного хорошего Геринга, председателя колхоза в Павлодарской области, гремевшего на весь Казахстан. В этом колхозе построили пекарню, колбасный цех, пивоварню, молодоженам выделяли безвозвратные ссуды, уходящим в армию заводили счет, к которому они возвращались; очередь из желающих переселиться в этот колхоз составила на несколько лет. Антон хорошо помнил споры о колхозе Геринга у печки. Отец: считали сегодня, сколько зерновых с га собрал шеф Люфтваффе? И на сколько он перевыполнил свой план поставок? Значит, нормальное хозяйствование при социалистической системе возможно! Дед: что это за система, когда все держится на таланте и невероятных усилиях одного человека, который уйдет – все рухнет. Так потом и вышло. Местные власти, люто ненавидевшие Якова Геринга, его буквально затравили, он рано умер, колхоз сразу развалился. Судьба однофамильца, чебачинского Херинга, тоже была печальна.

Географию преподавала Марфа Ивановна, добрая, нестрогая женщина, на ее уроках мы играли в морской бой или, делая вид, что изучаем атлас, загадывали города. От нее в памяти остались только имена глав компартий, знанию которых она придавала большое значение; некоторые звучали даже лучше, чем Трюгвели, – например, Вилли Песси, с которым мог сравниться мог только несколько позже появившийся Мосаддык и совсем потом – Мубарак. Впрочем, запомнился еще Америго Веспуччи – его имя Марфа Ивановна выговаривала надув щеки и выпучив глаза, и мы думали, что его только так и следует произносить.

С историей у Антона в младших классах все время случались какие-то неприятности: то восстание декабристов назвал бунтом, то нечаянно выразился так: «Его Императорское величество Государя Николая Второго прозвали после этого Николаем Кровавым».

– Мальчик получил монархическое воспитание, – говорила тетя Лариса, указывая через плечо в сторону дедова топчана, – что с него возьмешь.



Рисованию нас учил человек таинственной национальности – дунган. Кто такие дунгане, или дунганы, не знал никто. Отец, у которого Антон пытался что-нибудь выяснить, сказал: «Садись и записывай: «История мидян темна и непонятна. Точка. Конец истории мидян». – «Папа!» – недоуменно остановился Антон. – Я спрашивал про дунган!» – «Ну, исправь на дунган», – великодушно разрешил отец. Имя-отчество у учителя рисования было какое-то сложное, под стать национальности; Васька Гагин считал, что оно звучит как Автоген Мустангович – так мы его и называли, правда, стараясь произносить невнятно, только Васька, наоборот, выговаривал оба слова особенно отчетливо.

В школьном сарае, где хранились транспаранты, портреты и прочий инвентарь для демонстраций, мыши отъели правое ухо у Ленина и левое – у Сталина. Рассказывали шепотом, что это было чепэ – через два дня не с чем идти на демонстрацию и вообще. Автоген брался выручить – изготовить за это время оба портрета, но с помощью учеников. И научил нас, как можно точно скопировать, причем в каком угодно масштабе, любой рисунок, портрет, разграфив его на клетки. Обмолвился, что сам он так нарисовал не меньше сотни портретов Ленина и с полтысячи – товарища Сталина. Профессиональный живописец сделает копию с чего угодно без всяких клеток, но там, где он писал эти портреты, нужна была полнейшая, до самонаименьших деталей, идентификация с фотографией. И еще что-то добавил, но так тихо, что услышала только расчерчивающая рядом горошковый галстук Ленина (неровные горошины очень напоминали маленькие пельмешки) Вера Выродова: «Они спасли мне жизнь». Автоген учил нас теории и практике перспективы, попутно объяснив, что прямая перспектива – отнюдь не единственный и обязательный способ изображения видимого мира; это, наряду с двенадцатиричной системой исчисления, изложенной математикой Алуизой, перевернуло сознание.

Алуизой для простоты мы называли Ольгу Алоизиевну Белоглазек. Даже мы чувствовали, что она – не то, что другие педагоги, в том числе и ссыльные. Начинала она с Лифшицем и Ландау, высоко ценившими ее математический талант; это она придумала школьные математические олимпиады. Но в 34-м попала в кировскую высылную волну. В Чебачинске все пятнадцать лет жила у одной и той же хозяйки, ходила в одном и том же пальто, утром ела манную кашу на воде, а вечером – кислое молоко с сухарем. Когда в 60-е годы она

умерла, на книжке у нее осталось 75 тысяч, которые она завещала местному детдому. Деньги она охотно одалживала, но если кто не возвращал их в срок, им самим назначенный, больше тому в долг не давала.

В сорок девятом ее арестовали – Антон с Мятот видели, как ее все в том же пальто через огород вели двое. Донос написал другой математик, Ефим Георгиевич, взявший у нее большую сумму на покупку дома и рассчитывавший таким образом избавиться от неприятного долга. Но ему не повезло. В лагере Алуиза, свободно перемножавшая в уме трехзначные цифры, оказалась незаменимой при подсчете кубометров грунта и бухгалтерских расчетах. Начальник лагеря, узнав в отделе перлюстрации, что она уже дважды в письмах напоминала коллеге о долге, прося отдать эти деньги своей бывшей хозяйке, сказал заключенной, что поможет. Математика прямо с урока вызвали в НКВД, где майор Береза его предупредил, что если долг не будет возвращен в 48 часов, он проследует туда же, где находится его заимодавца. Ефим Георгиевич двое суток мотался по городу, занимая у встречного и поперечного. Все это Ольга Алоизиевна рассказала Антону, когда через пять лет освободилась. Тогда же от нее Антон впервые услышал о теории связи важнейших исторических событий с периодами солнечной активности – с автором этой теории, профессором Чижевским, она подружилась в карагандинском лагере «Спасское». Уже после ее смерти Антон узнал, что в год окончания войны она, дописав диссертацию, послала ее на свою бывшую кафедру в Ленинградский университет. Работа вернулась с фиолетовым штампом в титуле: «Возврат без рассмотрения».

В пионеры принимали в первом классе, в торжественной обстановке, но так как Антон пришел сразу во второй, ему просто объявили, что он теперь пионер, и сразу назначили звеньевым. На рукаве курточки следовало сделать нашивку. Дома чисто красной материи не нашлось, раскроили старый платок в черную полоску. Тетя Тамара в советской символике не разбиралась, нашивка получилась шириной в два пальца и охватывала рукав полукругом, сильно напоминая траурную повязку.

– Издеваешься? – предсовета дружины китаянка Соня сузила свои и без того узкие глаза. – Ты где живешь? Нашивок не видел? Спороть! И не дома, а немедленно! Придешь показаться.

Антон пошел в сортир, зубами и ногтями отодрал нашивку, бросил ее в очко, посмотрел, как она там плавает, и пошел показываться.

«Пионерская правда» обсуждала, должен ли пионер доносить на товарищей. У нас этот вопрос решался просто: доносчика били, жестоко, втемную, набрасывая на голову пальто, чтоб не видел, на кого доносить.

Пионерских сборов, которые, судя по «Пионерской правде», во всех школах страны проходили беспрерывно, в чебачинской школе устроить не удавалось: после уроков одного ждал огород, другого – хлев, третьего, опоздай он, не сажали за стол. Когда новая старшая пионервожатая попробовала затащить Гуркиных детей после уроков на какой-то сбор, Маня заявила, что ей надо пригнать с речки утей, и вчера одну уже съела лиса; ее брат Ерема тоже отказался, потому что должен вывозить из заполнившейся сортирной ямы экскременты. Он употребил другое слово, которое в сфере натурального хозяйства не имело обесцененной коннотации и воспринималось как обычный синоним к словам навоз, помет: коровье, птичье, овечье, лошажье... На уроке химии, рассказывая об азотных удобрениях, Илья Муромец сказал: лучшее из них – скапливающееся на островах от птичьих базаров птичье говно. «Гуано», – мягко поправила учительница. «А я что? – возразил гулким басом Илья. – Я и говорю: говно».

Сборы, слеты – все это происходило где-то далеко, там, где пионеры ходили на торжественные линейки в Колонный зал и встречались с внуком Маркса Эдгаром Лонге. С удивлением мы разглядывали снимки в той же «Пионерской правде», из которых явствовало, что московские школьники всегда были при своих красных галстуках – и на уроках, и на экскурсиях, и когда мастерили авиамодели. В газете серьезно обсуждался вопрос, допустимо ли галстук носить с цветной рубашкой; после печатания материалов обсуждений и писем пионеров тридцатых годов общее мнение склонялось к тому, что предпочтительнее все же с белой, которую нужно менять через день – над этим помирал со смеху сын Усти Шурка, у коего была только одна неопределенного экономического цвета рубашка, которую мать стирала по утрам в воскресенье, а Шурка сидел и ждал, когда она высохнет.

В нашей школе всякий надевший галстук должен был быть всегда готов за него ответить. Увидев галстучника, кто-нибудь (чаще всего Борька Корма) хватал его за галстук под самое

горло так, что перехватывало дыхание, и говорил грозно: «Ответь за галстук!». И галстучник сипло выдавливал: «не трожь рабоче-крестьянскую кровь — она и так пролита в октябрьские дни». В галстук я помню только одного из всех товарищей — Юрку Бутакова. Было удивительно: этот коновод, зачинщик всех наших шалостей, почти хулиган, всегда носил пионерский галстук. В нем он и лежал в гробу — в одиннадцать лет. Его отец взял Юрку на охоту, собаке в прошлый раз по пьянке вlepили в глаза утиной дробью, и он плавал за подстреленными утками, а шел уже сентябрь, Юрка простудился и заболел воспалением легких.

На районные олимпиады галстуки собирали со всей школы, чтобы повязать их хотя бы тем, кто участвовал в монтаже, то есть стоял в выстроенных на сцене шеренгах, из которых выходили по одному и читали по четверостишию: «От пен океанского вала до старых утесов Кремля такой молодежи не знала выдавшая виды земля».

Наигравшись и уставши, вечерами рассаживались на бревнах. Толстый кругляк предназначался для нового дома, но строительство все откладывалось из-за отсутствия присутствия, бревна за три-четыре лета высохли до звонкости, за день они под солнцем нагревались, сидеть на них было приятно.

Рассказывали разные истории, больше страшные.

Поздним вечером в один дом — там, у озера, постучали: «Хозяйка, вынеси напиток». Голос был мужской, и воду понес хозяин. В сени вошли четверо (почему он вообще ночью такой ораве открыл — подобные вопросы жанром не предусматривались). Первый отпил и отдал ковш второму. Тот, напившись, передал третьему. Третий — четвертому. Последний воду допил и протянул ковш хозяину, а когда тот подошел, ударил его ковшом по голове. Хозяин упал, обливаясь кровью (это было понятно, потому как дома у всех слушателей висели ковши — чугунные или кованого железа). Хозяйка подставила под голову мужа его шапку, туда сразу до половины натекло крови (это тоже было представимо, потому что подкладки в ушанках всегда делали почему-то ярко-красные). А разбойники пошли дальше. Когда Валька Шелепов, не выдержав, все же спросил (хотя мордой лица и выражал, что понимает всю некорректность вопроса), зачем они это сделали, рассказчик, Борька Корма, выражением своей морды эту некорректность подтверждая, сказал: «Разбойники жа!»

Впрочем, на бревнах необычные истории можно было услышать и от взрослых, приходивших покурить, когда работать на огородах было уже темно.

Подходил егерь Оглотков, бывший минер, танкист Крысчат, сапер-шофер, или шофер-сапер («и так и так верно!») Кувычко. Антон знал: опять начнется спор, солдату какого рода войск опаснее всего. Когда зацвели огурцы, сошлись на том, что связисту, таскавшему катушку. Поражались, что Антонов дядя остался жив и даже не был ранен. «Небось в штабах ручку крутил». Антон в тот же вечер передал это дяде Лене. «Их бы. В мои штабы». Антон воспользовался случаем и спросил, знает ли дядя про героя-связиста Титаева, о котором есть в очень интересной книге о комсомольцах – «Идущие впереди», автор Гуторович. Дядя не знал, и Антон прочел ему наизусть: «Порвалась связь. Линейный надсмотрщик Титаев был послан исправить повреждение. Ночь. Мороз. Вьюга. (Это место особенно нравилось.) Нужно проползти в глубоком снегу вдоль окопов жестокого врага. Когда комсомолец нашел обрыв, его трижды ранило. Умирая, он последним усилием схватил оба конца оборванного провода и зажал их в зубах. Связь возобновилась». Дядя Леня покачал головой: «Вряд ли. Контакты. Сместятся». Антон очень огорчился.

Приходил на бревна и Петя-партизан. Его все уважали: из брянских лесов он привез ящик гранат (ими глушил на озере рыбу) и – шел слух – много еще чего; Генка клялся, что партизанский сын Мишка показывал ему трофейный «Вальтер». Нас, говорил Петя, в деревнях недолюбливали. После немцев кое-какие продукты еще оставались, партизанам же надо было отдавать все, подчистую – свои, защитники, да и не спрячешь... У нас один был, большой спец. Я, говорит, продотрядовец, еще во время продразверстки изымал, знаю, куда ховают...выбьют партизаны немцев из деревни – сгорит половина домов, немцы вернутся – сожгут другую. А там бабы, дети, с собой в лес их наши не брали. Почему? Чтоб не обременяться, не терять мобильность.

О войне я читал все. Во время войны – газету «Правда» (вслух деду) и журнал «Крокодил», позже – все попавшие в Чебачинск книги, художественные и нет. Одно из первых воспоминаний – карикатура в «Крокодиле» после сталинградского разгрома. На фоне карты с кольцом окружения пригорюнившийся Гитлер в платочке поет: «Потеряла я колечко, а в колечке 22 дивизии». Фюрера было даже

немножко жалко, хоть он был и гад. А в конце войны инвалид, собиравший в шапку медяки на базаре, пел еще более жалостную песню: «Печальный Гитлер в телефоне тихонько плачет и поет: «Я вам расскажу про фронт по блату. Русские на Запад к нам идут. Чувствую я близкую расплату – скоро шкуру с нас они сдерут». Очень нравилось кино: девушка-свинарка разоблачает шпиона и одновременно лечит большую симпатичную свиноматку.

Уже в школе отец подсовывал статьи о пионерах-героях, но их читать Антон не любил: сомневался, что никого не выдаст, если ему, как пионеру Смирнову, станут отпиливать ножовкой правую руку, и очень от этого мучался.

...Американский психоаналитик, пытаясь выяснить детские комплексы Антона, страшно удивился, узнав, что больше всего ребенок страдал от подобной мысли. И сказал, что теперь понимает разницу между своим и русским народом – по крайней мере, в середине двадцатого века.

На всякий случай Антон учился писать и строгать левой. Начал было и ходить босиком по снегу, чтобы натренироваться, если его будут гонять, как Зою Космодемьянскую, но бабка, увидев за сараем следы босых ног, пришла в ужас, как Робинзон, и, хотя Антон пытался отрицать принадлежность следов ему, нажаловалась родителям. А тут еще отец принес очерк о пионере-герое, который, чтоб не упустить на снежном поле немецкого генерала, разулся и генерала догнал. Мама попросила приносить очерки о взрослых героях.

Как-то, в годовщину Победы, вечером, как следует выпив, все вышли посидеть-прохладиться. Оглотков рассказал, что Матросов вовсе не первым закрыл амбразуру: в ихнем полку сержант Семенко сделал это на два месяца раньше; Крысчат слышал, что амбразурщиков вообще было больше сотни. Гурий, воевавший в дивизии Панфилова, точно знал, что из двадцати восьми героев несколько осталось в живых. Домой Антон бежал бегом – не потому, что опаздывал к ужину.

На столе стояли рюмки и кособокая бутыль, заткнутая кочерыжкой; сидели гости: Гройдо, шахматист-огородник Егорычев, это было хорошо – Антону не терпелось поделиться потрясающими сведениями со всеми.

– Когда мне начинает казаться, – выслушав, дед повернулся к Егорычеву, – что эта власть уже ничем не сможет нас удивить, она всякий раз подбрасывает такое, что в нормальную голову не придет никогда. Какой будет вред, если

опубликовать то, о чем рассказали эти солдаты? Народ бы только порадовался, что погибли не все двадцать восемь. Чему вы улыбаетесь?

– Вашей неистребимой испорченности, Леонид Львович. Народу, с точки зрения власти, нужна не истина – нужен миф. А какой миф построишь на живых – хоть в «Варяга», хоть с разъезда... с того, где эти панфиловцы.

На минутку заглянул еще один гость, майор в отставке, на фронте – сотрудник политотдела дивизии и переводчик, комиссованный по ранению еще в сорок третьем году. Он что-то писал о войне, но его не печатали; только раз в областной газете появился его материал о боях на Волоколамском шоссе, после чего республиканская газета опубликовала письмо какого-то подполковника, который, ссылаясь на Александра Бека и Баурджана Момыш Улы, именовал автора фальсификатором в майорских погонях.

Антон майора знал по бревнам. Василий Илларионович как-то травил там одну из своих невероятных историй. Когда археолог, нашедший гробницу Тутанхамона, преодолев все решетки, колодцы, ловушки, дошел до последней двери, то для определения материала в нее постучал. И вдруг слышит – на чистом древнеегипетском языке чей-то голос говорит: «Войдите».

Рассказ имел неожиданный результат. Майор про Египет судить не брался, а вот у нас на западной границе была действительно похожая история. Уже после войны один подполковник сообщил, что под Брестом при отходе наших войск он, тогда лейтенант, получил приказ взорвать в лесу вход в большой подземный цейхгауз с военным имуществом и продовольствием. Взяли взвод солдат, раскопали. Но когда начали газосваркой резать в бетонной стене последнюю железную дверь, раздалось кляцанье затвора и хриплый, но твердый голос громко произнес: «Стой! Кто идет?» Пять лет назад, когда взрывали, забыли про часового. Банки консервов в складе считались тысячами, как и свечи в ящиках, вода просачивалась из стены, вместо бани он раз в неделю менял белье из сотен тюков солдатского обмундирования. Всякий раз, когда Антон вспоминал это «Стой! Кто идет?» мурашки бежали по спине: солдат считал себя на посту. Через много лет в каком-то журнале Антон прочел очерк об этом – детали отличались, но в главном майор ничего не присочинил.

За одно сведение Антон обиделся. Он обожал Покрышкина и Кожедуба, складывал вместе число сбитых ими самолете-

тов. Оказалось, что какой-то немецкий ас один сбил больше, чем оба трижды героя вместе!

Студентом Антон уже сам задавал майору вопросы. Почему продолжают подымать на щит Зою Космодемьянскую, которая пыталась поджечь какую-то конюшню? А о партизанах Игнатовых, изобретших не обнаруживаемые миноискателем деревянно-корпусные мины и подорвавших десятки поездов, не пишет никто? Конечно, Зоя погибла мученической смертью, но ведь и Игнатовы погибли.

Бывали на бревнах и одноразовые гости – заглянул ленинградец Гольдберг. Ему после блокады дали срок, но из лагеря «Спасское» под Карагандой вскоре комиссовали, и он лечился в чебачинском тубсанатории. Срок он получил за язык: сказал, что в Смольном в блокаду ели ветчину и икру. Ему не поверили.

Когда я потом вспоминал рассказ того ленинградца, он тоже не вызывал у меня особого доверия. Но в институте истории меня по распоряжению дирекции подключили к коллективному труду в честь одного из юбилеев великой победы, хотя я был специалистом по XIX веку: книга шла за границу и требовалась в кратчайшие сроки. Я попросился в ленинградскую группу – прошел слух, что допустят к закрытым архивам. Допустили; мы читали документы с грифами «секретно» и «совершенно секретно»: отчеты о работе всех двадцати двух ленинградских кладбищ с цифрами – приблизительными – ежедневных захоронений, протоколы отделений милиции о случаях каннибализма. И – накладные на продукты, доставляемые в Смольный: шпроты, крабы, икра зернистая, икра лососевая, осетрина горячего копчения. Ни один из этих документов даже в пересказе включить в книгу не удалось. Впрочем, на Западе, видимо, кое-что знали. В музее обороны Ленинграда в спецфонде мы нашли вырезку из неуказанной газеты, где один американский писатель, единственный из западных литераторов побывавший в осажденном городе, рассказал о своих впечатлениях от обеда у первого секретаря ленинградского обкома. «Я не увидел отличий от обеда, которым меня угощали здесь два года тому назад. Та же икра в тарелках, та же желто-розовая лососина, отличная водка. Изменился только сам господин Жданов: он еще больше пополнил, хотя, как я узнал, каждый день играл в бункере в теннис».

Рассказывали, что у убитого на сетчатке отпечатывается, как на фото пленке, портрет убийцы, почему многие убийцы



выкалывают своим жертвам глаза. Научным фактом про сетчатку очень заинтересовался разведчик Бибилов, который потом подался в бандиты, а тогда еще, наоборот, сидел со всеми по вечерам на бревнах...

Уличной жизни мешала не школа. Школа была одно, улица – другое, миры эти не соприкасались, имели разную мифологию, разный язык; слова «советский», «пионер», «комсомолец» на улице не произносились.

Улица не только бегала, играла, хулиганила, она – читала. Здесь тоже была оппозиция школе. Читали не так и не то, что проходили и что рекомендовали в ежегодно спускаемых откуда-то списках. Из рук в руки передавали распадающиеся книги, часто по старой орфографии, без начала и конца и почти всегда без титула. В основном это были исторические романы – как потом установил Антон, Мордовцева, Данилевского, Дмитриева, среди девочек ходила Чарская, которую мы презирали, позже, когда их начали издавать, появились Стивенсон и Дюма.

Главным читателем улицы был Фомка Линник. Читал он целыми днями, по ночам при лунном свете, когда мать отбирала керосиновую лампу, по дороге в школу, прислоняясь к телеграфным столбам (один раз зачитался у столба перед школой, и мы весь урок видели его из окна). Но – странное дело – в голове его не задерживалось ничего, учился он неважно и особенно плохо почему-то по литературе и истории.

Вспоминая, Антон удивлялся, как мало влияла на них идеологически собственно школа. Влияние было скорее общегосударственное. Мы верили, что страна кишит шпионами. Читали, передавая друг другу толстую красную книгу с рассказами, как пионеры помогают пограничникам. В журналах «Пионер» и «Дружные ребята» тоже печатались такие истории, в прозе и стихах. Герой одной из них, Вася Иванчиков, гуляя с другом возле колхозного поля, увидел, как среди моря золотых колосьев вдруг что-то «зачернело, словно лодка на волне». Лодка оказалась плечами и кепкой незнакомого мужчины, который вежливо поздоровался с пионерами: «Здравствуйте, русские ребята», – и пошел своей дорогой. Ваня послал друга на погранзаставу, а сам залез на высокую сосну – наблюдать. «Как узнать врага ты мог?» – спросил старший сержант после поимки диверсанта. Находчивый Вася секрета не скрыл: «Русский русскому не скажет: – Здравствуй, русский, здравствуй, брат».

Мы страстно мечтали обнаружить хотя бы одного шпиона. Петька считал, что на худой конец подошел бы какой-нибудь диверсантский пес: «Зашита в ошейнике пачка бумаг: собаку послал с донесением враг». Но ближайшая граница находилась в трех тысячах километров, к тому же Антон полагал, что пес из стихотворения – редкое исключенье в благородной собачьей генерации.

Петька не боялся ни учителей, ни директора, ни даже секретаря райкома, которому на встрече с молодежью сказал в лицо, что на хоздвор райкома завозят лучший карагандинский антрацит, а в школу – угольную пыль. Такой смелости Антон завидовал.

Когда умер Сталин, Антон, придя домой, стал рассказывать, как плакали школьники и учителя.

– А я буду плакать позже, когда все перестанут, – сказал дед.

Про Сталина от него кроме слова «бандит» Антон не слышал ничего другого и деду верил. Но когда по радио пели «Чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет», Антону тоже хотелось идти в колонне мимо мавзолея.

Когда возвращались с траурного митинга и молчать было вроде неудобно, Антон сказал мрачно:

– Умер последний классик марксизма-ленинизма.

– При чем тут марксизм-ленинизм! – возразил Петька. – Человек какой!

Из репродуктора на столбе нам сказали: по всей стране на пять минут будут остановлены поезда и пароходы (дед вчера интересовался – а самолеты?), фабрики и заводы и включены заводские и прочие гудки. И действительно, заглушая радио, заревел гудок промкомбината – единственного промышленного предприятия Чебачинска. Мы остановились, послушали. Занятия были отменены, и мы пошли к Петьке и под траурную музыку из черной тарелки репродуктора до вечера играли в дурака.

## ВСЕ КОНЦЫ И НАЧАЛА

*М*оя молодость пришлась на удивительный период истории, когда еще ездили последние фаэтоны и валялись конские лепешки, но уже вовсю ездили машины...

Со мной в классе учился Бигашвили. Отец у него погиб на фронте, мать работала долгими сменами на шелкопрядной фабрике, он был оставлен без присмотра, худой, злой на всех. Недавно я видел его: маленький-маленький, а тогда он казался большим и был из тех, кто бил меня ни за что. Ну, я не жалуясь. Так вот, в седьмом классе Бигашвили ушел из школы и стал помощником киномеханика. Кинотеатра у нас было два: «Ударник» и «Коммуна», один – с одной стороны квартала, другой – с другой. Да какой там квартал, это было совсем маленькое пространство! Бигашвили ушел из школы, а в это время для недоучившихся подростков было два пути. Почему я начал с фаэтонов и машин? Потому что в мое время по городу ходили грузовики. Они были беспомощные, дрожали по линии направления, и бока у них тоже дрожали... И все это называлось ГАЗ-51. Динамо у всех грузовиков всегда было испорчено, и их заводили ручкой.

И так родилась нужная, заменяющая динамо профессия – помощник шофера. Обычно эти помощники стояли в кузове:

зимой, летом, в дождь, в град грузовик носил их по дорогам и бездорожью, в кузове, по дну которого гроыхало ведро. Эти люди были предметом нашей зависти: свободные. Первый год они немножко болели, но потом закалялись и носились в кузове с хроническим конъюнктивитом, вечным насморком, с глазами, залепленными комарами, семенами глициний, нежным пухом из-под крыльев куропаток, ночными бабочками, затвердевшими от птичьего помета... И как только они могли видеть! И все впе-



ред и вперед, в вечном ветре, держась за борт не по возрасту большими фиолетовыми руками, огрубевшими, как пятки верблюда. Шея завязана красным бинтом двухлетней давности: давно ему завязали, болезнь прошла, вторая, третья, а он еще тот бинт не снимал...

Бигашвили повезло. Он пошел не в помощники шофера, он пошел в мечту, стал помощником киномеханика. К старому зданию была приделана снаружи крутая узкая железная лестница, оттуда мерцала «машина снов», шел «Тарзан»...

С «Тарзаном» связаны в моей молодости все концы и начала. Однажды заболела учительница физики Сусанна Капитоновна, и к нам пришла практикантка. Конечно, весь класс сбежал. А я остался, я не мог оторвать от нее глаз. Практикантку звали Тамуния, она жила на горе в розовом домике под платанами (впереди – три куста сирени, которые вдруг взрывались в одну ночь, и весной мне казалось, что я слышу их запах). Тамуния в белом креп-жоржете с голубыми полосками оглядела класс, расстроилась ужасно, хотела уйти, но тут со мной что-то случилось. Я побежал к доске. В коротких штанишках, вес – 32 килограмма, большая голова на прутьях. Схватил мел и громко-громко, так, что меня пугал мой собственный голос, начал говорить и рисовать на доске. Я говорил, что если земля – шар (А), а Луна, ее спутник (Б), движется вокруг нас (Земли + Тамуния + Резо) по эллипсу вследствие сил притяжения (Эпсилон), то каким-то образом получается так, что она в точке (С) находится на расстоянии таком-то, а в точке (У) вдруг начинает удаляться, – непонятно, почему, так как совершенно очевидно, что она должна кружиться вокруг КРУГЛОЙ Земли именно по кругу, следовательно, все время притягиваемая силой Эпсилон... И, уже совершенно не слыша себя, не сводя с практикантки глаз, как в бреду (меня мелко-мелко колотило), я заключил, что можно быть отныне навсегда уверенным, что ее, Луну, притягивает с той стороны, которую мы не видим, какая-то еще планета, симметричная нашей. Я замолк.

Практикантка стояла, как Пизанская башня, и смотрела на меня. Вдруг на ее подбородке образовалась крошечная ямочка, от нее пошли волны морщинок, из прекрасных глаз брызнули слезы, она выхватила из кармана платочек и плача выбежала из класса. У моих ног из ее платочка вылетела пленка. Я поднял ее и посмотрел на свет. Это была Джанет Мак-Доналд – в таком же платье: рукава колокольчиком, плечики, оборочки... Я вытащил из кармана коробочку, где

лежал кадр с Тарзаном, и они еще долго жили там вместе, состарились и умерли в один день, вспыхнув вместе, как в любви.

Можно, конечно, в моей теории симметричной планеты найти изъяны, но история та имеет совершенно другую ценность. Она произошла еще при жизни Фрейда, так что не верить ей нет никаких оснований...

«Тарзан» был в нашей жизни все, без «Тарзана» и перестройка не получилась бы. Все развитие шестидесятников, я уверен, началось с «Тарзана»: тяга к свободе, к лианам...

И вот у Бигашвили начался бизнес. Каждому хотелось иметь кадр из «Тарзана», чтобы утром, когда проснешься, вынуть из коробочки и посмотреть на него. Или идешь по улице грустный, вспомнишь, что нужна радость, достанешь из портфеля спичечный коробок – опять посмотришь...

Мы шли к Бигашвили – и он отрезал нам от пленки кадр. Девушки покупали Джанет Мак-Доналд или Марику Рокк из другого фильма, а мы – Тарзана. У Бигашвили были ножницы, он спрашивал: «Что хочешь?» – и вел себя как взрослый человек. В это время у кинемеханика была важная миссия. Один и тот же фильм шел одновременно в разных кинотеатрах, и он должен был, допустим, пятую часть перенести в другой кинотеатр. Успеть перебежать в дождь с железной коробкой, а оттуда, навстречу ему, уже бежал другой кинемеханик с шестой частью...

И вот пока они бежали друг другу навстречу, Бигашвили с ножницами умудрялся вырезать кадр.

Бабушка давала мне два рубля, то есть двадцать копеек. Можно было либо купить семечки, либо хлеб, либо кадр...

В последний раз, в зале кинотеатра, в публике, я смотрел такой фильм. Титры. В титрах: «Этот фильм взят в качестве трофея советскими войсками при победе над фашистскими войсками. Он рассказывает об одиночестве человека, которое символизирует жизнь в нью-йоркских джунглях. Этот фильм художественной ценности не имеет. Фильм дублирован на киностудии им. Горького, 1949 год, Москва». Потом надпись – «Тарзан», потом кадр, где на лиане с криком висит Тарзан, еще раз крик и – «Конец»...

Люся Терк, мой друг, учился со мной в одном классе, был самым слабым мальчиком. Он был из хорошей семьи, как говорят. Мама приносила горшочек, чтобы Люся не ходил в общий туалет, не заразился. В общем, Люсенька так рос.

Но дело не в Люсе, а в его отце. Его отец был единственным в Кутаиси человеком, который знал, как развинтить штепсель, как соединить две проволоки – медную и, скажем, алюминиевую – и вообще все знал. В нашем городе половина сидела, половина должна была сесть, все сплошь – враги народа, я помню черные полоски в телефонной книге: фамилия врага народа исчезала вместе с номером. Были страницы почти сплошь черные. Типографским способом. Так вот, в этом городке врагов народа и абсолютно деклассированных людей остались еще несколько профессионалов, которые что-то умели. Например, чувячник, парикмахер, канализационщик... И вот таким человеком был Терк: он чинил утюги, мясорубки, которые у нас почему-то называли «котлетная машина», машинку «Зингер»...

Высокий мужчина с тонким лицом и трагичным выражением, которое потом передалось его сыну, Терк... был из страны, которая гораздо южнее Грузии. В его мастерской была темнота, освещена только та часть, что ближе к окну. И там он, вечно склоненный, чинил все. Страшно интересный интерьер: представьте себе полсотню велосипедов, которые висят над его головой.

Их привозили, а ремонтировать он не мог, потому что не хватало запчастей, и так они висели годами. Это было очень красиво.

Так вот, в городе появилась шариковая ручка.

Было непонятно, на чем она работает, что из нее течет. И настал момент, когда содержимое ручек кончилось.

И сейчас обидно их выбрасывать, а тогда!

Все побежали к Терку.

Задачу с зарядкой шариковых ручек мог решить только Терк. У него и так было много работы, а на его плечи теперь ложился такой сложный механизм, как шариковая ручка: шарик внутри, коэффициент пасты... Ничего такого Терк, конечно, не знал, но на него наседали город. У него – утюги, часы, машины «Зингер», будь они прокляты, из-за них пересидел город, начиная с тридцать второго года. Как насаждать владельцев «Зингеров» по доносам соседей, обвиняя их в правом уклонизме и махианстве, антидюрингизме и левом гегельянстве, – так я до сих не могу смотреть на этих «Зингеров».

Он отказывался, уклонялся, но настал день, когда паста кончилась в шариковой ручке начальника милиции товарища Вальтера Какауридзе. Это совпало с кончиной ручки первого

секретаря, кажется Эмена Тагидзе, кончилась паста и у прокурора, и ...у судьи – товарища Иобидзе! Полный советский набор. И где-то в верхах было сказано, что Терк должен заняться этим. Тогда Терк взял такой автомобильный насос с тавотом (это у машин – у «Победы», у «Волги» надо смазывать, чтобы в машине что-то скользило). Терк выгнал из насоса тавот чайником кипяченой воды, сузил воронку и потребовал из типографии фиолетовой пасты.

Это густая масса, одной капли которой достаточно, чтобы измазать всю квартиру. Вот что такое типографская краска. А ее принесли ведро. И тут Терк окончательно потерял свои благородный библейский вид, потому что отмыться от этой краски невозможно. Что он попал в беду, я понял, когда увидел фиолетового Люсю на фиолетовом горшке в школьном туалете. И маму тоже. Насос Терка протекал со всех сторон... Я видел, как его арестовали. Фиолетовой стала не только его мастерская, но и вся сторона тротуара – его сторона. Сочетание ядовито зеленого мата и фиолетовой мостовой до сих пор преследует меня в моей живописи и очень мешает работать... А кабинет товарища Какауридзе был на солнечной стороне, и солнце падало на его стол, и разгоряченная ручка стала истекать фиолетовым медом спереди и сзади. Краска растекалась по столу, Какауридзе тоже стал фиолетовым – и вопрос Терка был решен. И все фиолетовые персонажи Шагала, которые летают, – все это оказалось сущим реализмом, потому что Терка вели два фиолетовых милиционера, а поскольку он был легкий-легкий, прекрасный человек, то они даже не вели его, а он летел – тоже фиолетовый, как шагаловские герои. Я видел, как на фоне магнолий, мимоз, черепичных крыш, на фоне заходящего солнца (а в сентябре в этот момент небо часто не голубое, а зеленое) плыл фиолетовый Терк и с ним два фиолетово-зеленых милиционера.

Я не могу это забыть, и когда смотрю на Шагала, а я видел его и в Нью-Йорке, и в Париже, и здесь, – и там, и там, и там я всегда вспоминаю покойного Терка, царство ему небесное!

К сожалению, русский зритель не знает, что Кутаиси – это самый театральный город Грузии. Был. Сейчас, конечно, все умерло, умерло, ничего не осталось...

И был там маленький – маленький дворик, в котором жили только актеры. Наша семья не была актерской, но мы тоже жили в этом дворике. И еще доктор Лордкипанидзе и Георгий Геловани не были актерами. А остальные – актеры.

В Кутаиси был театр – один из старейших в Грузии, и в этом старейшем театре играли всю классику: Шиллера, Шекспира, Илью Чавчавадзе, Акакия Церетели. Может быть, это интересно: переводы Шекспира, сделанные Мачабели в XIX веке, просто совершенны. Я должен сказать это с гордостью.

Ну, вот. В этом артистическом дворике и проходило мое детство. И если мама была больна, то весь двор разделял заботу обо мне. Куда меня деть вечером? Вот актеры и брали меня в театр. Но потом перестали, потому что со мной вдруг начались истерики. Я смеялся каким-то очень заразительным смехом.

Меня сажали обычно в администраторскую ложу, и вдруг примерно с восьми лет я начал смеяться и даже сорвал пару спектаклей. Представляете, «Разбойники», Шиллер – а я смеюсь. Я уже не помню, в каких именно местах, и говорю то, что мне говорили они, актеры. А они говорят, что у меня был тонкий голос, очень заразительный смех, и в самых трагических местах, где, условно говоря, висит покойник на веревке, у меня начинался приступ смеха...

И каждый год были гастроли. Театр Руставели у нас не любили. Я думаю, в этом была какая-то справедливость, уж очень он был государственным театром. Мощные (как будто не из папье-маше) дорические колонны, это громохание, завывания, заламывание рук у себя и выламывание их у партнера, многозначительность и страшная болезнь такого театра – ставить ударения не там, где надо, а куда-то смещать их. Получалось, что это какой-то заграничный театр, который почему-то застрял у нас. Потом смотришь – вроде наши и некоторые даже оказывались родственниками. А выходили на сцену и становились негрузинами.

Я буду избегать фамилий. Но вот Яго, один из знаменитых Яго Грузии – почему его так любили? Он говорил: «Сведу с ума!» – а в умах тогдашних правителей жило то же желание, и он точно улавливал эту их душевную интонацию: «Сведу с ума!» Я думаю, что они вообще больше уважали Яго, чем, говоря их уголовным языком, фраера Отелло, которого так легко провести. Любой тогдашний инструктор перепроверил бы этот платок сто раз и не поддался бы на голый факт, а Отелло... Потому Яго, конечно, был им ближе...

А народ пугался. Он, Яго, слился для нас с эпохой, с начальством, с советской властью, он слился с Москвой, с Кремлем. Слился в темных, сырых, наполненных пауками и



водой подвалах нашего сознания (простите за нагромождение несвежих образов).

А сейчас я расскажу о самом своем любимом театре, который появлялся у нас еще весной. И все ждали, что он придет. Великий Тифлисский театр музкомедии!

...Из всех утерянных культур мне больше всего жаль культуру духовых оркестров. Где нет духовых оркестров – это страшное падение всего. Духовой оркестр – очень серьезное дело. Итак, вот наш бедный старый вокзал. Типичный вокзал, как по всей территории России, Грузии, может быть, Средней Азии, – с зубчатыми краешками. Вокзал был красивое место, видное, и мой дедушка у своего дома тоже сделал такие зубчики. Но он успел сделать только один ряд, а потом и денег не хватило, и он скончался. А эти зубчики по краям я увидел потом во Франции. Они называются ключами, держат дом.

Вот такой вокзал с зубчиками. И приезжает музкомедия. Город выставляет оркестр для встречи, местная промышленность – материю для приветственных лозунгов. Лестница – 20 ступеней, а под ней – весь город: девушки из 1-й женской школы, мальчики из 1-й мужской. Двое из Суворовского стоят, как ошалелые. Кто там еще? Представители города, нашего театра, знакомые, незнакомые, все приподнятые, их не узнать: сейчас появится великий Эссебуа.

Эссебуа! Есть такие романтические фамилии моего детства: великий вратарь московского «Спартака» Вольтер Саная!..

В его фамилии заключен полет. Мяч послан в девятку, но Вольтер Саная успевает раньше! И Эссебуа тоже такая фамилия. Великий тенор! Это маленькая птичка, которая залетела в стальную клетку Советского Союза. Ей бы что-нибудь из деревяшки или плетеную клеточку. Или можно так: пусть это будет чугунная клетка, потом стальная клетка, а потом какая-то плетеная корзинка, для которой был рожден великий певец.

Ах, красавец Эссебуа! И рядом с ним замечательные легкие птички – труппа. Они все были худые, выпархивали все вместе на лестницу, оркестр гремел одну нежную грузинскую песню, переделанную под марш, но даже маршевая мелодия заставляла про себя повторять нежные слова песни: «С дальней дороги ожидала я любимого. Вот он показался, но, кажется, не он...» Приятная, красивая чушь почему-то сопровождала ритуалы империи, и под нее на лестнице

появлялись конфетки... нет, не конфетки, это были существа, легкие, как бумажки от конфет, когда внутри нет ничего...

Я отправляюсь на их спектакль. Вообразите большое деревянное здание, которое построила мадам Кикачейшвили, если я не ошибаюсь. Она после этого работала уже в райкоме, а чудо советского времени с овальными окнами, которые продувались (театр был летний), стояло. Что-то чеховское было в этом доме: если чеховский домик с мезонином увеличить и растянуть в длину. И придать побольше «сараизма». И покрасить синей краской. И чтобы краска облупилась. И посадить около лестницы две пальмы...

И тут, на спектаклях музкомедии, случался великий фокус: тут я переживал.

Еще не приехал Нейгауз, еще не наступила весна, еще в саду не заквакали лягушки, еще в бывшем бомбоубежище не скопилась талая вода, но именно в этот период директор филармонии Давид Сарджвеладзе уже красил зубной пастой парусиновые туфельки: в городе, пахнущем сыростью, он чувствовал начало сезона.

И появился фокусник Элиабам Мустафа Бабахиди! На филармонии с открытыми окнами возникла афиша «Проникновение в чужие мысли». Нейгауз никогда не согласился бы играть в таком холодном здании. На это был согласен только Бабахиди. Это был очень простой человек, похожий на актера Пуговкина. Он носил белый шарф и оранжевую чалму, у него были два ассистента, очень простые русские парни, я видел их в городе, они только что вернулись с фронтов, видимо, где-то в Ростове встретились с Бабахиди и теперь работали вместе. Время от времени, думаю, он их менял. А еще была у них дама.

У дамы были золотые трусы, золотой лифчик и золотые волосы. И вот все вместе они давали концерт, а мы страшно волновались. В летнем саду, в филармонию набивалось все общество.

Женщина была красотой, отдохновением. Напряжение во время мистического сеанса в публике бывало такое сильное, что его надо было разряжать, и тогда мы смотрели на ее золотые трусы, золотые ноги и очень густо, будто ложкой, намазанные помадой губы. Мы смотрели на нее, на некоторое время возвращались к сказочной реальности, а потом снова проваливались в мистику. Бабахиди говорил: «Сейчас прошу троих на сцену». Стесняясь и посмеиваясь от стыда, трое выходили на сцену. Ассистенты завязывали им глаза, и

Бабахиди говорил: «Думайте, думайте, думайте... У кого сейчас в кармане кошелек... Не отвлекайтесь, у вас посторонние мысли... Думайте о кошельке...» Он нервничал, несчастные на сцене совсем терялись...

Но Бабахиди говорил: «Думайте, не обращайтесь внимания на эту девушку, думайте, не стесняйтесь...» Так он дорывался до замечательно стеснительного доктора Исаака Миновича и доставал у него из кармана кошелек. «Здесь есть пятнадцать рублей!» 15 рублей – была миллионная сумма для нашего города, она была только у врача. Исаак Минович краснел, толстые его очки начинали потеть, он ронял шляпу под стул, лез за шляпой и убегал из зала. Тогда Бабахиди брал какую-нибудь девушку: «Думайте о самой тайне вашей души!» В общем, такие вещи он делал с нами. Зал был наэлектризован, жена генерала, командующего Кутаисским гарнизоном, блондинка Валентина – в прозрачном пеньюаре из будущего ГДР – все рвалась на сцену, но генерал был строг, вставал и почти насильно выводил Валентину из зала, потому что представлял себе, что бы случилось, если бы весь мир узнал, о чем думает Валентина!..

Выходили отчаянные люди, совсем пропащие! Нескромные, почти как москвичи, отчаянные, таких в дом нельзя пускать. Выйти к Бабахиди – значило отказаться от традиций, от семьи, от скромности. Это были ужасные люди, не краснели. Мой дядя, между прочим, однажды вышел. Но он, после того, как побывал в армии где-то под Горьким, совсем потерял ум. И русскому не выучился, и память потерял. Когда он вернулся из армии, он хотел нам показать, что он бывалый человек. Бабушка в этот момент доила корову, а я стоял в его сапогах. Он босой зашел в хлев и говорит бабушке: «Браток, молочка!» Бабушка не поняла, переспросила меня (я был между ними переводчиком), я говорю: «Он сказал, что ты – его брат». Бабушка сказала: «Вайме!» – а корова ударила копытом и хотела опрокинуть ведро (коровы так часто делают от возмущения). Потом бабушка сказала, что, видно, дела совсем плохи, если родной сын думает, что она – его брат... Потом он футболистом стал... Ну, вот, вернемся к Бабахиди. Впрочем, о нем, наверное, не стоило бы рассказывать тоже, если бы не два его ассистента. Они очень помогали ему: незаметно совали в шляпу зайчика или голубей, подсовывали в карман зонтик – словом, обслуживали его фокусы. Бабахиди показывал нам графин чистой воды, приглашал даже попробовать, давал своим ассистентам два пустых

бокала. Девушка в золотых трусах вакхически восклицала: «Хванчкара!» – и, стоя на табуретке, наливала воду в бокалы. Вода становилась красной! (Ну кто мог знать, что туда предварительно насыпана марганцовка?!) Ассистенты выпивали «Хванчкару» и изображали из себя пьяных, что удавалось им без труда. Можно сказать, что, регулярно употребляя марганцовку, они были самыми внутренне стерильными людьми в Кутаиси (*sterilis* – лат.). Но не внешне. Я встречал их в городе, этих ассистентов: на одном была медаль «За оборону Кавказа», какой-то саперный значок и колодка нескольких орденов. Другой был не из военных, а какой-то неопределенно спившийся. Они все время кругами бродили около Зеленого базара, где вино иногда было дешевле, чем у Пьяного базара (у нас было два мощных базара). Зеленый – потому что там продавали зелень, а Пьяный? Потому что там много пили.

Там цыганка продавала рубиновых петушков на палочке.

А на Зеленом, между прочим, бывал Александр Дюма, и это великий базар, потому что сам Александр Дюма написал о нем, что ничего печальнее и беднее в мире он не видел, а Дюма объехал весь свет.

Но вспомним об ассистентах. В тот день они появились на сцене после Пьяного базара и совершенно пьяные. На них обычно были черные смокинги и огромные оранжевые шаровары, в которые чего только они не прятали! Зайцев, голубей, арбузы – весь реквизит был у них в этих штанах. Но в этот день, пьяные, они не могли ничего спрятать, как это требовалось, и все проделывали очень простодушно: без тайны и лукавства, прямо на виду у зрителей, в шляпу сажали зайца. Бабахиди начал нервничать и сорвался: «Вы подлецы! На что смотрит милиция!» Он страшно расстроился, потому что все фокусы были испорчены: из широких штанин они доставали букеты цветов и совали сзади Бабахиди, а он, держа зайца за уши, топал ногами и кричал на них, что посадит их, что он сам воевал на Первом Белорусском, и так далее. И вот мой город, к чести его, нашелся, и вся публика начала кричать: «Прости их, прости!» Вот что за зрители были в Кутаиси. Сейчас публика безжалостна, она не умеет прощать, она сейчас – как в Риме: «Казни!» А наша публика этого не знала, она сочувствовала этим пьяницам-ассистентам Бабахиди. И когда он услышал это: «Прости!» – с ним случилась истерика, и после этого я не видел больше в нашем городе неповторимого Бабахиди, он исчез сразу, потерялся, как ложка без ручки.

Ассистентов судили народным судом в суде ЗКВЖД у вокзала по статье, номера которой я за давностью лет не помню, и прямо оттуда, через задние двери суда, отправили в лагеря на пять лет. Об этом писала газета «Индустриалури Кутаиси», заметка называлась «Оскорбители публики». Говорили еще, что, получив по пять лет, они были счастливы. Дальнейшее мне неизвестно.

В том же возрасте, когда Шалико Элигулашвили вступил в комсомол, и Анзор, Илюша и братья Алхазишвили тоже туда вошли, я все время пропадал в библиотеке.

Они раньше созрели, одежда сужала их, старые майки натягивались на груди, а я был какой-то недостойный их и сидел в библиотеке. Само по себе это тоже опасное дело в том возрасте, потому что если раза два увидят в библиотеке – ты уже не мужчина. И ходить в библиотеку приходилось маневрами. Маленький мостик, а рядом с ним библиотека № 6. Одна комната цепляется уголком за скалу, а остальное все висит над рекой, и внизу мчится Риони, гремит, ворочает камни. Вы сидите читаете, а она снизу плюется: «Сволочи все, ничего не понимаете, жизнь уходит, и пошли вы все к чертовой матери!» И кидается камнями, и ведет себя безобразно – огромная, задвинутая в узкую щель, стремительная река, у которой как будто мускулы ходят внутри. Водовороты, и иногда вдруг видишь – несет дырку и швыряет ее в небо. Страшно от этого становится.

Вот так сидел я там и читал. В углу была стоечка, а за стоечкой – две женщины. После войны они остались не замужем. Между ними стояла керосинка, которой они обогревались. Как-то я поднял голову и увидел их лица. Они смотрели в сторону дверей, бледные. Сперва я подумал, что они увидели крысу, потому что у нас была одна крыса, ее звали Ипполит, это была известная в городе крыса, ее несколько раз обдавали кипятком, травили – и что-то такое красненькое бегало по городу. Где только я ее не встречал: в собесе она одно время появлялась, а идешь из школы – встретишь ее около старого здания Кутаисского водохозяйства... У ломбарда... Трагическая, одинокая, голодная... Потому что все, что можно было кушать, – мы съедали сами, кто бы дал еще что-то крысе? У нее была трудная жизнь.

Библиотекарши смотрели на дверь, но это оказалась не крыса. Я догадался об этом сразу, потому что для Ипполита у них всегда была приготовлена тяжелая книга (кажется, Голсуорси), и они кидали ее. Ипполит, когда доходил до

ручки, наведывался в библиотеку – съесть хорошее издание «Истории Искусства» Вермеера или дореволюционную энциклопедию (наши книжки уже были на другом клее). Когда я читал, я видел следы Ипполита на книгах, литературой в основном интересовались в городе я и Ипполит.

Это был не Ипполит, это было гораздо страшнее. Двери открылись, стало слышнее Риони, как будто в библиотеку ворвался весь космос. В дверях стоял Адрахния. Адрахнии было лет сорок, сорок пять, я бы не сказал, что он был высок, но пропорционально сложен, худ, лицо сухой, благородной лепки, тонкие губы, нос – как из фанеры, хищный, как у орла. Глаза, тоже птичьи, никуда не смотрели и редко моргали. И шрам. Он начинался на лбу, проходил через брови, по щеке и еще раз повторялся на подбородке. На нем был плащ и сапоги. Это был вечно одинокий человек, он один ходил по улицам, его боялись, в нашей школе о нем ходили легенды: мол, если даже к нему подключить все электричество Рион ГЭС – он не даст закурить милиционеру. Он много сидел, говорили, с двенадцати лет. В каждом маленьком городке есть такой одинокий, страшный человек с прошлым, за которым читается судьба. И он вошел в библиотеку.

Двери сами закрылись, и стало тихо-тихо. Мизинцем, как орлиным когтем, он подхватил стул, не спеша прошел мимо библиотекарши и прямо ко мне. Поставил стул, сел и посмотрел мне в глаза. Я испугался и растерялся... Нет, какие я слова говорю, это все литературщина! Мне стало плохо. Плохо, как бывает, когда вызывают скорую помощь. Что в таких случаях говорит больной? Он говорит: «Мне плохо». Он же в такие минуты не занимается литературой! Так вот, мне было плохо. Он сказал мне: «Читать умеешь, писать умеешь», – и положил передо мной тетрадь с таблицей умножения на задней обложке. Бывает такое состояние, когда понимаешь, что тебе говорят, но как будто это происходит с другим. Я впервые слышу его голос, глазами он не моргает, шрам...и что он мне говорит, я слышу, понимаю, но в чем дело – не знаю.

В общем, жила за речкой Маргарита. Вдова. Муж у нее был директор комиссионки, и в результате какой-то ревизии он умер от инфаркта. Адрахния, как я понял, любил Маргариту, и из всех его объяснений я запомнил только одно: что он «стоит в воде и горит». И еще я понял, что надо написать письмо Маргарите. Он сам бы написал, но у него плохой почерк. (Но было видно, что писать он не умел.) Он принес

тетрадку. И я начал писать. Не помню, сколько это продолжалось, но все, что было у меня в голове из всей европейской и восточной литературы – от Стендаля до Саади, – я написал. Это был коллаж, настоящий коллаж. Помню, что где-то в конце я говорил, что она – «газель с лиловыми копытцами» (это, кажется, из Фирдоуси).

Он прочел. Сухие губы соприкасались – как два листочка акации. Он кончил читать и посмотрел на меня. И спросил, бьют ли меня в школе. Я сказал, что нет (соврал, конечно). Тогда он мне сказал, что обязательно надо, чтобы меня побили. Мне опять стало плохо, потому что если кому доставалось в школе – так это мне. Меня легко было бить, потому что моя безответственность, золотушность, чистая шея, чистые руки – заслуги моей мамы, больше чем мои, – провоцировали всех, настраивали на то, что человек не мог пройти мимо меня, чтобы не ударить. У меня было такое лицо, что пройти мимо и не ударить – себя обидеть, дураком остаться. И так жизнь была бедна радостями. А Адрахния хочет теперь, чтобы еще больше меня били. Он заметил мой вопрос в глазах и сказал, что если меня побьют, он им такое сделает, что больше не посмеют. Ну, я не стал говорить, и на этом история закончилась.

Потом я облетел мир, был в мавзолее Ленина с девушкой, пробовал носить усы, но они были какие-то нечеткие, учился в трех институтах, в ресторане Дома кино сидел с Борисом Мессерером и говорил об искусстве, был в Париже и купил там туфли, видел на улице Хрущева, получил прописку в Тбилиси, женился, дети, поседел... и через сорок лет приехал в Кутаиси. Дома, друзей уже нет, но остался знакомый ветерок. Я пошел на Риони. Была осень, и Риони была тихой (осенью она становится очень нежной и задумчивой, и даже уже не бормочет, и тогда посреди нее появляются белые камни, очень похожие на мозги вымерших гигантов).

Стою пустой, и не могу поймать в себе ни грусти по этому городу, ни грусти по молодости. Это все выдумывают: «...он стоял и вспоминал...» Ничего не вспоминал, просто стоял. И услышал сзади шепот шагов. Я оглянулся. Там стоял ящик с цементом, сверху толь, и к этому ящику, где хранят под замком цемент, приближался мужчина с ведром. Он потрогал замок, плюнул, расстроился, повернулся, еще раз посмотрел на замок, и тут я подошел к нему. Я узнал его – Адрахния. Седой, он стал похож на тренера сборной Аргентины и еще в тысячу раз красивее этого аргентинского тренера. Такие же

сапоги, такой же плащ (хотя, конечно, все другое). И вдруг я, трусливый, законопослушный (в жизни не брал ничего чужого, один раз взял чужую авторучку, до сих пор краснею) – так вот, я поднял камень и ударил по замку. Адрахния немножко отодвинулся и посмотрел на меня. Я взял ведро, набрал цемента и поставил у его ног.

Библиотеку он не мог вспомнить, но про письмо помнил. «А, это ты...» – сказал он только... Мы стояли, уже оба седые. «Как Маргарита?» – спросил я. Он сказал, что завтра – пятилетие ее смерти и цемент нужен ему для того, чтобы починить цоколь у могилы. И что завтра все будут там, на кладбище: и дети, и знакомые. И что если я захочу – тоже могу пойти.

Я пошел. Мне надо было и своих тоже повидать.

Собралось человек пять, немного. Сын был похож на Адрахнию (не такой, конечно, красивый, но тоже красавец и более мягкий). А дочка Маргариты и Адрахнии была вылитая мама: черные бровки, розовые щечки, пухленькие ручки и соломенного цвета курчавые волосы. Он познакомил меня с детьми и сказал: «Выпей». Мы выпили и отошли в сторону. Там растет хороший платан, а под платаном маленькая пальма. Под пальмой я узнал, что мое письмо, мое первое литературное произведение похоронено здесь: Маргарита попросила, чтобы его положили ей в гроб, на грудь...

P.S. Потом я хотел написать рассказы о любви. Хотел, чтобы первый рассказ был этот – про первое мое произведение, а последний – о своей любви. Чтобы это ушло со мной вместе, на то же кладбище. Но потом понял, что рассказы вообще трудно писать и особенно о любви. Не смог написать, и вот я не знаю, что уйдет со мной...



С ТЕХ ПОР...

*Требуется няня...*

Из объявления в газете

*Были здесь ворота...*

А. Пушкин. Медный всадник

Т 6-87-12. Именно такой номер был у телефона, висевшего на стене длинного коридора нашей коммунальной квартиры. На стене рядом с телефоном было написано многое, в том числе и эти цифры. С тех пор номер менялся не раз. Я не запомнил ни одной цифры последующих номеров. Этот же помню как «Отче наш»...

А какой номер у Вяземского? У Жуковского?

Если бы тогда существовала телефонная связь...

«Вам все равно, с чего бы ни начать...» – так говорит в «Каменном госте» Лепорелло, обращаясь к своему господину, и это не только характеристика пылкого воображения, но и намек на неисчерпаемость предмета, над которым это воображение трудится.

Пушкин неисчерпаем, как сама природа.

Мысль не новая, но это не умаляет ее справедливости.

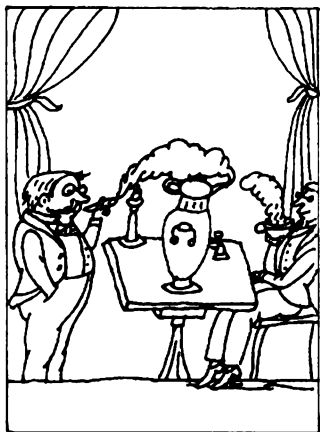
Вот отчего для меня, когда я думаю о Пушкине, не имеет

никакого значения последовательность сопряжений.

Но вот в случае, когда какие-то чувства, догадки, наблюдения должны быть зафиксированы, существенной становится отправная точка. От нее зависит построение дальнейшего маршрута.

И тут я всякий раз теряюсь, как та сороконожка, которая однажды была поставлена перед необходимостью ответить на вопрос, с какой ноги она начинает обычно свой путь.

Сегодня я делаю такой выбор.



Пусть моя нога будет совсем маленькая, как правая, так и левая. И обе эти ноги пятилетнего мальчика приведут меня по длинному коленчатому коридору коммунальной квартиры из наших комнат, расположенных по правую руку от входной двери, в противоположный конец квартиры, туда, где напротив очередного колена, ведущего в кухню, находится небольшая комната, единственное окно которой смотрит на дом архитектора Топленинова – одноэтажный особняк, описанный в «Мастере и Маргарите».

Войдя в дверь, вы утыкаетесь в массивную спинку дубового буфета, отделяющего пространство комнаты от закутка, что образует, благодаря этому буфету, нечто вроде прихожей.

В этой комнате живут двое из двадцати шести наших соседей – постоянных жильцов, не считая уважаемых гостей столицы, перманентно проживающих у кого-нибудь из них.

Две сестры – старшая, Елизавета Ивановна (я звал ее Лика), и младшая, Нина Ивановна (Ника).

Скажу сразу, что, хотя Пушкин и жил в наших комнатах в виде желтого шеститомника с коричневым витиеватым орнаментом на корешках, но первая моя встреча с ним состоялась в комнате сестер Лавровых.

Здесь мне бы впору перейти к этажерке с книгами, что стояла между изножьем Ликиной кровати и резным высоким зеркалом в раме из орехового дерева с двумя стройными колонками по бокам, украшенными резьбой коринфского ордена. Именно с полок этой этажерки извлекался вересаевский том «Пушкин в жизни», а чуть позже – томик Гоголя с «Повестью о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Вием» и тургеневские «Записки охотника». Но прежде чем добраться до этой этажерки, мне необходимо было пройти через всю квартиру.

Мимо ближайших соседей во главе с угрюмым и тишайшим дядей Васей – он служил в роте охраны «товарища Сталина», что порождало ощущение нашей всеобщей прямой связи с Кремлем.

Когда я подрост, дядя Вася обучал нас – меня и моего товарища, своего пасынка Юрку – технике выпивания с гарантией трезвости: я думаю, эта учеба по своему уровню могла быть оценена дипломом Оксфордского университета.

Далее шла комната явных сексотов. Их роль исчерпывалась в основном подслушиванием и подсматриванием, замаскированными под заботливое участие в жизни остальных соседей. А поскольку следили многие за многими, то атмосфе-

рой теплого сочувствия и неподдельного интереса к проблемам ближних было согрето все наше существование.

Крошечная комната архитектора дяди Буси помещалась, словно между молотом и наковальней, между комнатой того, кто едва ли не ежедневно видел Молотова и Сталина, и жилищем, занимаемым многочисленным семейством младшего лейтенанта НКВД.

На пути к приюту моих покровительниц, одна из которых была моей крестной, мне приходилось миновать также прибежище тишайших интеллигентов – Клары Григорьевны и Моисея Соломоновича Берковских. Они были столь застенчивыми, что я редко когда слышал не только их самих, но и о них. Я до сих пор не знаю (или напрочь позабыл), чем они занимались.

Помню только, как Клара Григорьевна, узнав о том, что я «занимаюсь музыкой» – именно так назывались героические усилия родителей и моих педагогов сломить мое внутреннее сопротивление... чему? тому, чему я должен был ежедневно жертвовать часом, а то и двумя часами дворового футбола (сегодня мне стыдно признаться, но имена Савдунина и Сергея Соловьева, не говоря про Хомича и Бескова, значили для меня в ту далекую пору куда больше, чем Бетховена и даже Баха, не говоря про Черни с его этюдами), – подарила мне стопку нот, по которым она занималась в свое время в киевской консерватории.

Часть этих нот с красивым росчерком в правом верхнем углу до сих пор стоят у меня на полке.

Из этой географии становится ясно, что тонкая прослойка интеллигенции помещалась, как слой повидла между коржами, между комнатами сотрудников НКВД.

Два офицера из одних и тех же органов – согласитесь, немалая плотность на душу населения одной квартиры.

И вот, не осознавая в полной мере – по недомыслию, извиняемому малолетством, – всей значимости социального состава жильцов квартиры № 2 дома № 10, что помещался «в одном из арбатских переулков», как назван М.А.Булгаковым наш Мансуровский, я совершал ежевечерний путь «к Пушкину» через все слои нашего общества, равносильный путешествию «в люди», а также «моим университетам»...

В комнате Лики и Ники я усаживался за стол под оранжевым абажуром и ждал, когда мне выдадут несколько листов бумаги – обыкновенно это были негодные для дела бухгалтерские документы. Ника работала бухгалтером в

каком-то учреждении, и мне нравилось, как она щелкает на счетах, шевеля губами и что-то записывая.

Каждая исписанная страница, как известно, имеет оборотную сторону. И вот эту-то чистую поверхность с еле проступающими буквами и цифрами, выведенными на лицевой стороне, я мог использовать для рисования. Цветные карандаши я приносил с собой.

Мое увлечение рисованием было известно всей квартире. Однажды приехал из Ленинграда друг родителей – художник Андрей Капустин. Он остановился у нас, и те несколько дней, что он гостил в Москве, я был ужасно горд.

Мне очень нравилось его бледное лицо с глубоко запавшими синими глазами, его длинные пальцы, но особенно нравилось то, что он, как и я, – художник. Именно так я думал о себе, причем иногда и вслух. Поэтому сестрам Лике и Нике я тут же доложил: «У нас теперь в доме три художника». «Кто же третий?» – на всякий случай поинтересовались они. «Ну как же? Папа, Андрей Капустин и я...» (Впрочем, не исключая того, что этот краткий перечень я открывал собою, о чем моя память почему-то умалчивает.)

Устроившись за столом, я принимался разглядывать вересаевский том «Пушкин в жизни»... Я вижу худую Ликину фигуру в халате цвета редко тогда встречавшегося напитка – кофе с молоком, такого же цвета волосы (цвет молока в их окраске явно преобладал над кофейным) и дымок, струившийся над оранжевым прозрачным мундштуком, – Лика много курила.

Я вижу ее фигуру, согнувшуюся над этажеркой, молчаливо достающую оттуда Вересаева и торжественно кладущую книгу на стол (торжественность, то есть замедленность, эта была вызвана не столько величию минуты, сколько тяжестью книги).

Перед тем как начать рисовать, я в который раз (в сотый, должно быть) пролистывал книгу. Драматургия этого пролистывания повторяла ход жизни, случившийся сто лет тому назад. Открывался этот обзор тропининским Пушкиным. Должно быть, есть в его облике – в светлых, слегка навывкате глазах, в кучерявости волос на голове, в завитках бакенбард – та магия, которая располагает и притягивает к себе всякого, даже включая тех, кто и слышать-то не слышал ни о Пушкине, ни о его стихах.

Сужу по своему годовалому внуку: он еще не сразу и зачастую неуверенно ориентируется в ближайших родствен-

никах, но при словах: «А где Пушкин?» его лицо озаряется улыбкой двойного блаженства: во-первых, от явного узнавания портрета с настенного календаря, во-вторых, от общения с существом, вызывающим то безусловное доверие, на которое в воображении ребенка может претендовать только котинька-коток из любимой колыбельной...

Далее в книге следовала Наталья Николаевна. Красота ее лица на портрете привораживала сама по себе, но выющиеся вдоль щеки локоны, но рюши и кружева на платье вызывали неизменный прилив влюбленности – возможно, одной из первых.

Наконец, дрожащая в предвкушении роковой и неизбежной встречи рука ребенка открывала страницу, где был запечатлен убийца Пушкина. Мне очень нравился рисунок Т.Райта. Наталья Николаевна, кстати, также была изображена этим художником, и это произвольно проявленное стилистическое сходство сближало в моем подсознании образ Натали более с Дантесом, нежели с Пушкиным.

Кавалергард был изображен в мундире с отвернутым бортом. Если говорить правду – при первой же встрече с этим персонажем я мгновенно отделил содержание от формы. Высоко поднятый подбородок (чему обязывал стоячий ворот мундира), щегольские усики, наглый взгляд – все это производило впечатление. Особенно эполеты. Настолько, что любимую глазунью я переименовал в «яичницу с эполетами» и просил на завтрак только ее.

Я без конца умолял то Лику, то Нику, то родителей пересказывать мне известные им подробности дуэли, пытаюсь найти хоть какую-нибудь деталь, которая могла бы оказаться спасительным препятствием в развитии трагедии. Поскольку, упрощая сюжет до уровня детского понимания, мне объяснили, что причиной столь жестокой развязки были танцы Дантеса с Натальей Николаевной вне установленной очереди, я в своем бессмысленном и запоздалом рвении готов был взять на себя обязанности регулировщика (это понятие мне было ближе, нежели какое-нибудь другое вроде церемониймейстера). История дуэли меня влекла неуклонно. Каждый день я просыпался с мыслью о том, что должен спасти Пушкина. В конце концов, я стал рисовать дуэль, но противников поставил так, что они были обращены лицом не друг к другу, а к нам, то есть к потомкам. И пистолеты их были направлены в противоположные стороны, так что пуля Дантеса не могла достичь Пушкина.

Реальность моих переживаний была усугублена еще и тем, что отец, с юности и навсегда влюбленный в Ленинград, читал мне те места из «Записок д'Аршиака» Гроссмана, которые, по его мнению, наиболее точно и в то же время наиболее живописно воспроизводят атмосферу города и, в частности, пейзаж места дуэли. Я с голоса заучил эти отрывки, и это помогало мне воспроизводить в воображении место у комендантской дачи с подробностями, изложенными в книге.

«Безукоризненно, согласно правилам боя, Пушкин сложил к плечу правую руку, и вдоль его кудрявого лица протянулась вверх блестяще граненое дуло.

Сумерки приближались. Голубизна снега и воздуха сгущалась. В стороне комендантской дачи кое-где начинали мерцать оранжевые огоньки. Но под открытым небом еще было совершенно светло, и снежная пелена отчетливо обрисовывала все контуры фигур и предметов.

Ясный морозный день заканчивался торжественным зимним закатом. Солнца не было видно. Но где-то над горизонтом сизые небеса были неожиданно прорезаны на несколько минут медным отсветом невидимого светила. Легкие багровые блики пробежали местами по черным ветвям и синему снегу, углубляя тени черноту деревьев и синеву равнины. Все было тихо. Только ветер продолжал завывать в соснах, качая их тяжелые верхушки...»

Кроме Ники и Лики, у моего рисования был еще один зритель. Из темного угла на меня смотрел строгим, но в то же время, казалось, одобрительным взглядом Николай Угодник в резном окладе изумительной работы. Я знал о том, что он пережил несколько революции и войн, уплотнения и чистки, однажды попал в опустошительный пожар, в котором сгорел весь дом, но у иконы даже уголка не обуглилось.

Эти истории также поддерживали мою веру в чудесное, адресованную прежде всего Пушкину.

Когда я летом гулял во дворе – а иногда не выходя из дома, в раскрытое окно, – я слышал звуки то мужского, то женского голоса, распевавшего сначала гаммы, каждая из которых открывалась трезвучием с повышением на одну ступень, а затем – романсы и арии. Сейчас мне почему-то кажется, что все эти арии и романсы были на стихи Пушкина:

«Я к вам пишу, чего же боле...», «Твой голос для меня и ласковый и томный», «Не пой, красавица, при мне...» и так далее.

Я знал, откуда раздается голос, – в соседнем доме жила учительница пения Мария Ивановна Прозоровская. Ее любили все дети, несмотря на ее строгость и на то, что она могла сделать замечание любому. Собственно, она, я думаю, была тем единственным человеком, чьи замечания не казались обидными. Что-то в ней было от облика святых, изображенных на многочисленных иконах в ее доме. Кроме рояля и этого иконостаса, перед которым всегда теплилась зажженная лампада, в этом доме, кажется, ничего и не было.

Мария Ивановна гуляла со мной, когда мы с мамой вернулись из Иркутска, где были в эвакуации в первые годы войны. Чаще всего эти прогулки приводили нас в сквер на углу Зачатьевского переулка. Из этого сквера хорошо был виден особняк А.И. Кекушевой, на крыше которого возлежал роскошный лев. Няня уверяла меня, что лев непременно махнет мне хвостом, но при одном условии: если я буду хорошо себя вести. Жизнь показала, что это условие было для меня невыполнимым – всегда находилось что-нибудь, что мешало мне заслужить благосклонность льва. Выяснилось это по дороге домой. Между мной и М.И. происходил примерно такой разговор.

Я: «Ну почему же он и сегодня не махнул мне хвостом?»

М. И.: «А ты сегодня чистил зубы?»

– Чистил, чистил.

– А за завтраком все съел?

– Все, – врал я.

– А спасибо маме не забыл сказать?

– Не забыл.

– А поздоровался сегодня со всеми?

– Со всеми, со всеми, – отвечал я, и в голосе моем чуткое ухо педагога улавливало неуверенность.

– И с Василием Алексеевичем?

– Я его сегодня не видел. Он ночью охранял Сталина, пришел рано утром и теперь спит.

– А с Леонидом Степановичем? – справлялась няня относительно другого чекиста.

– Он был очень мрачный, – неуверенно оправдывался я.

– Должно быть, международное положение его огорчает, – высказывала предположение няня. – В отличие от внутреннего. Так ты все-таки с ним не поздоровался?

Я потупил голову.

– Вот видишь. Лев – он все про тебя знает...

Я тоскливо вздыхал и надеялся на реванш. Как выясни-

лось, напрасно... «На свете счастья нет», понял я уже тогда, и как же был обрадован, найдя впоследствии подтверждение этой догадки у Александра Сергеевича.

Позже, когда я уже учился в школе, а потом в институте, Мария Ивановна, встречая меня во дворе, просила зайти к ней «на несколько минут». Я знал, что это означало, и всегда выполнял ее просьбу.

– Я не спрашиваю тебя, веришь ли ты в Бога, – говорила она, подводя меня к киоту. – Я хочу помолиться за тебя и за твоих родных. Подумай о Боге хотя бы сейчас. Я не доживу до того дня, когда все, что происходит вокруг... – Мария Ивановна делала широкий жест, простирая руку в сторону окна, явно подразумевая при этом пространство более обширное, чем наш двор, – ... всему этому придет конец... Ибо все это противно Богу. Насилию всегда приходит конец. Я верю, что ты доживешь до того времени, когда люди научатся отличать ложь от правды... А теперь – ступай, и храни тебя Господь...

Мария Ивановна осеняла меня крестным знамением и давала просфорку, которую надо было съесть натошак.

Иногда я видел ее, подойдя к окну своей комнаты, смотревшему на ворота. Это были чугунные ворота, оставлявшие место также и для калитки. Чугунные пики с острыми наконечниками затрудняли процедуру перелезания через ворота тогда, когда они были закрыты. Сейчас этих ворот уже нет. Они исчезли в недавнее время, когда сограждане уяснили себе всю пользу тяжелых, цветных черных металлов. Задолго до этого исчезла медная ручка у парадных дверей, прикасаясь к которой, я любил вспоминать те светлые миги познания жизни – даже если это происходило на уровне законов физики, – когда мы, пяти-шестилетние, по очереди припадали розовыми языками к тускло мерцающим из-под инея, покрывавшего их, желтым граням. Языки примерзали, казалось, раньше соприкосновения с поверхностью металла, и особую радость доставляло освобождение от этой мучительной, но и сладостной, как многие искушения, связи. Мы с болью отдирали наши языки от медной поверхности, оставляя на ней мельчайшие лоскутки нежной кожи. О, если бы мы знали тогда, какие страдания доставит каждому из нас впоследствии его собственный язык...

Марию Ивановну можно было видеть чаще всего днем возвращающейся после заутрени от Ильи Обыденного или ближе часам к пяти спешащей ко всенощной. Шла ли она



домой или из дома, она никогда не проходила через широкий проем ворот, но всегда пользовалась калиткой. Ее примеру следовала моя мать и, без всяких пояснений, посоветовала так же поступать и мне. Позже я нашел разгадку этого совета – и не одну – в Святом писании и подумал о том, что только «самостоянье человека», воспетое Пушкиным, уводит его от проторенных путей.

На этих страницах я попытался вспомнить о своих первых встречах с Пушкиным. Но получилось так, что я рассказал о своих встречах с Ариной Родионовной, да еще в трех лицах...

Г6-87-12... Когда мне порой бывает невесело, рука моя непроизвольно тянется к телефону, чтобы набрать эти шесть знаков и пригласить к телефону Лику, Нику или того вихрасского мальчика, который, высунув от усердия язык, трудится над портретом Пушкина. Если он, конечно, не играет в это время в футбол.

\* \* \*

Мне хотелось бы максимально приблизить зрителя к своей работе. К самому процессу. Поэтому идеальная модель фильма для меня – это открытая репетиция или, если угодно, беседа. Сегодня искусство, как никогда, прагматично (это относится даже к самому высокому искусству). Поэтому мне кажется не такой уж бессмысленной попытка вынуть товар из упаковки, вернее, не помещать его в красивую и богатую оберточную бумагу, а сосредоточиться на процессе производства этого товара как на чем-то, имеющем самостоятельную ценность. То есть когда ценность комментария неотделима от ценности самого текста.

Для меня маргинальные жанры интереснее других. Разработка этих жанров таит в себе куда большие неожиданности. Они кажутся мне и современнее, и перспективнее. Живее – это уж несомненно. Эти увлекательные для меня блуждания по склонам и возвышенностям пограничных территорий нечаянным образом способствуют выработке языка, направленного на соединение несоединимых на первый взгляд элементов. Так, применительно к кинематографу речь пойдет о сочетании документального, познавательного, анимационного фильмов, а в плане жанровом: от лирики до скетча, от бытовой зарисовки в форме этюда до анекдота и эпиграммы, от романтической баллады до медитации и так далее...

Одними из самых выразительных, на мой взгляд, приемов кино являются: соединение фонограммы слышимого вблизи

диалога действующих лиц с самым общим («брейгелевским») планом, в котором персонажи потеряны в самых глубоких далях; а также прием, зеркальный этому, когда диалог на первом плане, перекрытый фонограммой (чаще всего – музыкальной), дающей образное звучание этому тексту, становится не слышен.

В первом случае происходит мощное спрессовывание пространства, и мы одновременно воспринимаем его многозвучность, что в оптическом изображении сделать чрезвычайно трудно. Может быть, именно эта трудность и подсказала режиссеру, первым применившему этот прием, такое решение; а может, его вдохновили достижения физики, в частности теория относительности; или же «виной» этому открытию стало изучение законов контрапункта; впрочем, также не исключено, что все дело – в интуиции художника.

# «ТАЙНА ПРЕДКОВ»

Это – слова из нашего домашнего обихода.

Вот, например – я долго не могла говорить «спасибо» и «пожалуйста». «Что надо сказать?» Я знаю, что надо сказать «спасибо», но молчу. На десятый (или на сотый) раз на меня махнули рукой: «Тайна предков!»

Я-то знала, почему я молчу, и только к семи годам научилась выдавливать из себя, поперхнувшись – «пожалуй-ста» – чужое, всеобщее слово, а «спасибо» застревало и мучило еще долго, потому что – все так говорят – и когда получаешь бесценный подарок, и когда тебе просто протянут ложку... Потом, в школе, мы разыгрывали по ролям рассказ «Волшебное слово», и тут я уже руководила октябрятами, постигавшими азбуку вежливости, но это была уже не я...

Настоящая «я» никогда не спрашивала – «почему?» Потому что не хотела быть «почемучкой», потому что уже прочла книжку Б. Житкова «Что я видел», уже знала, что все дети – «почемучки», а я не хотела быть, как все дети. Я не верила в Деда Мороза и не смеялась над клоунами в цирке. Когда водили на елку, мне там понравились только цветные круги на сцене и маленькая черная акробатка в лучах прожекторов. Я думала, она ненастоящая. Но не спрашивала – думала про себя. Зато когда повели в кино, и прямо на нас мчался поезд, и тут же – во весь экран – плакала какая-то женская голова – я устроила истерику, и в кино меня больше не брали. «Кино детям вредно», – постановила бабушка, а ее авторитет был непререкаем.

В следующий раз меня поведут в кино уже после войны, то ли на «Хозяюку медной горы», то ли на «Лесную быль» – на детское. И еще мы с ней, с ба-



бушкой, будем смотреть «королевскую хронику» в знаменитом «морозовском» доме, вместе с англичанами и английскими детьми – там, в «Британском союзнике», бабушка работала переводчицей и часто брала меня с собой.

Это были волшебные поездки – из Лосинки в Москву. Усатенький англичанин по прозвищу «Мурзилка» дарил мне детские английские книжки, потом мы заходили на Ленивку, в коммерческий магазин, и покупали что-нибудь вкусное, например сыр, грамм двести, и баба (она почему-то не любила слово «бабушка», только «баба», зато отца моего, Бориса, своего младшего сына, звала «Бобушкой») съедала кусочек, довесочек, где-нибудь в метро, не на виду. В метро «Библиотека им. Ленина» глаза разбегались от сладостей, мы покупали «турецкие хлебцы» и заезжали на Никольскую, к «Ферейну». Баба не признавала новых названий вроде «Улицы 25-го Октября», и Тверскую называла Тверской.

Но я забежала далеко вперед, в тот сорок пятый, победный год, когда главная половина моего детства уже прошла. Осенью сорок пятого мне исполнилось семь лет. Я рвалась в школу, но меня не отдали, посчитали маленькой. Навсегда запомнилось утро 1-го сентября, когда соседка и лучшая подруга Лена Нахимова прошествовала мимо наших окон в коричневом платье с белым воротничком-стойкой, с большим портфелем, а в портфеле – я знала – пенал и «Родная речь». Она уходила от меня навсегда – красивая, темноволосяя, смуглая, вдруг совсем чужая – школьница. А я оставалась. Каждый день я просыпалась ни свет, ни заря – подсматривать, как она уходит. Ее провожал белый пес Тобик и я – из-за стекла. Было очень себя жалко. Я уже знала стихи Агнии Барто про то, как пионеры уезжают из лагеря, а собака бежит за ними, бежит, не понимая, почему ее оставили. Я плакала над этой книжной собакой. И вот однажды, узнав, что там не все в коричневых платьях, а кто в чем ходят в школу, я пошла за Леной и смешалась с первоклашками. Мы убрали школьный двор, сгребали листья и бумажки, а потом пришли на урок. Я пряталась за спинами – в ситцевом розовом платье, без тетрадок, и про себя репетировала – что я скажу, если спросят – «ты кто такая?» Главное – не выдать Лену Нахимову, что это она меня привела. Мы уже знали про партизан, про Зою Космодемьянскую. В конце урока учительница спросила: «Новенькая?» Я растерялась, слова застревали в горле, но

вдруг ударил школьный колокол – там еще не было звонка, «техничка» била в колокол – и в класс ворвалась мама. Она искала меня по всей Лосинке. На обратном пути я призналась, что давно уже всюду хожу одна, не только до школы, но и до Красной сосны, и даже через шоссе, до кладбища. И в школе мне очень понравилось, особенно одна девочка – Ира Кукушкина. Мама обещала, что через год я пойду в тот же класс, сразу во второй. А пока надо потерпеть, заниматься дома. Она говорила, что мне еще надоест учиться. «Нет, никогда!» Я каждый день напоминала про наш уговор.

Вообще страсть к учению в нашей семье считалась наследственной. Баба Наталия Сергеевна в этом возрасте уже писала по-английски, у нее была строгая гувернантка и еще учительница французского. Но и другая бабушка – Прасковья, мамина мама, которой я не помнила, в детстве запрягла собаку в санки и умчалась от родственников за много верст в школу. А потом, когда уже вышла замуж, заставляла своего мужа учиться, и он выучился на паровозного машиниста, и старшего сына они отдали в гимназию, а трое младших все выучились на инженеров.

От той бабушки Прасковьи у меня осталась швейная машинка «Зингер», подаренная ей в 1911-м году в честь рождения моей мамы. А дедов своих я совсем не знала – они умерли задолго до моего рождения. Вообще дедушки в те времена водились редко. Впрочем, как и отцы.

У меня был отец и, хотя мы его редко видели – он всегда был на работе, мы были за ним – «как за каменной стеной», и вокруг него были мужчины – друзья, сослуживцы – все они были железнодорожники. Потом, много позже, я пойму, что у меня было счастливое детство. «Спасибо товарищу Сталину» – не считается, это у всех. А у меня в четвертом классе, уже в Москве, случилось прозрение. Отец принес елку, мы стали ее наряжать. Игрушки сохранились дореволюционные, и мы с братом сами клеили какие-то цепи, фонарики, и в доме уже пахло мандаринами и маминым печеньем, и вдруг к нам по двое-по трое стали заходить девочки из моего класса. Не те, с кем я успела подружиться, хоть и проболела первый год в Москве всеми детскими – корью, коклюшем, дифтеритом, ветрянкой, и мало ходила в школу. Нет, приходили почти незнакомые, в шароварах и валенках, топтались, придумывали повод, просили тетрадку, книжку и не спешили уходить, осматривали

квартиру... Отдельную! Мы жили на Краснопрудной, в еще не достроенном «сталинском» доме, в нашем подъезде все квартиры были отдельные, у нас – двухкомнатная, на пяти-рых, да и в Лосинке, в деревянном доме, с огородом, колодцем, сараем – у нас была отдельная: своя кладовка, сени, печка, терраса.

Девочки стеснялись брать мандарины, онемев, смотрели на елку и на отца. Мы были «богатые»! Они пришли из бараков, подвалов, из Красносельских переулков, куда еще не провели газ, из жутких коммуналок, где спят вповалку, с деревенскими родственниками, бежавшими в Москву от голода. Они не видели ни елки, ни мандаринов, и ни у кого из них не было отцов. Я почувствовала свое благополучие как вину, и свою «отдельность» как опасность. Опасностей и без того хватало: эта площадь у трех вокзалов, цыганки, торгующие авоськами, алкаши-инвалиды, ночующие в подъездах, трезвон трамваев со всех сторон, учеба во вторую смену и ни-ни, чтоб никто не встречал, а то засмеют. Мне трудно давалась Москва. Я написала в заветной тетрадке ностальгическое стихотворение про свою Лосинку, покинутую навсегда. Описала бузину у сарая, снегирей и сосны и все времена года. О если бы я писала прозу или хотя бы вела дневник – какие бы там kloкотали страсти и страхи! Меня выбрали санитаркой, но я не справилась: надо было проверять уши и волосы, нет ли вшей. В класс приходила медсестра и каждый день отправляла кого-нибудь домой – у кого чесотка или вши. А нас, лучших учениц, отправили по адресам – заставить родителей, чтоб они расписались в табелях и пришли на родительское собрание. Явка обязательна! Иногда мы заставляли бабушек, но они не умели расписываться – ставили крест, и не могли взять в толк, что еще за собрание. Мы увидели нищету как она есть – настоящую послевоенную городскую нищету. А однажды одна девочка попросила меня расшифровать записку, написанную азбукой Морзе. Мальчик, сосед по барaku, подsunул ей записку, сплошные точки и тире. Я взяла отцовский справочник и расшифровала. Получилось совершенно непонятное слово: «Ты проститутка». Мне было десять лет, и я такого слова никогда не слышала. Но у родителей спрашивать не стала, полезла в энциклопедию, прочла статью «Проституция» и опять ничего не поняла. Догадалась, что какую-то гадость Нинке написали. Она порвала записку и сказала: «дурак!» Я у нее спрашивать не стала, кто такая проститутка. Я понимала,

что я многого не понимаю в этой жизни, о чем спрашивать стыдно и бесполезно — не ответят, еще и засмеют. Я была младшей в классе, и мне предстояло самой разгадывать тайну полов. Неприличные слова, что пишутся на заборах, я, конечно, знала, но что они значат — понятия не имела. И что странно — мое любопытство не простиралось до этих запретных тем. До сих пор для меня это непонятно — что мне сказали в раннем детстве, чтобы пресечь здоровое любопытство? Мне никогда не объясняли, откуда берутся дети. Когда «купили» брата, мне было три года, и я не очень поверила, что детей покупают. Замечала беременных женщин, но бабушка объяснила, что это такая болезнь, и скоро пройдет. Наверно, я догадывалась, что дети появляются из живота, но вот почему?.. Трудно теперь поверить, но и к четырнадцати годам я оставалась в полном неведении, как это все происходит. Мои стыдливые родители измучились бы, подбирая слова «про это», и я не спрашивала, и так охраняли нас от «влияния улицы», что анекдоты-песенки («похабные», как это называлось в женской школе) я в дом не приносила. Однажды попало непонятное слово — «презервативы» — в стихах Эдуарда Багрицкого «Контрабандисты». Оно мне очень нравилось. Помните — «По рыбам, по звездам приносит шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду...» Перечисление предметов контрабанды, и вдруг — непонятное слово. Мне было уже лет, наверно, тринадцать — семиклассница, уже в комсомол вступала, и я спросила у мамы — что такое презервативы? Она покраснела и убежала в кухню. Так и не ответила. Большой вышел конфуз. Пришлось опять обратиться к энциклопедии.

Теперь — смешно, да? «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» — у каждого найдется забавная история под этим игривым названием. Мое «хорошее воспитание» затянулось, я стала ненавидеть «хорошее воспитание» и рвалась из дома во все стороны. Был школьный театр. Представьте себе — в женской школе, где мужские роли должны играть девочки. Была храбрая старушка Фаина Илларионовна, маленькая, нервная, чудаковатая — не учительница, со стороны приглашенная бывшая актриса — руководительница драмкружка. Она ставила с нами «Майскую ночь» Гоголя. Я играла Ганну, а Левко — Нина Салыкова. И целый кордебалет русалочек. Мы с Левко нежно объяснялись в любви и обнимались на скамейке (на самом деле мы с Салыковой враждовали, но ради искусства превозмогли лич-

ную неприязнь), и вот достали из-под земли малороссийские костюмы, русалочек одели во что-то воздушно-зеленое и отправились показывать наш спектакль на большой сцене, в районном Доме пионеров. Он размещался в бывшей церкви возле Алексеевского парка. Высокое гулкое помещение, настоящий пыльный занавес. Издерганная Фаина Илларионовна в облезлой шубке мечется среди полуголых русалочек. Холодно, нетоплено. Мой Левко, спрятав косички под лихую «кубанку», вполне выглядит парубком, и вот мы играем на освещенном пятачке, перед темным залом – деревянными голосами объясняемся, обнимаемся, не очень крепко, но я приникаю к его (ее) плечу, и вот-вот должны выбежать русалочки, как вдруг занавес перед нами решительно задерживают. В чем дело? Крики, паника, топот, бедная Фаина кричит, что это ошибка, у нас еще русалочки... Я подумала, что слишком плохо играла, поэтому нас остановили. Это был какой-то конкурс на лучший драмкружок, и мы провалились. Оказалось – не из-за меня, из-за «откровенной эротики». «Разврат какой-то... детям показывать!» – высказалась главная организаторша, и с перепуганной нашей руководительницей сделалась просто истерика. Передо мной сейчас мелькают отдельные кадры – ее полубезумное, растерзанное лицо, судорожные рывки от русалочек к нам с Ниной – костюмы, костюмы требовалось куда-то сдать, не попортить. И улепетывать. Могли ведь целое дело раздуть из нашей «эротики». Это я сейчас понимаю, а тогда – не страх, а стыд свой помню. Коллективное переодевание за кулисами. У меня был детский лифчик с резинками для чулок, и мне удавалось его скрывать даже на уроках физкультуры. Некоторые девочки уже носили бюстгалтеры и женский пояс для чулок, большинство же – круглые резинки над коленками, одна я – в детском лифчике, а играю – «про любовь». Почему мне досталась главная роль – неизвестно, видимо, никто не мог выучить столько текста, а я легко запоминала. Не помню, как мы, опозоренные, возвращались из этого Дома пионеров, но после такой неудачи мы с Ниной Салыковой больше не враждовали, а я тайком выбросила детский лифчик и сделала себе круглые резинки, вредные для здоровья, как считалось в нашей семье, и долго скрывала их от мамы. А про Фаину говорили, что она в больнице и больше к нам не придет. Она вообще была неуравновешенная. Часто угорала от печки. «Этот сумасшедший опять забыл открыть заслонку, и мы опять чуть не угорели», – жаловалась она на



репетициях, и так страшно было представлять ее коморку с печным отоплением, с сумасшедшим соседом. Должно быть, она укрывалась своей клочковатой шубой. Она была нищей, но знавала другие времена и снисходила в школьный драмкружок, словно оказывая милость. Но мы чувствовали, что это ей оказывают милость и едва ли платят учительскую зарплату, а работает она бесплатно – для стажа или для пенсии.

Фаина Илларионовна все же пришла к нам снова, хотя после того позора с «Майской ночью» поклялась больше никогда в школу не приходить. Видимо, ей совсем некуда было деться. Мы решили ставить Островского – один акт из пьесы «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Восьмой класс, мне четырнадцать лет, я должна играть купеческую дочь Ларису. Помню первую свою реплику: «Родителей моих здесь нет?» На этот раз мужские роли играли мальчики. Не помню, как звали того белобрысого длинного мальчика, что играл Елесю, но нам с ним – по пьесе – предстояло целоваться. Первая же репетиция показала, что целоваться мы не сможем. Как только он приближался, меня разбирал смех, и все присутствующие прыскали в кулаки. Фаина Илларионовна нашла выход: мы удалялись за декорацию, изображавшую калитку и куст сирени, и там мой кавалер звонко чмокал собственную руку. На репетициях все шло отлично, мы привыкли к такому «звуковому решению» сцены. Но на спектакле, как только я – в голубом мамином платье с наспех пришитыми розовыми оборками – удалялась за калитку, зал сразу начал хихикать – от предвкушения, а как только Елесь старательно чмокнул руку – зрители откровенно заржали, а тут еще на сцену выскочила «Домна Евстигнеевна» с ухватом на длинной палке и стала гоняться за Елесею, и зал просто покатывался от хохота, и ухват отвалился от палки и полетел в первый ряд. Комедия удалась! Пришлось закрыть занавес, и бедной Фаине Илларионовне, должно быть, сильно влетело за нарушение техники безопасности. Больше я ее никогда не видела. И больше никогда играть на сцене не пыталась, только в страшных снах меня выпихивали на сцену под улюлюканье толпы. Видимо, воспоминание о «первом поцелуе» крепко застряло в памяти...

За всеми старухами моего детства зияла какая-то тайна. Мы привыкли не спрашивать: много будешь знать – скоро состаришься. Я помню всех старух моего детства, потому что

тайны запоминаются, ворочаются где-то в глубине ума. Я помню их лучше, чем всех этих понятных, красивых, энергичных родительских друзей и знакомых. Я хочу вспомнить их по именам. Едва ли кто-нибудь еще помнит.

Лидия Федоровна – проводница, но не простая проводница – «культурная». Она работала в служебном вагоне. Когда в октябре сорок первого мы переезжали из Лосинки к отцу в Ярославль, она растапливала круглую железную печку в вагоне – я впервые такую видела. И успокоила мою маму, которая была на сносях и кричала, что никуда не поедет. Я думала, что Лидия Федоровна – самая главная на железной дороге, но оказалось, что ей просто негде жить, потому она и ездит. Она заходила к нам в Ярославле, потом в Лосинке, потом в Москве, и оставляла какие-то вещи на хранение. Ей кто-то где-то обещал комнату, но, видимо, так и не дали, потому что большое зеркало в красной раме, слегка испорченное посередине, так и осталось в родительской квартире, в прихожей. Десять тысяч раз поглядевшись в него, я вспоминала Лидию Федоровну – вечную скиталицу.

И как я завидовала в детстве ее романтической судьбе – всю жизнь на колесах, всю страну объездила.

Ирина Яковлевна Обухова – не то сестра, не то кузина известной певицы Надежды Обуховой, чей низкий голос мы часто слышали по радио: «Не брани меня, родная...» Ирина приезжала к нам вечером, после работы, засиживалась и оставалась ночевать, боялась идти в свою коммуналку – соседи могли не пустить. Иногда она ночевала на бульварной скамейке или на вокзале. Она была театралка, по нынешнему говоря – «фанатка» МХАТа. В первый раз я, увидев ее, испугалась: неопрятная старуха, от нее плохо пахло. У нее был светлый, восторженный период – ее устроили во МХАТ работать, учить артистов языкам, ставить произношение. Ее оставляли там ночевать. С моей бабушкой Наталией Сергеевной они закрывались и говорили по-французски, читали главы «Войны и мира», может быть, чтобы бабушка не забыла французский. Нас, детей, не пускали в ту комнату – нашу, собственно, комнату, с нишей, с ширмой, где мы жили с бабушкой втроем. Может быть, чтобы не наслушались, чего нам еще рано. Они обе были «из бывших» и связаны какими-то тайными дореволюционными связями. А за чаем – только об артистах, и только МХАТа: Тарасова, Андровская, Еланская. В послевоенном МХАТе ставили спектакль «Ломоносов», и Ирина с упоением передавала театральные

сплетни. Кстати, она была совсем не старухой, просто выглядела безобразно. Она дожила до девяностых годов, и я ее видела действительно старухой – девяностолетней. Она еще работала, давала уроки, жила в своей отдельной квартире и не унывала. В потертом пальто, с драным мешочком в руках, в разбитых войлочных ботинках – она выглядела так же, как тогда, в конце сороковых, когда водила меня на «Синюю птицу» и казалась Бабой Ягой.

Хочу вспомнить еще свою первую учительницу Ираиду Петровну. Я старалась на нее не смотреть – такая она была болезненно-тощая, заторможенная, без признаков пола и возраста. Старухой она не была, но ее точила какая-то болезнь, а может, что-то страшное в прошлом. Жила она в школе, в маленькой комнате на первом этаже. Это она приняла меня сразу во второй класс, а проучилась я там, в Лосинке, всего год, летом мы переезжали в Москву. Мама сказала, что я должна пойти попрощаться с Ираидой Петровной, поблагодарить ее, и дала мне записку и довольно тяжелый пакет. В пакете было два килограмма муки. Я ни за что не хотела нести подарок, но мама строго приказала нести и передать – от нее лично, будто я и не знаю, что в том пакете. Я шла медленно и всю дорогу хотела повернуть назад. Мне казалось, что Ираида Петровна не возьмет подарка и еще меня отчитает. Ее окно было открыто. Я дотянулась до подоконника, поставила пакет и позвала ее. Она появилась – в чем-то летнем, пестреньком, и стала меня приглашать: «Заходи, заходи, зачем же через окно?» «Это мама просила вам передать», – пробубнила я мрачно и помчалась со всех ног от школы. Потом только вспомнила, что надо было попрощаться и поблагодарить. Почему я так стыдилась этого пакета с мукой? Тайна предков. Я ведь уже знала, что хозяйки, соседки то и дело делились продуктами, было принято приносить «гостинцы» – то морковное повидло кто-то изготовит по своему рецепту, то банку тушенки или пачку маргарина друг другу несли из «американских подарков». Но то – хозяйки, с их нудными разговорами про детский рахит, про кисель из ревеня, про сахарин и керосин, про муку-«крупчатку»... А моя учительница была выше всей этой бабской суеты. Даже в голове не укладывалось – как это она будет жарить оладьи? Когда на 1 мая раздавали что-то вроде мармелада, она сама раскладывала нам на бумажки это тягучее густое повидло, учила делать «кульки», а себе не взяла, даже не попробовала.

А школа наша двухэтажная до сих пор стоит у Ярославского шоссе, напротив Бабушкинского кладбища. Город Бабушкин для меня, в самом деле, «бабушкин». «Вот где нам посчастливилось родиться...» — когда я декламировала стихи К. Симонова, я вспоминала свою школу рядом с приземистой церковью Адриана и Наталии и окно Ираиды Петровны, от которого я умчалась, не поблагодарив.

Еще в Бабушкине помню дом неких Язвицких, у которых была пишущая машинка. Этот агрегат потряс мое воображение. Помню, бабушка сказала, что мы тоже непременно купим пишущую машинку, а пока нужно хотя бы «выручить наш приемник». Мама нашла какой-то документ, взяла тачку и меня с собой, и нам долго открывали подвал, где громоздились непонятные пыльные ящики-радиоприемники, которые отобрали у всех в начале войны и не верилось, что их отдадут. Но мы «выручили» и привезли домой наш огромный синий ящик. Он шумел, кряхтел и кудахтал, отец долго его настраивал, но не помню, чтобы он членораздельно заговорил.

Зато у нас был телефон, единственный на весь поселок, к нам специально тянули кабель, и потом все бегали к нам звонить. Что касается игрушек, предметов детской мечты и зависти, то у меня их почти не было. В куклы я не играла, но вот автомобиль... Да, это было чудо. Соседу Боре родители подарили настоящий автомобиль, с рулем и педалями. Во двор машину не выносили, чтоб не смущать окрестных детей, но мне разрешали прокатиться по их квартирке на втором этаже, и я не хотела от них уходить, пока не выгонят. А когда приезжал дядя Ваня, он разряжал и чистил свой «ТТ» и показал мне, как из него стреляют. Это была моя тайна, тайное превосходство над мальчишками с их игрушечными пистолетиками — я-то держала в руках настоящий, тяжелый наган и знала, как целиться и нажимать на курок. Было слегка досадно, что война кончается, а потом и кончилась, и надо, конечно, ликовать со всеми, но что люди будут делать без войны?

А маленькая старушка Юлия Васильевна не могла дожидаться мужа с войны. Прошел сорок пятый, кончался сорок шестой год, а он пропадал где-то в плену. Может быть, он был уже не в Германии, а в нашем лагере. Когда она приходила к нам, совсем седая, худая и курящая, и скрипучим монотонным голосом говорила про своего Николая — что его опять не отпускают, и посылки не принимают, а у него

цинга, и все зубы выпали, — я прислушивалась к их разговорам вполголоса и воображала себе этого Николая таким же страшным, как те пленные немцы, что работали у нас в Лосинке на маневровом тупике. А когда он, наконец, вернулся, Юлия Васильевна все равно приходила одна, все время курила и жаловалась, что муж вернулся какой-то странный, никуда не ходит, и надо его лечить. Ей разрешалось курить в нашем некурящем доме, и мне было ужасно жалко ее, не испытавшей радости ни от победы, ни от возвращения мужа. Я думала — лучше бы он совсем погиб, «пал смертью храбрых».

Кстати — о посылках. Бабушка однажды повезла на вокзал посылку родственникам. В коробку положили крупу, сахар и игрушки, моего Кота в сапогах. А коробка была из-под «американских подарков», с иностранными буквами. В метро бабушку остановила дежурная и повела в милицию. Ее приняли за шпионку — из-за этих иностранных букв. Всю крупу перетряхнули и Кота в сапогах вспороли по шву — посмотреть, что у него внутри. Бабушка опоздала на вокзал и вернулась в слезах. Потом, когда она успокоилась, я стала ее дразнить: «Баба, может, ты правда — шпионка? Ты ведь в «Британском Союзнике» работаешь, а они там все шпионы». Кто бы другой обозвал меня «дурой» и дело с концом, а наша бабушка Наталия Сергеевна, воспитанная английской гувернанткой, никогда не повышала голоса, а объяснять ребенку про «холодную войну» и про шпиономанию слишком сложно. И страшно. Тем более, что она уже не работала на Воздвиженке, брала переводы на дом, а вскоре «Британский Союзник» совсем закрыли. Пишущая машинка была куплена подешевке, у мастера, который сам собрал ее из трофейных частей. Она называлась «Грома», и она, как ни странно, до сих пор работает, но бабушке она почти не пригодилась.

Это была последняя беда в многострадальной жизни нашей бабушки Наталии Сергеевны, в девичестве Ржевской, привыкшей к потерям и утратам, — в тот год ее лишили работы и заперли в нашем горластом доме, без своего угла, точнее — именно в углу, за ширмой, с любимыми внуками, которым — то есть нам — она все меньше была нужна. Я отказалась заниматься английским, потому что я не «безродный космополит». По радио, в газетах, в доме пионеров все боролись с «космополитами». Конечно, я понимала, что просто отлыниваю от скучных занятий, но уже научилась

хитрой пионерской демагогии. Бабушка негодовала, даже плакала, но что она могла? В дождливое лето, в деревне Мutowки, где мы снимали пол-избы, она с ужасом взирала на нашу компанию. Мы лазили по черемухе, висели вниз головой и зачем-то обдирали кору со старого дерева – видимо, чтоб удобней было висеть. А вечером заводили патефон, учились танцевать танго или резались в карты, не только в «дурака», но и в «кинга», и в преферанс, а когда она пыталась занять нас чем-нибудь другим, выкрикивали – назло – самодельные стишки – «липестричество сияет и фонтаны шпындеряют» или пели на мотив румбы – «На далеком севере эскимосы бегали, эскимосы бегали за моржой...» Иногда она усаживала нас играть в лото, но слишком пресной для нас была эта допотопная игра. Когда приезжали родители или знакомые, она жаловалась – «у ребят теперь нет никакого внутреннего содержания», и заваривала кофе, ворча – «сплошной цикорий». Я видела, что ей плохо, но все равно ее не слушалась, не слушала, куда интересней было болтать с соседскими мальчиками, такими начитанными, взрослыми – они уже «Двенадцать стульев» читали, знали все названия американских штатов и мечтали свергнуть президента Трумена. Вися вниз головой на черемухе. Однажды бабушка вышла из терпенья и закричала на наш «обезьянник»: «Хоть дерево пожалейте, оно погибнет!» У нее дрожали губы. Стыдно и страшно было увидеть, что старые могут плакать как дети. И затрещала, надломилась под нами ободранная ветка черемухи. На всю жизнь я запомнила, как бабушка срывающимся голосом кричит: «Оставьте в покое дерево!» К черемухе мы больше не подходили, нашлись другие развлечения, но бабушку я стала избегать – не спорила, не дерзила, просто отворачивалась или опускала глаза. Я боялась ее правоты и еще больше – ее слез. В середине дождливого лета я взмолилась: «Заберите меня отсюда!» И родители, как ни странно, меня поняли, хотя я ничего не умела объяснить, и взяли меня с собой в дом отдыха.

Бабушке оставалось жить недолго. Через год у нее случился «удар», то есть инсульт, она год пролежала в параличе и умерла. Только много-много лет спустя я осознаю те «четыре-пять ударов», что мы ей наносили с ребяческой жестокостью. Не государство, отобравшее все, не жестокий двадцатый век, а мы – самые близкие и любимые. Я не то что часто ее вспоминаю, а помню всегда, постоянно, вместе со

своей необъявленной войной между любовью, жалостью, долгом и невыносимостью ее правоты.

Хоронили ее без отпевания, она еще в молодости, до революции, рассталась с церковью. Но не с Богом. Нужно ли писать «Бог» с большой буквы, как в старых книжках? Она затруднилась с ответом на мой детский вопрос. Все пыталась мне объяснить, что Бог есть, но в то же время его нет. А как писать? Лучше вообще избегать этого слова, потому что нельзя поминать всуе имя Божье. От такой домашней диалектики во мне созревали опасные мысли. Например, про любовь – что это слово тоже нельзя поминать всуе, и лучше вообще избегать, потому что она и есть, и ее нет – одновременно, и не так уж она прекрасна, как в песнях поется, а скорее, наоборот – от нее все слезы, страдания и мучения. Кто бабушку доводил до слез? Мы, любимые. От кого я каждый день убегаю в слезах? От любящей, заботливой мамы. И почему такая ужасная долгая смерть выпала на долю нашей самоотверженной безгрешной бабушки? Помню, как она, уже потеряв речь, силилась выговаривать слова, и вдруг из нее вырывались целые стихи: «Если б были все как вы – ротозеи, что б осталось от Москвы, от Расеи?» Это Демьян Бедный, как я узнала позже, а тогда – мурашки по коже... Казалось, она сошла с ума. Так ясно, внятно она произносила стихи, будто речь к ней вернулась, а разум угас. Хотелось бежать из дома куда глаза глядят. Бежать не от страха, а от собственной непомерной жалости к ней. Помню, как она долго пыталась что-то произнести, я подсказывала, угадывала, а она мотала головой и, в конце концов, выговорила одно только слово: «Ми-и-и-лая»...

Отрочество – это темная орда вопросов, от которых некуда деться. Я часто проезжала свою станцию метро – и «Комсомольскую», и «Красносельскую», и мчалась до «Сокольников», где линия кончалась. И мне никогда не было хорошо, всегда что-то мучило. А стихи не писались, то есть писались привычно – для кружка, для журнала «Пионер» – не про то, что мучило. Эти чувства не укладывались в стихи, слова все больше расходились с душой. Я мечтала, что когда-нибудь напишу роман в стихах. Но в восьмом классе, когда бабушки уже не было в живых, стихи мои мне совсем разонравились, и я попробовала писать рассказы. Но это отдельная тема...

Про наш городской Дом пионеров в переулке Стопани стоит рассказать отдельно, потому что это не данное судьбой

– родительский дом, двор, школа – это собственный выбор. Первый опыт свободного выбора. Почему литературный кружок? Что я знала в одиннадцать лет о литературе? Знала много стихов, и они все мне нравились. И вдруг одно не понравилось. Оно было напечатано в сборнике «Круглый год», и я его до сих пор помню:

Говорят, под Новый год  
Что ни пожелается –  
Все всегда произойдет,  
Все всегда сбывается.  
Могут даже у ребят  
Сбыться все желания,  
Надо только – говорят –  
Приложить старания.  
Не лениться, не зевать,  
А иметь терпение,  
И ученье не считать  
За свое мучение.

Надо же – думаю – а еще Сергей Михалков! Дети в стенгазетах иногда лучше пишут. Я еще не знала слова «халтура», но было чувство, что это халтура, что поэт как раз не «приложил старания». Дома мы сочиняли праздничные стишки, и рифмы, и размер мне легко давались, я начала догадываться, что дело не в том, чтобы было «складно», а в чем-то другом. Мне нравился Некрасов, а другой девочке – Инне Карапетьянц – Лермонтов. Мы шли и спорили всю дорогу, от Кировской до Красносельской, – какой поэт лучше? Вот бы сейчас послушать наш диспут. Но это воспроизвести невозможно. Шагаем в валенках, в шароварах, по морозу, читаем стихи, ищем аргументы. Инна, хоть и армянка, приехала из русской деревни, отец ее был пасечником где-то под Рязанью, а мать с детишками – их четверо было младше Инны – ютились в Москве у родственников. Тогда все бежали из голодной деревни. Мне Некрасов достался от бабушки еще в бессловесном возрасте, вроде колыбельной, а ей – Лермонтов – откуда? По воскресеньям в кружке занимались все вместе – младшие и старшие, и даже студенты – бывшие кружковцы – иногда заглядывали. Ужас – до чего они были умные, и говорили непонятные слова – «акмеизм, футуризм». Мы, младшие, только глазами хлопали. Сидели по углам и изучали их самодельный журнал «Зеленый шум». Они писали не хуже «настоящих» поэтов и



все, как один, боролись за мир и обличали проклятый капитализм. Помню, как шестиклассник Володя Амлинский (впоследствии ставший известным писателем) прочел свой рассказ «Наследники мисс Пайк» про миллионершу, которая завещала свои богатства кошкам и котяткам, и негр прислуживал этим животным и думал о своих голодных детях и сам глотал слюну. Рассказ был изложением какого-то газетного памфлета, и не все его одобрили. Уже витала робкая догадка, что лучше писать про свое, про то, что знаешь. Но в моде была книжка «Дети горчичного рая», и «голубь мира» (рисунок Пикассо) был тогда символом эпохи. Кто-то героически рисовал голубя на стене префектуры, а мы в Москве голубей тогда не видели – то ли они вымерли без корма, то ли их самих съели. Мне больше всего нравилась баллада «Филателист» бывшего кружковца Графского, которую он сам читал со сцены нашего небольшого, уютного, одетого в деревянные панели лектория.

В горле у Европы, в дымном крае,  
Есть продрогший город Роттердам.  
Там кровавым заревом пылают  
Отсветы неоновых реклам.  
Город заболел туберкулезом,  
Он стоит у моря на виду,  
И туманы плавают, как слезы,  
И дома качаются в бреду...

Читал он напористо, слегка картавя и распевая, как настоящий поэт. А какой сюжет! «... Встретились мы – два филателиста: я и он – голландский паренек...» «Он сказал мне – ты из Сталинграда?...» Поэт дарит голландскому другу марку с изображением Москвы.

... И представил я, отбросив дни,  
Он придет ко мне в мой новый дом,  
И покажет марку, где у них  
Тоже отпечатан Совнарком.

Бурные аплодисменты. Трудно сказать, верили мы или не верили в эти заклинания, но пробирало до мурашек. Я, безусловно, верила, знала наизусть все стихи К. Симонова из книги «Друзья и враги», читала со школьной сцены: «Мой друг, Самед Вургун, Баку покинув, прибыл в Лондон. Бывает так – большевику вдруг надо съездить к лордам, увидеть двухпалатную британскую систему...» Никто ничего

не понимал – что за лорды, что за Самед? Зато все понимали, даже наши «Красносельские» второгодники – «Сталин вот сейчас на заседании по привычке ходит вдоль стола...» Я задушевно читала, вкрадчивым голосом, и тишина стояла – какой не бывает в школе – загробная, молитвенная. И сама – помню – проходя у кремлевской стены, про себя повторяла: «...знакомая негаснущая трубка, чуть тронутые проседью усы...» Вдруг случится чудо, и я увижу его... в окне! Кстати, Кремль был тогда закрыт наглухо, его открыли после смерти Сталина и сразу устроили там большой пионерский слет, и я там была, нам с подругой Аллой Тарасовой поручили писать приветственные стихи, и дети читали их со сцены, а мы волновались, и немного стыдились, потому что это были «заказные» стихи, как положено. Написала, выразила общую скорбь, прочла со сцены – мы все, образовав полукруг, по очереди читали, и вдруг споткнулась и упала, сходя по ступенькам с такой знакомой, привычной сцены лектория. Теперь думаю – это был знак, наказание свыше за фальшивые стихи. В этом году я начала писать рассказы – про то, что меня действительно занимало. В стихи эти сложные переживания не умещались. Проза, впрочем, тоже получилась неумелая, и не все свои опыты я решалась прочесть в кружке, чаще бросала на середине и выбрасывала, но «заказных», газетных стихов я больше не писала. Началось время протеста против всякой «официальщины», патристической риторики, и вообще против всего лживого взрослого мира. «Переходный возраст» у меня совпал с годом смерти Сталина. Именно совпал – ничего плохого я, разумеется, про вождя не думала, начало «оттепели» тогда едва ощущалось, слова «культ личности» появились много позже, но тот массовый психоз, что сопровождал смерть вождя, – это было главное открытие: всенародной глупости. И я – образцовая пионерка-активистка уже и комсомолка в четырнадцать лет – резко ощутила свою отдельность. От толпы и от собственного пионерского прошлого. Но не от страны. Что «гражданином быть обязан» – мы впитали с детства.

Слова «конформизм» мы тоже тогда не знали, слова «элита» тем более, но мы, конечно, были «элитой», и так себя ощущали. Нас водили в Дом ученых, и кружковцы из детей ученых приезжали к нам, к нам приезжал Лев Кассиль и многие, многие поэты и писатели обсуждали с нами свои книги, даже молодые Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Владимир Соколов читали у нас свои стихи и

слушали наши, мы стали ходить в литературное объединение при «Московском комсомольце» — благо рядом, на Чистых прудах. А там все были взрослые, только мы — школяры. Нас даже пускали тихонько посидеть на писательских собраниях в ЦДЛ на улице Воровского, и даже на Всесоюзном съезде писателей мы побывали, и видели там за кулисами самого Илью Эренбурга, чьи книги мы взалхлеб читали, а он оказался — ну просто каким-то «стилягой», одет, как из журнала «Крокодил». Это озадачивало. Но и расширяло кругозор. Кампания против стилиг была уже как-то подозрительна. Так называемых «стиляг» — рабов моды — я и сама не любила, но ядовитые фельетоны, проработки, само выражение — «тлетворное влияние запада» — не нравилось еще больше. Мы смеялись, негодовали, а в основном — научились помалкивать. Уже две таких государственных кампании были на нашей памяти — против космополитов и «дело врачей». Я ходила с кривой улыбкой, означавшей — «ничему вашему не верю — ни лозунгам вашим, ни газетам, и не хочу даже обсуждать». Кривая улыбка барышню не красит, я это понимала, но ничего поделать с собой не могла. Конфликты в школе и дома превратились в сплошной кошмар. «Для веселия планета наша мало оборудована» — стало ясно к пятнадцати годом, а по радио все звучало по утрам — «Это чей там смех веселый, чьи глаза огнем горят?» Но была отдушина, кружок спасал от окончательного пессимизма, там можно было наговориться всласть, туда приходили умные мальчики, например Гриша Офштейн, неутомимо писавший басни и рассказы, лучший критик, наш «Белинский», впоследствии ставший известным драматургом Григорием Гориным, ныне уже, к сожалению, покойный. Или вдруг возникла — уже в старших классах — компания девочек с Софийской набережной, и оказалось, что там, в Замоскворечье, совсем другие школы, другое воспитание, Москва велика и разнообразна, и кто-то в ней уже читал Хэмингуэйя. А дома, на день рождения, мама Маши садится за рояль, а консерваторский мальчик играет на виолончели. А у нас в районе — Лещенко «на ребрах» и танцы «стилем» под разрешенный краковяк. Мы ходили в ЦДТ, то есть Центральный детский театр, там был свой «актив», мы обсуждали, спорили, о чем — теперь и не вспомнить, но то была наша «оттепель» — когда дома потом не можешь уснуть, про себя споришь, и слов не хватает выразить всю сложность чувств. Я осознала свое косноязычие в этих дебатах. Мое школьное

высокомерие поубавилось. Вообще – как я окончила школу (без троек) – можно только удивляться, потому что все время и вся душа были заняты чем угодно, только не школьными уроками. Я прогуливала школу безбожно. Ноги сами поворачивали в метро, и я оказывалась где-нибудь на просторной «Арбатской», еще пахнущей свежей краской, или в Третьяковской галерее, или в пустом по утрам кинотеатре «Ударник» – подальше от дома и школы, чтоб никого не встретить. Наши стихи – обычно старые, которые уже самим не нравились, попадали – прямо из кружка в «Пионерскую правду» или в журнал «Пионер», и я получала гору писем от школьников всей страны, изредка отвечала, а больше страдала – зачем их напечатали, зачем эти запоздалые письма – хорошей пионерке, а я уже совсем другая – нехорошая комсомолка, и жадно перебираю эти письма в поисках одного единственного, у меня уже первая любовь, он взрослый, он геофизик, и пишет из дальних краев, стихи присылает, но тоже – на адрес школы. Это большая тайна. Мама как-то посмотрела на подошвы моих туфель: «В каком это парке ты гуляла? И с кем?.. Не ври, только в парках так дорожки посыпают». Подошвы были красные, все в кирпичной крошке. А я даже не покраснела, наплела другое вранье. Жизнь учила замечать следы и ликвидировать улики.

Но были и другие тайны, поважнее домашних и школьных.

Мне сейчас кажется, что в те четыре года – от одиннадцати до четырнадцати лет – я прожила целую жизнь. Год за три можно засчитать, но детство в трудовой стаж не входит.

Однажды, в первый мой год в кружке, мне дали ответственное поручение: срочно выучить чужие стихи и прочитать их со сцены в какой-то школе, куда нас поведут целой группой. Стихи были веселые, первомайские, помню последние строчки:

...И, может быть, с трибуны мавзолея  
Товарищ Сталин улыбнется нам.

Стихи были в журнале «Зеленый шум», и я их сразу запомнила, потому что девочка, которая их сочинила, Сусанна Печуро, девятиклассница с ярко карими глазами, с таким редким именем, очень мне нравилась. И стихи ее нравились, мне бы такие не написать. Я отнекивалась, но – пионерское поручение, и уже пришли из «Художественного слова» старые артистки – поставить мне голос и научить правильно

дышать. Седовласые, ласковые педагоги, в кружевных жабо, со старинными камнями, они работали со мной, как доктора, и наша руководительница Вера Ивановна Кудряшова осталась очень довольна моим чтением. А потом мы пошли по морозу куда-то на Покровку, в мужскую школу, уже без ласковых старушек, а с ватагой ребят из ансамбля песни и пляски, знаменитого «Локтевского», и я всю дорогу думала, как же, кому же я скажу, что это не мои стихи, а Сусанны Печуро. Мужская школа ударила в нос табаком из уборной, из-за кулис виден был полный зал больших мальчишек, седьмого-восьмого класса, они топали и гоготали, а ведущий, что объявлял номера, видимо, вожатый, в упор меня не замечал. Я все-таки вцепилась ему в рукав, чтобы объявил правильно, что я не Сусанна Печуро, что ученица четвертого класса Наташа Рязанцева прочтет стихи Сусанны Печуро. Я протягивала ему бумажку, где это было написано, но он мотал головой, но не слушал. Я уже знала, что он объявит неправильно. Я начала читать «поставленным голосом» и сразу сбилась. Забыла стихи. Одна мысль – как им сказать, что я не Сусанна Печуро, и это не мои стихи – стучала в голове. Развернула бумажку и героически дочитала сквозь слезы, – «И, может быть, с трибуны мавзолея товарищ Сталин улыбнется нам». А потом все-таки сказала, что это не я, что та девочка не смогла придти. А потом я шла одна, с Покровки на Комсомольскую, позабыв сесть в метро у Кировской, позабыв вообще все, кроме своего позора. Позор был так огромен, что дома я ничего не рассказала, хотелось забыть, забыть, забыть...

А Сусанна Печуро больше в кружке не появлялась, и вскоре прошелестел слух, что ее арестовали, и еще двух бывших кружковцев, студентов-первокурсников. Якобы у них была какая-то организация. У старших ничего нельзя было спросить, можно только подслушать случайно, узнать слова – «буржуазный национализм», а что это? Она отсидела семь лет, потом, выйдя из заключения, окончила историко-архивный институт, а еще через много лет я видела ее по телевизору, читала в газете, уже «перестроечной», ее интервью. Она работала в «Мемориале». Выжила, потому что была несовершеннолетней, а тех двух ребят расстреляли.

В детстве очень хотелось узнать подробности, эта тайна долго витала над нашим кружком, но у кого спросишь? Может, у тех, кто давал показания, кто вообще донес? А после антисемитского «дела врачей» и спрашивать уже не

хотелось, мы были пуганые дети, умудренные – «много будешь знать – скоро состаришься».

Но я благодарна нашему старому городскому Дому пионеров и рада, что он там еще стоит – в переулке Стопани, за вековыми липами. Правда, сквер вымер, а при нас там была роскошная сирень, и все там распускалось, расцветало раньше, чем во всей Москве. Должно быть, хорошо удобрили землю еще до семнадцатого года.

В тот день, когда я пришла туда в первый раз, мы писали этюд – «Любимый уголок Москвы». Сейчас я бы написала про этот дом и сквер. А в последний мой школьный год туда пришел преподаватель из ВГИКа и пригласил, даже уговаривал поступать на сценарный факультет. Мы стали писать сюжетные этюды – чтобы завязка, кульминация, финал и, короче, чтобы все время что-то случалось. Сейчас я не следуя этому правилу, просто вспоминаю, но сюжет припрятан: та девочка, как помянет Сталина, живого ли, мертвого – так и опозорится. Мистика! Неслучайные уроки свыше. Если так запомнилось, значит, пошли впрок.

## ГДЕ Я ВСТРЕЧАЮСЬ С РОБИНЗОНОМ КРУЗО?

Передо мной на столе стоял детский проектор для пленочных слайдов. На простынном экране кадр за кадром неравными шагами перемещался засмотренный «до дыр» эпизод из игрового фильма о Робинзоне Крузо – там, где несчастный Робинзон обнаруживает на земле след человека... Я отчетливо помню чувство почти духоты от невозможности разгадать смысл чередования подозрительно одинаковых кадров вдоль многометровой целлулоидной ленты, найденной мною на послевоенной берлинской помойке...

...Шел 1947 год, и мне – пять лет. К тому времени мои отношения с кинематографом были вполне конфликтны. Редкие посещения гарнизонного клуба, где по субботам демонстрировались кинофильмы (я рос в семье советского офицера), заканчивались одним и тем же...

Отец, верный традициям и нормам социалистического реализма, настойчиво требовал от меня после каждого киносеанса внятного пересказа фильма. И я в который раз замолкал перед непостижимой загадкой сюжета и идеи, и это тем более комично, что речь шла о незамысловатом урапатриотическом кинобоевике под названием «Небесный тихоход».



Фильм этот мне пришлось тогда посмотреть около десяти раз подряд – по какой-то причине армейский кинопрокат плохо справлялся со своими обязанностями, тем более удивительна была моя тупость перед бесхитростными коллизиями этого грубоватого и по-детски смешного фильма о веселой войне, о верной любви, о глупых и коварных врагах и умных и хороших «своих».

...Итак, я сидел перед диапроектором и руками переводил кинопленку про Робинзона Крузо в оптическом фокусе светового ко-

нуса, пытаясь разгадать клонированный секрет кино, никак не предполагая, что судьба не случайно дала мне в пользование испорченный проектор с выломанной фильмовой рамкой. Стоило пленку выпустить из рук, и она мгновенно выходила из фокуса и сворачивалась в серпантин.

То ли нервное напряжение, вызванное неизбежной кропотливостью перемещения от кадра к кадру, то ли детский стыд от мысли, что никогда не разгадать мне взрослой тайны «Небесного тихохода», только непонятным для меня образом моя правая (как я теперь сказал бы – «грейферная») рука неожиданно сделала несколько судорожных рывков вниз, не выпуская из пальцев злополучной пленки... И я с восторгом и ужасом увидел, как Робинзон на экране слегка поднял руку...

С тех пор прошло ровно пятьдесят лет, я, как все, учился в школе, как немногие – окончил институт кинематографии (испытывая непреодолимую робость перед теорией и практикой сюжета и идеи – не рискнул поступать на кинорежиссуру) и в 1967 году получил диплом кинооператора. В промежутке между вторым и третьим курсами киноинститута, как многие, – три года служил в армии, часто вспоминал «Небесный тихоход» и к двадцати пяти годам окончательно понял, что веселой войны не бывает, что самый большой враг человека – это он сам, что «свои» такие же разные, как и «чужие», и что любовь тоже бывает разной и она все равно – любовь.

И еще я понял, что единственным сюжетом кино является движение от одного кадрика к другому, а идеей – страстная вера в мужество сознания, способного ассоциировать это движение как движение времени, мысли и чувства...

В 1977 году я – вновь начинающий (на этот раз – режиссер так называемого научно-популярного и образовательного кино) – оказался среди участников всесоюзного кинофестиваля. И впервые в жизни увидел не на экране, а в жизни актера, сыгравшего заглавную роль в судьбоносном для меня фильме «Небесный тихоход». Собственно говоря, я увидел его не столько в жизни, сколько в лифте, куда я вошел, чтобы спуститься на первый этаж нашей гостиницы... Мы поздоровались... Он – потому что привык к всенародному узнаванию, я – потому что действительно был знаком с ним с раннего детства... Он был стар, горек и слегка пьян... Мы молча опускались вниз. Где-то не доезжая до первого этажа лифт вновь остановился, и в него вошла группа фестивальной



молодежи, они шутили, смеялись и никого не замечали вокруг...

Потом они вышли, и мы вновь остались вдвоем... Он посмотрел на закрытые двери лифта и знакомым с детства голосом произнес слово, знакомое с детства: «г-о-в-н-о»...

...Мы вышли на площадь перед рижской гостиницей...

Передо мной лежал город, ставший теперь заграницей... Тогда это вообразить было просто невозможно... Небесный Тихоход ушел, не попрощавшись, в одну сторону, я – в другую... Больше мы никогда не встречались...

Я продолжаю (или скорее пытаюсь) снимать кино прямо у себя дома, где рядом со мной мои друзья по бывшему кино и технология, построенная нашими общими усилиями... и чем-то похожая на тот полуисправный диапроектор из далекого детства...

Круг почти замкнулся, осталось совсем немного вопросов, и один из них – как и где я встречу с Робинзоном Крузо, если я почти не выхожу из дома...

Я работаю как скульптор...

«...Книга – наиболее мощный сгусток духовной энергии. Книга как свеча...

Свеча очень интимна, трогательна. Наверное так же, как сама жизнь.

Крошечный, маленький сгусток. трепещущей материи в огромном объеме контура...»

А кино для меня (и я думаю, что это недостаток и слабость) – альтернатива жизни. Мне кино-то делать интереснее, чем жить. Для меня жизнь осязаема только, когда мы делаем кино. Кино – это жизнь во всех ее параметрах: смысл, цели, события, итоги, результаты... Вот сделали картину, вроде бы недавно, и интерес к ней внутренний уже пропал. О чем-то другом хочется думать... Как будто бы жизнь, вот кусок жизни уже прошел, уже оторвалось, отлетело...

Вообще, на самом деле, счастливый человек – это тот, кто естественно делает то, что ему естественно. Вопрос «зачем?»... Я даже не знаю, как ответить. Нравится. С моей точки зрения, это самый убедительный аргумент. Мне это нравится, и оказывается, что это параллельно нравится еще кому-то...

У меня в моей жизни в итоге было больше зрителей, чем при жизни было зрителей у Леонардо да Винчи. Только правильно поймите меня, это у каждого из нас. Мне, например, нравится мысль, что я не пребываю в постоянном

пьянстве, а только когда телевидение приезжает... Я работаю, и мне эта мысль симпатична. Мне вообще симпатична мысль, когда из беспорядка можно сделать порядок, в любом виде.

Да нет, я определенно счастливый человек, причем счастливый в самом невероятном смысле этого слова. Вот приди сегодня кто-то и скажи: «Вот и все, через три минуты тебя не будет», — я все равно счастливый человек. Я счастливый человек в прошлом, то есть в каждый момент настоящего.

В фильме меня не интересует время — вот такое, биологическое. Меня интересует время эпическое. А когда снимаешь покадрово, время сжимается. Ну, по крайней мере вектор в ту сторону направлен. И любая чепуха становится массивной, весомой. И очень легко видеть разницу между живым и неживым. Неживое статично, живое трепещет. Я создаю единое временное поле.

Что является предельно неделимым элементом компьютерного изображения? Но таким, с которым ты еще можешь работать? С графическим зерном на пленке, можно было бы еще сказать — фотозерном в кинокадре, я работать не могу, я не могу сказать оператору: «Подвинь его правее». Я могу свет подправить, но это будет другой кадр. А тут? Пиксель — единичная точка. Вот у этого экрана 340 или 320 пикселей по высоте и сколько-то по ширине. И вот каждую эту точку я могу сдвигать по желанию, перекрашивать и так далее. Это предельно неделимая единица компьютерного изображения. Полпикселя быть не может по правилам этой игры. Но пиксель, он полностью утрачивает связь с тем изображением, из которого он вынут. И поэтому один и тот же пиксель может быть элементом и рубашки, и моей лысины. С кинокадром такой фокус не произойдет.

Непонятно по одному кадрику, это начало плана или конец плана? В какую сторону он двигался? Это я к чему? С моей точки зрения, кино есть искусство, вид не пространственных, а временных превращений. На самом деле, конечно, и пространственных, но это несущественно. Временных, как ничто другое... А тут можно говорить о потрясающе любопытном механизме появления кинокадров вообще. Ведь в кинопроекции традиционной, в кинотеатре, кадрик появляется и исчезает. Происходит мощная работа сознания. За  $1/48$  секунды, именно 48-ю, надо впитать и понять, осознать: он же появляется и исчезает навсегда. И тут тебе — ба-бах — и предъявляют другой кадр. И хорошо, если ты способен оценить это как вектор, как движение времени.

Рука немножко сдвинулась, и там другой совершенно кадр. Был Валерка, а стал – Коля.

Есть люди, это, в основном, болезнь чиновников, которые не видят кино в его монтажной природе. Они говорят: мы не понимаем, как это у вас вот это склеено с этим, какая связь? Ну, слаба, видимо, душа, а не головка все-таки. Я думал о том, почему же телевизионное изображение такое как бы блеклое, излучение слабое у него. Ну неужели только потому, что на телевизионном экране меньше вот этих пресловутых ячеек, пикселей, чем в кино? Ну, сделали телевидение высокой четкости. Это, конечно, аттракцион. Потрясающий, судя по реакции людей. Но чуда-то не произошло в области эстетики и не произойдет. А кино продолжает быть удивительным чудом. И вот тогда-то и пришла в голову не без помощи хороших людей такая мысль, что, по-видимому, кино, в связи с определением кинокадра как кванта, – это как бы временная колбаса, нарезанная ломтиками. Каждый ломтик продолжает хранить качество колбасы. А временная природа телевизионного и компьютерного изображения – это фарш временной.

И поэтому признаки временные – разные... Другое дело – телевидение. Самое интересное, если поставить камеру в углу и снимать, например, как тетки торгуют луком. Ничего вроде не происходит, а поразительно. Я живу в реальной линейной временной структуре. И поэтому, когда совершают над видеоизображением насилие, как в кино, редко происходит выигрыш.

Уже привыкли к этому, но это – не путь. А мы придумали путь, который линейность временную не рвет. Это так называемый палимпсест. Ну, скажем, в истории иконописи и даже живописи это известно в европейской истории, когда записывали старое полотно новым или реставрировали. И в кино это было. Убирали Хрущева, еще кого-то ставили. Или наоборот. Это типичный пример палимпсеста. Мы берем и записываем 3-х минутный один какой-то план. Один-единственный план. Мы его готовим тщательно, пытаясь от него получить трехминутную достаточность. Ведь это же было бы замечательно, если бы я умел так снять сигаретную коробку, чтобы все разрыдались, глядя на нее на экране. Мы готовим этот план. А когда смотрим, то видно, что уже на 5-й секунде его актуальность пропала. Ну нет уже актуальности никакой. И мы поверх этого изображения вписываем другое. Но возникает любопытный вопрос: мы уничтожаем предыдущее или нет?

Я утверждаю, что нет. И не только с точки зрения криминалистики, которая, возможно, через 100 лет научится считать записанные слои на магнитофонной ленте. Я его не уничтожаю по другой причине, ибо то, что лежит сверху, несет признаки либо параллельные, либо перпендикулярные тому, что она уничтожила. Я же не любой кадр запишу, а тот, который в контрапункте с той точкой, где актуальность предыдущего пропала. И вот так, накладывая одно на другое, я создаю этот пирог. Создаю единое временное поле. И я утверждаю, что в этом есть смысл.

Иными словами, я работаю как скульптор. Вот ты – скульптор – купил камень. И ходишь годами, тебе страшно что-то отсечь, ты же, по правилам, обратно не приклеишь. Вот типичный пример видеоструктуры. Она хранит в себе память, прямо или опосредованно, о многих-многих изобразительных ходах, которых внутри уже как бы нет, но они лежат на поверхности в виде итога.

## ЧЕЛОВЕК ДВИЖЕТСЯ... ТОЛЬКО – ОТ

**Я** родился и вырос в балтийских болотах, подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две, и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос; если вьется вообще. Облокотясь на локоть, раковина ушная в них различит не рокот, но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник, кипящий на керосинке, максимум — крики чаек. В этих плоских краях то и хранит от фальши сердце, что скрыться негде и видно дальше. Это только для звука пространство всегда помеха: глаз не посетует на недостаток эха.

То, что меня более всего и всегда интересовало на свете — это время и то, что происходит с человеком во время жизни, что время делает с человеком, как оно его трансформирует. Оно тебя каким-то образом обтесывает, режет, доводит тебя до кикладской фигуры — без черт и лица... С другой стороны, это всего лишь метафора того, что вообще время делает с пространством и с миром.

...Современный человек невольно интересуется всякого рода развалинами — как новыми, так и древними, ибо струк-

турная разница между ними невелика, не говоря уже о пророческом элементе, присущем данной структуре. У наблюдателя возникает ощущение столкновения с гигантской тафтологией.

Дело в том, что у истории — так же, впрочем, как и у ее объектов (лучше — жертв) — вариантов чрезвычайно мало. Маркс утвер-



---

Составлено из фрагментов интервью разных лет и автобиографического эссе «Полторы комнаты». (Примечание составителей.)

ждал, что история повторяется: сначала как трагедия, впоследствии как водевиль; современный человек добавил бы, что – и как драма абсурда. На самом деле это неверно. История не повторяется – она стоит.

Мы все привыкли к линейному восприятию исторического процесса, что предполагает качественные изменения – в сознании ли людей, в структуре ли общества; в лучшем случае в мире идей. На самом деле мы можем говорить всерьез только об истории костюма; ибо генетически человек ничуть не изменился – за последние два тысячелетия, по крайней мере.

Что касается качественных изменений в человеческом сознании, то речь идет, во всяком случае, не о накоплении, но о потере – определенных понятий, идей, даже, если угодно, знаний, перекладываемых современником из головы в компьютер.

Мироощущение, присущее нашей эпохе, – вся эта фрагментарность, раздробленность сознания, неуверенность в иерархиях земных и небесных, осознание некой общей обреченности – авторами этой так называемой древности чрезвычайно подробно выражено.

Дело не в архетипичности мифов или даже конкретных исторических ситуаций, дело в большей – и более непосредственно выраженной – правде о человеке и о мире ...когда единственная призма, в которой мир преломляется, – ваш собственный хрусталик, когда даже слеза сознательным усилием из ока вашего удалена, чтоб избежать расплывчатости.

У читателя более или менее внимательного, в конце концов, возникает чувство, что мы – это они, и чем старше человек становится, тем неизбежней это отождествление. Дань устья, если угодно, своему истоку...

Речь идет не об амбиции. Речь прежде всего – о накоплении индивидуумом опыта, который тоже в свою очередь количественно ограничен временем, индивидууму на земле отпущенным. Орган, посредством которого мы рассматриваем историческое прошлое, есть, в сущности, тот же самый орган, с помощью которого мы созерцаем наше собственное, индивидуальное прошлое, и ощущение событий, давно происшедших с нами, смыкается с ощущением событий, свидетелями которых мы не смогли бы быть физически. У меня часто возникает ощущение, что я участвовал в битве при Марафоне, высаживался с Цезарем в Ливии, бежал с Ксенофонтом от персов...

Сказанное может показаться разновидностью шизофрении, но как объяснить тогда слезы, подступающие к горлу от чтения надгробной речи Перикла или от этой сцены в Анабазисе, когда солдаты отступающей, разбитой греческой армии после многолетних скитаний по враждебным провинциям Малой Азии внезапно видят с перевала свое греческое море и, обнимаясь и плача, восклицают, тыча пальцами в сторону синего марева: «Таласса! Таласса!»? Сила искусства, вы скажете. А я отвечу – единство сознания, единство мироощущения, присущего нам и тем, кто жил на земле до нас. Более того, я бы добавил, что сознание есть некая незримая субстанция, до которой всякий, пришедший в этот мир, рано или поздно доживает, как до седых волос; проще сказать – дорастает.

Так что когда сочиняешь сегодня стихотворение, сочиняешь его на самом деле вчера – в том вчера, которое всегда постоянно.

...Речь является реакцией на мир, своего рода гримасой в темноте или попыткой сдержать приступ рвоты. Защита?.. Нет, вероятнее всего, нет. Скорее, она вас обнажает. Но вполне возможно, что это обнажение является испытанием вашей сути.

Меньшее, что можно сказать: созидание некоей гармонии равнозначно тому, чтобы бросить хаосу: «Эй, ты не можешь меня сломать! Пока еще не можешь!»... Это «меня» в данном случае означает «всех нас».

Это, так сказать, способ преломления света и тьмы. Вы просто открываете рот... Открываешь его, чтобы кричать, молиться, говорить. Или исповедаться. Каждый раз что-то побуждает это сделать...

С движением времени становишься все более и более автономным, что можно даже сравнить с автономией если и не небесного тела, то, во всяком случае, космического снаряда. Становишься капсулой, запущенной неизвестно куда. И до определенного момента еще действуют силы гравитации, но когда-то выходишь за некий предел, возникает иная система тяготения. И там, как на Байконуре, никого нет.

...Человек движется только в одну сторону... И только – от. От места, от той мысли, которая приходит ему в голову, от самого себя...

Помню довольно хорошо: мать тащит меня на саночках по улицам, заваленным снегом. Вечер, лучи прожекторов шарят

по небу. Мать протаскивает меня мимо пустой булочной. Это около Спасо-Преображенского собора, недалеко от нашего дома.

Помню, как отец вспоминал прорыв блокады в начале 1943 года...

Мать, между прочим, тоже была в армии – переводчицей в лагере для немецких военнопленных.

В конце войны мы уехали в Череповец. С возвращением из Череповца связано одно из самых ужасных воспоминаний детства. На железнодорожной станции толпа осаждала поезд. Когда он уже тронулся, какой-то старик-инвалид ковылял за составом, все еще пытаясь влезть в вагон. А его оттуда поливали кипятком.

Помню, мы с мамой пошли смотреть праздничный салют. Стояли в огромной толпе на берегу Невы у Литейного моста... Мне... было всего пять.

Из тех лет сохранилось и другое яркое воспоминание – мой первый белый хлеб, первая французская булочка, которую я укусил. Война недавно кончилась. Мы были у маминой сестры... И где-то они раздобыли эту самую булочку. И я стоял на стуле и ел ее, а они все смотрели на меня.

Подобно большинству мужчин, я скорее отмечен сходством с отцом, нежели с матерью. Тем не менее, ребенком я проводил с ней больше времени: отчасти из-за войны, отчасти из-за кочевой жизни, которую отцу приходилось вести. Четырехлетнего, она научила меня читать; подавляющая часть моих жестов, интонаций и ужимок, полагаю, от нее...

Отца я впервые помню уже в самом конце войны, когда он приехал с Дальнего Востока. Пожалуй, даже не столько помню его, сколько фотографии того времени. Более или менее отчетливо я помню его уже в 1947 году. По образованию он был журналист, вернее, у него было два диплома: один – географического факультета; но потом, когда он понял, что как географу ему не придется путешествовать, он окончил Институт красной журналистики и работал фотографом – закавказским корреспондентом ТАСС, «Известий»... Все это было до войны и помнится мне довольно смутно... Затем, уже после войны, он два или три года работал в Военно-морском музее, куда я очень часто ходил... Где-то в начале пятидесятых – в газете балтийского пароходства под названием «Советская Балтика», у него там работал приятель, который ему помог устроиться... Отец проработал в этой газете до пенсии, то есть до начала шестидесятых.



Я никогда не забывал, что являюсь сыном фотографа и что моя память всего лишь проявляет пленку... Подобно тому как у других отмечают рост детей карандашными метками на кухонной стене, отец ежегодно в мой день рождения выводил меня на балкон и там фотографировал. Фоном служила... площадь с собором Преображенского Его Императорского Величества полка. В военные годы в его подземелье размещалось одно из бомбоубежищ, и мать держала меня там во время воздушных налетов в большом ящике для поминальных записок...

Дед мой был из кантонистов, он отслужил двадцать пять лет в армии, и у него была своя маленькая типография. Отец родился в Петербурге. На углу Гааза и Обводного канала был огромный шестиэтажный дом (я полагаю, он до сих пор стоит), и у отца там, на шестом этаже, была квартира, оставшаяся от родителей. Но в процессе уплотнения ему остались две комнаты. Потом, во время войны, в этот дом попала бомба, и поскольку комнаты были под самой крышей, то все и пошло прахом. Погиб огромный фотографический архив отца, чему он после отчасти даже и рад был, поскольку не осталось фотографий нежелательных лиц – репрессированных. Мы с матерью жили на улице Рылеева, в доме, выходящем на площадь перед Спасо-Преображенским собором. У нас была шестнадцатиметровая комната на третьем этаже. Потом, если не ошибаюсь, в пятьдесят втором году мы съехались на улице Пестеля, в доме Мурузи.

Этот дом стал в свое время архитектурной сенсацией в Петербурге. По словам Ахматовой, ее как-то привезли родители в экипаже показать это чудо. На западной стороне, выходящей на Литейный проспект, жил одно время Александр Блок. С нашего балкона Зинаида Гиппиус выкрикивала оскорбления революционным матросам.

С этого балкона... открывалась длина всей улицы, типично петербургская безупречная перспектива, которая замыкалась силуэтом купола церкви Св. Пантелеймона... Там, вдалеке, улица огибала, церковь и бежала к Фонтанке, пересекала мостик и приводила... в Летний сад. В этой части улицы некогда жил Пушкин, сообщавший в одном из писем к жене: «Да ведь Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях... Я в нем дома»... Его дом был, если не ошибаюсь, одиннадцатым, наш – номер 27...

Наш потолок, четырех с лишним метров высотой, был украшен гипсовым... в мавританском стиле орнаментом, ко-

торый, сочетаясь с трещинами и пятнами протечек от временами лопавшихся наверху труб, превращал его в очень подробную карту некоей несуществующей сверхдержавы или архипелага...

В коммунальной квартире у нас была одна большая комната, и моя часть от родительской отделялась перегородкой. Перегородка была довольно условная, с двумя арочными проемами — я их заполнил книжными полками, всякой мебелью, чтобы иметь хоть какое-то подобие своего угла. В этом закутке стоял письменный стол, там же я спал. Человеку постороннему... мое обиталище могло показаться чуть ли не пещерой. Чтобы попасть туда из коридора, надо было пройти через шкаф: я снял с него заднюю стенку, и получилось что-то вроде деревянных ворот.

Я был единственным ребенком в семье — так что приходилось меня любить. Я плохо учился, и это очень раздражало отца, чего он никогда не скрывал... Помню, как он расстегнул свой матросский ремень и выпорол меня, когда я натворил что-то ужасное, не помню уже что, а мать в это время кричала. Ну и что же! Я ведь не был против!

...Родители столько ругали меня, что я получил настоящую закалку против такого рода воздействий. Все неприятности, которые причинило мне государство, не шли с этим ни в какое сравнение. Вообще же отношения мои с родителями, особенно когда я подросток, были довольно замечательными, даже при всех этих неприятных воспитательных обстоятельствах.

Отец был замечательный рассказчик, я помню много его интереснейших историй. Когда меня в пятом или шестом классе несколько раз пытались исключить из школы, он меня, по-моему, не слишком защищал. Но однажды, когда он пришел на очередной педсовет, где ему в очередной раз стали выговаривать за мое поведение, он вдруг стал на мою сторону. Меня это даже несколько удивило. Я очень хорошо это помню. Учителя, в свою очередь, набросились на него за то, что он защищает такого подонка, как я, на что он ответил: «Ну что вы хотите, ведь это же по Брэму известно, что родители защищают своих детенышей». Для учителей это было, наверное, большим откровением.

Он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался,

всегда норовил вступить в спор, и я... думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать, генетический момент, кровный.

Вообще, жизнь в семье – это сохраняется навсегда... Молодой человек, он все время хочет жить по-своему, он хочет сам быть, создать свой мир, отделиться от всего остального... И когда родители умирают, ты вдруг понимаешь, что это-то и была жизнь.

Ведь как нам бывает интересно входить в чужие квартиры, как это все для нас соблазнительно. Это происходит оттого, что нам интересно входить в чужую жизнь. И то же самое можно сказать о родителях: мы вошли в некотором роде в их квартиру, эта жизнь была создана ими, мы все в ней знаем наизусть и до поры до времени не осознаем, что мы – тоже их рукоделие. И ничего не стоит это перевернуть.

Послевоенные годы многое сохранили от атмосферы повсеместных чисток, все друг за другом следили, и выключенное радио тут же вызвало бы подозрения, особенно если учесть, что мы жили в коммуналке.

Помню, как осуждали Ваню Мурадели и его оперу «Великая дружба». Но я не очень-то соображал, о чем все это? В семье у нас об этом не говорили. Но я помню разговоры о «ленинградском деле».

Помню, и очень отчетливо... Это было после дела врачей. ...Я заметил, что родители как-то странно смотрят на меня. «Да, знаешь, мы решили продать наше старое пианино». Надо сказать, что на нем никто и никогда не играл. Я удивился, и они стали объяснять, что нам надо переезжать. Я спросил: куда? Они попытались объяснить, что происходит. Но через несколько дней по радио объявили новость, которая отменила наше путешествие. Сталин умер.

Мне было двенадцать, когда все произошло. Этот человек – он был действительно вездесущ. Никто не допускал и мысли о том, что он может умереть, предполагалось, что он будет вечно нависать над нами. Три дня по радио звучал один только траурный марш Шопена.

Помню, в школе нас согнали в актовый зал, секретарь местной парторганизации вскарабкалась на сцену и стала толкать речь. Она была нашей классной руководительницей – старая-старая женщина, член партии с незапамятных времен: высшую награду, орден Ленина, ей вручал сам Жданов. Меня она ненавидела: во-первых, из-за того, что я был

евреем, во-вторых, всякий раз, сталкиваясь с ней, я не мог удержаться от смеха.

Как бы там ни было, она действительно была потрясена случившимся и в середине речи не то что разразилась слезами, но сорвалась на визгливый шепот. Она приказала нам стать на колени. Некоторые хлюпали носами, некоторым стало по-настоящему страшно. Я не плакал, я озирался по сторонам.

Нас в этот день довольно быстро распустили по домам. Вся наша большая коммунальная квартира ревела в кухне. Даже мать плакала, а отец – то ли он не был в этот день на работе, то ли только что вернулся, – лежал на кровати и так ухмылялся и вроде даже подмигнул мне, дескать, ничего страшного не произошло...

И еще, к слову об Иосифе Виссарионовиче... У отца была масса приятелей среди фотографов, и был такой Андрей Макарович Петров, по-моему, правительственный фотограф. Он снимал постоянно членов Политбюро и т.д. И у нас на стене висел подаренный им отцу портрет Сталина – очень хорошая фотография, без ретуши. Она у меня над кроватью висела. И помню, я как-то пролил чернила на эту фотографию. Это преисполнило всех нас страхом, ужасом. Понятно, коммунальная квартира... соседи заходят, выходят... они знают, что чернила пролиты, ну и т.д. И лишь отец был каким-то достаточно отрезвляющим элементом в этой истории...

Заведенные в школе порядки вызывали у меня недоверие. Во мне все бунтовало против них. Я держался особняком, был скорее наблюдателем, чем участником. Такая обособленность была вызвана некоторыми особенностями моего характера. Угрюмость, неприятие установившихся понятий, подверженность перепадам погоды – по правде говоря, не знаю, в чем тут дело?

Были и такие, в ком явно проявлялось бунтарство. С ними произошли разные неприятности. Припоминаю, что однажды мне пришла в голову мысль написать антологию о своем классе, и я стал разузнавать о тех, с кем вместе учился. Добрая половина из них по той или иной причине прошла через тюрьму.

На уроках все преподносилось в определенном ключе. Если, например, изучалась история, то не история как таковая: вам предлагались не факты или информация, а «факты», кем-то выбранные, подогнанные, все подавалось через при-

зму классовой борьбы. Изучали не Древний Рим, не Средневековые или новейшую историю – вместо этого приходилось слушать о борьбе рабов против рабовладельцев, крестьян против баронов, рабочих против капиталистов. Все это было невероятно скучно – даже если было правдой.

В русских школах множество стихов заучивают наизусть. И я радовался необычайно, когда учительница просила меня прочесть стихотворение вслух, а некоторые вещи с большим удовольствием учил. «Медного всадника»... я знал наизусть. Надо сказать, что в детстве для меня «Евгений Онегин» почему-то сильно смешивался с «Горем от ума» Грибоедова. Я даже знаю этому объяснение. Это тот же самый период истории, то же самое общество. Кроме того, в школе мы читали «Горе от ума» и «Евгения Онегина» в лицах, то есть кто читал одну строфу, кто другую строфу и т. д. Для меня это было большое удовольствие. Одно из самых симпатичных воспоминаний о школьных годах.

Я очень хорошо, например, помню, что чуть не остался в четвертом классе на второй год из-за английского: я понятия не имел, на кой мне эта абракадабра, и точно знал, что употреблять мне язык этот в дело никогда не доведется. Так же, например, как тригонометрию или конституцию. Впоследствии, когда я заинтересовался поэзией по-английски, я переэкзаменовку эту на осень ... не раз добром поминал.

Я учился в Петер-школе первые три года. До революции это было немецкое училище... Но в наше время это была обыкновенная советская школа... А Петер-школе чем замечателен: в ней учился – Альфред Нобель! Но там никаких следов его не было, всего лишь висел портрет Грибоедова – очень хороший. Я помню, что когда были выборы, я стоял около него в почетном карауле. Потом меня перевели на Моховую в 181-ю школу, потом в 192-ю.

В общем, я учился в семи или шести школах до восьмого класса, из которого я просто сбежал, во-первых, потому что мне все это уже осточертело, а во-вторых, в семье не очень благополучно было с деньгами, даже крайне неблагополучно. Мать работала, отец работал и этого едва хватало. И я пошел на завод, когда мне было пятнадцать лет, и стал фрезеровщиком. Сначала был три месяца учеником, потом получил разряд и работал около года.

Это был не самый приятный период в моей жизни, но я хоть застал пролетариат таким, каким его описывал еще Маркс. Три смены рабочих спали в одной комнате, в туалет

надо было стоять в очереди и так далее. Я узнал эту жизнь достаточно хорошо. При Хрущеве кое-что изменилось к лучшему.

При том что школу мне не удалось закончить, я еще пытался некоторое время сдать экзамены на аттестат экстерном, но из этого номера тоже ничего не получилось, потому что я очень сильно погорел на химии и на физике. Никогда ничего в этом не понимал... Тем не менее, у меня произошла некая фиксация на университете.

Я ходил туда вольнослушателем на разные лекции, но это тоже недолго продолжалось. Помню, пошел на лекцию такого человека по фамилии Деркач, который преподавал советскую литературу, и категории, которые он там употреблял – типа «упадочная литература» и т. п., – вывели меня из себя, и я перестал там появляться. Была некая аллергия... Но все-таки помню, как я ходил по другому берегу реки, смотрел алчным взглядом на университет и очень сокрушался, что меня там не было.

Я довольно много читал. Несколько раз в жизни мне предоставляли возможность долгое время читать и учиться. Никаких других «занятий» у меня просто не было. Чтение и разговоры с друзьями...

Когда я был ребенком, я хотел много разных вещей. Впервые, я хотел стать военным моряком или, скорее, летчиком. Но это отпадало сразу, евреям не разрешали летать на самолете. Потом я решил пойти в училище для моряков-подводников. Мой отец служил во время войны на флоте, и поэтому я был влюблен в морскую форму. Но это тоже отпадало, по той же причине.

Когда мне было шестнадцать лет, у меня возникла идея стать врачом. Причем нейрохирургом... И вслед появилась опять-таки романтическая идея – начать с самого неприятного, с самого непереносимого. То есть, с морга... И устроился туда... разрезал трупы, вынимал внутренности, потом зашивал... Снимал крышку черепа... В юности ни о чем метафизическом не думаешь...

Ушел я из морга главным образом потому, что приключилась одна неприятная сцена. Больница эта была областная. И летом очень много привозили детей. Пришел к нам в морг цыган. Я выдал ему двух его детей – двойняшек... Он когда увидел их разрезанными, то среагировал на это довольно буйно: с ножом в руке стал носиться за мной по моргу. А я бегал от него между столами, на которых лежа-

ли покрытые простынями трупы... Наконец, он поймал меня, схватил за грудки, и я понял, что сейчас произойдет что-нибудь непоправимое. Тогда я изловчился, взял хирургический молоток ... — и ударил цыгана по запястью. Рука его разжалась, он сел и заплакал. А мне стало очень не по себе...

После морга работал истопником в котельной. Но это продолжалось сравнительно недолго — может быть несколько месяцев. А потом началась работа в геологических экспедициях. Я мечтал путешествовать по свету... Но я совершенно не представлял, как эту мечту осуществить. И вот кто-то — не помню уж кто, может быть, даже знакомый родителей — сказал, что существуют такие геологические экспедиции... И что там просто нужны руки... И ноги... И спина, как потом выяснилось... В то время создавалась геологическая карта Советского Союза в миллионном масштабе. Вот и мы делали карту пород... И между прочим однажды, на Дальнем Востоке, я даже нашел месторождение урана — небольшое, но нашел. Несколько лет так прошло, а после этого, я уже не помню, работал фотографом, кочегаром, матросом... Смотрителем маяка, конечно, был... Это был маяк на выходе из Ленинградского порта...

Это мои университеты. И во многих отношениях — довольно замечательное время... Потому что это тот возраст, когда все вбирается и поглощается с большой жадностью и с большой интенсивностью. И на все, что с тобой происходит, взираешь с невероятным интересом.

Постепенно я начал писать... Это произошло постепенно, без драм и травм... Мне было восемнадцать или девятнадцать...

Пожалуй, запомнилось несколько мгновений.

...Я это очень хорошо помню, если вообще у меня были какие-то откровения в жизни, то это одно из них. Я шел по набережной Невы и остановился, держась за парапет, просто стоял и глядел на воду. И вдруг подумал, что воздух невидимо течет между моими ладонями так же, как течет вода. Эта мысль не показалась мне чем-то выдающимся — просто мне хотелось знать, а есть ли сейчас на набережной еще хоть один человек, кто думает о том же? И тут я понял, что что-то уже произошло...

Возможно, дело и в самой архитектуре, в самом чисто физическом ощущении города, когда ты оказываешься среди всех этих бесконечных, безупречных перспектив, среди

всех этих колоннад, пилястров, портиков и т.д. и т.д., ты вольно или невольно пытаешься перенести их в поэзию...

Послевоенное поколение совсем ничего не знало о русской литературе. Я думаю, в сталинскую эпоху что-то действительно произошло с людьми. Не то чтобы распалась связь времен. Это было просто новое время. Кроме того, я ведь не из семьи литераторов; и образование было в чем-то ограниченным. Мы кого-то читали, мы вообще очень много читали, но никакой преемственности в том, чем мы занимались, не было. Не было ощущения, что мы продолжаем какую-то традицию. Когда я уходил из школы, когда мои друзья бросали свои должности, дипломы, переключались на изящную словесность, мы действовали по интуиции, по инстинкту. И что замечательно – человеческая интуиция приводит именно к тем результатам, которые не так разительно отличаются от того, что произвела предыдущая культура; стало быть, перед нами не распавшиеся еще цепи времен, а это замечательно. Это безусловно свидетельствует об определенном векторе человеческого духа.

В детстве ... я не получил религиозного воспитания, в меня не вложили в готовом виде основы веры. Я все это осваивал самоучкой, а ведь только в детстве и может возникнуть представление о рае. Детство само по себе рай, твое счастливейшее время.

Я всегда считал, что Бог, или его Дух есть время. Раз Дух Божий поселился над водой, вода должна была его отражать... Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби, и, раз я с севера, к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и мы, я думаю, отчасти синонимы воды.

Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров серебряной амальгамы город словно бы постоянно фотографируем рекой. И отснятый метраж солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков...

Ленинград формирует твою жизнь, твое сознание в той степени, в какой визуальные аспекты жизни могут иметь на нас влияние. А этот город умеет это делать как никакой другой. Он содержит в себе всю историю цивилизации. Римские, греческие, египетские колоннады, китайские пагоды – здесь можно найти все. Это огромный культурный конгломерат, но без безвкусицы, без мешанины.

Для меня Питер – это и дворцы, и каналы. Но, конечно, мое детство predisposed меня к острому восприятию



индустриального пейзажа. Я помню ощущение этого огромного пространства, открытого, заполненного какими-то конструкциями, все эти начинающиеся новостройки... Ведь в той, ленинградской топографии, – это все-таки очень сильный развод, колоссальная разница между центром и окраиной. И вдруг я понял, что окраина – это начало мира, а не его конец. Это конец привычного мира, но это начало непривычного мира, который, конечно, гораздо больше, огромней...

Обводный канал, Нарвская застава – там вообще какой-то полный индустриальный потусторонний мир... Например, я всю жизнь обожал район Новой Голландии... Новая Голландия существует вроде как на отшибе, она как бы никому не известна... Это не центр города в известном смысле... Вот эта помесь индустриальности и культуры. Ну что... это рассказывать? Самое главное – ходить, вся та жизнь прошла пешком...

Наверное, для меня то время и есть родина.

...Окраины тем больше мне по душе, что они дают ощущение простора. Мне кажется, в Петербурге самые сильные детские и юношеские впечатления связаны с этим необыкновенным небом и с какой-то идеей бесконечности. Когда эта перспектива открывается... – она же сводит с ума...

Я, например, совершенно не мог бы жить в Москве (я пытался!). При всех ее сквозняках, при всем ее разнообразии, невероятных слоях истории, при всех этих парадоксах – прежде всего это место клаустрофобическое. Потому что – в глубине континента, там хоть три года скачи – ни до какого моря не доскачешь. И вот это для меня очень важно – край земли.

Что-то делается с тобой, и ты становишься не столько человеком пейзажа, сколько тем, что этот пейзаж в тебе создает, и уже это ты в себе несешь до конца дней.... Ведь это не столько ты сам пытаешься законсервировать пейзаж, эту идиоматику, сколько она тебя. И может быть, чем меньше ее видишь, тем больше она превращается в такой твердый иероглиф... Но, в принципе, живешь не в конкретном пейзаже, а в своем воображении, версии мира...

В мае 1972 года мне предложили уехать. На сборы дали всего несколько дней. В России таких предложений не делают. Если их делают, они означают только одно... Я не думаю, что кто бы то ни было может прийти в восторг,

когда его выкидывают из родного дома. Но, независимо от того, каким образом ты его покидаешь, дом не перестает быть родным.

Я помню себя в возрасте четырех лет, сидящим на крыльце дома в сельской местности, в зеленых резиновых сапогах, глядя искоса, глядя несколько вкось длинной, грязной улицы, размытой дождем. И постольку, поскольку мне известно, я все еще на том же самом крыльце.

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Родила тебя в пустыне я не зря.  
Потому что нет в помине в ней царя.  
В ней искать тебя напрасно.  
В ней зимой стужи больше, чем пространства в ней самой.  
У одних — игрушки, мячик, дом высок.  
У тебя для игр ребячьих весь песок.

Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе.  
Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе.  
Я тебя кормила грудью.  
А она приучила взгляд к безлюдью, им полна..

Той звезде — на расстояньи  
страшном — в ней  
твоего чела сиянье,  
знать, видней..

Привыкай, сынок, к пустыне.  
Под ногой,  
окромя нее, твердыни  
нет другой..

В ней судьба открыта взору.  
За версту  
в ней легко признаешь гору  
по кресту.  
Не людские, знать, в ней тропы!  
Велика  
и безлюдна она, чтобы  
шли века..  
Привыкай, сынок, к пустыне,  
как щепоть  
к ветру, чувствуя, что ты не  
только плоть.  
Привыкай жить с этой тайной:

чувства те  
пригодятся, знать, в бескрайней  
пустоте.

Не хуже́й она, чем эта:  
лишь длинней,  
и любовь к тебе – примета  
места в ней.

Привыкай к пустыне, милый,  
и к звезде, льющей свет с такою силой  
в ней везде,  
будто лампу жжет, о сыне  
в поздний час  
вспомнив, тот, кто сам в пустыне  
дольше нас.

## ЕСЛИ ОСМЕЛИТЬСЯ БЫТЬ

С тех пор как я себя помню, меня буквально завораживало существование какой-то таинственной «топографии» понимания человеком себя и мира, понимания, участвующего в том, как вообще может состояться человек? Ведь теми же самыми действиями, какими мы производим свою жизнь, мы, вместе с другими людьми, производим и ее образ. Но, как правило, этот образ сразу же отклоняется от того, что случилось и сложилось на самом деле, от действительной меры и пропорции вещей (именно этот смысл имеет старое латинское слово «рацио»)...

Мне всегда хотелось и самому разобраться и другим дать понять, почему люди, которые, бывает, стоят прямо перед лицом каких-то истин, все равно их не видят и не понимают. Ведь если один человек видит, а другой не видит, на это, очевидно, должны быть какие-то внутренние законы. Формула, что кто-то умен, а кто-то глуп и несообразителен, здесь не проходит. Это не проблема психологических, естественных дарований и способностей. Здесь чувствуется действие как раз своего рода «топографии», динамики путей, которые мы сами должны проходить (или не проходить).

Ломая голову над такими вещами, я и подумал, что, может быть, понимание начинается с того момента, когда ты оказываешься перед лицом некоей невозможной возможности. То есть ясного сознания «должного», человеку «подобающего» — и невозможности именно этой возможности! Когда от тебя требуется мужество невозможного. Мысль — отсюда! Если угодно, «жизнь моя решается», как и то, каков мир, — вместе с мыслью.

Мы должны сначала свой безответственный мир превратить в мир ответственности, где можно называть добро и зло и где поня-



тия «наказания» и «искупления», «греха» и «покаяния», «чести» и «бесчестия» имели бы смысл, существовали. Это равнозначно тому, чтобы нащупывать механизмы, способные трансформировать человеческие потуги бытия в развитие, в рождение, чтобы человек поверил в себя, в свои силы, стал доверять жизни, то есть той, которая ему доверяет, открывая дорогу «толчкам и родовым схваткам» всякой новой и самостоятельной силы.

Для пробуждения мысли можно начинать хотя бы с того, что нужно снять с себя идейные шоры, казуистику «государственного мышления», логику «общего дела» и обратиться к абсолютным, всечеловеческим ценностям и жизненным началам, к принципам самостоянья человека как человека. На что вообще способен (или не способен) человек перед лицом непреклонных законов цельности и полноты бытия?

Лично для меня, из более ранних лет, произведение, какое что-то по большому счету сказало, это — Булгаков. С «Мастером и Маргаритой» к нам — в те годы — пришла духовная раскованность. Люди, которые ничего не понимали, что происходит в жизни, вдруг снова почувствовали: духовность — это не болезнь. Как глоток воздуха был такой роман. Сам стиль его автора нес в себе что-то радостное, радость самого слова, живущего и движущегося по законам слова же (так в поэзии писал у нас Галактион Табидзе). А молодежь читала роман и убеждалась: быть свободным и духовным, быть человеком чести и идеала — нормально и весело!

В замечательной книге Натана Эйдельмана «Лунин» описан поразительный тип человеческого поведения, в основе которого лежало только одно понятие, но незыблемое — честь. В силу неуклонного ей следования Лунин понимал то, чего не понимали другие (идеологи декабризма, например), и открывал новые человеческие возможности, иначе невысказанные. Но ясно, конечно, что для этого нужно отстаивать свое право жить, как велит совесть и долг. Это же самое естественное и абсолютное, безотносительное человеческое состояние! Это ведь главная страсть человека — быть, исполниться, состояться.

Почему непосредственно после войны культура пополнялась людьми более интересными, чем сейчас? Да потому, что это были люди, опаленные войной, осмелившиеся самостоятельно, на свой собственный страх и риск быть перед лицом уничтожения и порабощения. Огнем дышали два дракона: один — в лицо, другой — в спину. И вот так вот опалившись,

люди обрели одну характеристику – совершенно четко очерченный и выраженный личностный хребет. В каком-то смысле это связано с войной. Здесь не прямая связь культуры с войной, а, на мой взгляд, связь с ней через феномен личности.

А последующие поколения, молодежь ... Я не вижу у них как раз того личностного хребта, той туго натянутой струны духа и характера, которые были у военного поколения. Они, может быть, и умнее, начитаннее, свободнее, более раскованы и, уж во всяком случае, более мобильны. Мы в свое время и мечтать не могли о тех достижениях НТР, которые сегодня доступны, например, любому студенту, о таком количестве книг, информации. Да и контакты у них разнообразнее. И вкус есть. Словом, заинтересованную молодежь можно увидеть везде, где можно получить какой-то интеллектуальный и нравственный заряд. Но беда в том, что все это носит, в основном, потребительский характер.

Посмотрите, когда естественным образом иссяк человеческий материал (я имею в виду интеллектуальный и моральный тип ученого, инженера и т.д.), унаследованный от довоенных и военных лет, какая ситуация сложилась в теоретической физике, в современной технике, в генетической биологии и медицине? Стало законом, что должно жить и имеет на это право... только все то, на чем лежит печать коллективной машины, особой анонимной и таинственной логики инстанций. И до сих пор не пропал страх перед собственными усилиями всякого человека.

Хотят обойтись без индивида, без индивидуальных сил, без человеческой развитости, не доверяют просто-напросто человеческому здравому смыслу и личным убеждениям, способности действовать из них. Но это невозможно по законам бытия, если отличать их от знания юридических норм! В этом все дело. То есть возможность обойти индивида исключена не в силу гуманистического предпочтения и заботы о человеке, а в силу непреложного устройства самого бытия, жизни, – если вообще чему-нибудь быть.

Уже Державин, понимал суть дела чисто философски:

Частица целой я вселенной,  
Представлен, мниться мне, в почтенной  
Средине естества ...  
Я связь миров, повсюду сущих,  
Я крайняя степень вещества...

А Пушкин?

Вращается весь мир вокруг человека,  
Ужель один недвижим будет он?

Феномен личности не менее таинствен, чем, например, такие великие находки эволюции, как лист растения, локальное устройство у летучей мыши, глаз человека, копыто лошади, или такие формы в технике и общественной жизни, как колесо, архитектурный купольный свод, нация и национальный язык, правовое общественное состояние, крестьянская семья и т.п. В этом смысле одинаково, я думаю, можно говорить как о личностной культуре, так и о культуре земледелия, культуре генетических форм и, вообще, всего живого и свято оберегаемого (то есть почитаемого в смысле «культы», от которого, кстати говоря, и происходит слово «культура»).

Откуда молодым людям быть личностями и уметь работать, если социальное омертвление и анемия лишили их интенсивной и полной жизни? Как молодым открывать себя и свою судьбу, если это можно сделать только на своих собственных испытаниях? В послевоенный период общество успело сползти в некий цепенящий абсурд. Мы имеем дело с трагикомедией ложных положений. На людей катится волна, слагаемая их сотен самых разнообразных, внешне не связанных, но по отдельности вполне осмысленных действий и ставящая людей в ситуацию, когда они должны надевать заранее заданные маски и действовать в соответствии с ними. Перед нами вязкая каша из противоестественной механики закона и невнятной внутренней правды, все обращено, взаимозаменяемо, зыбко и неопределенно, что и порождает не людей (то есть существ поступков), а нечто, в принципе неопишное. Человек не видит себя, не видит, что он делает на самом деле. Он как бы говорит себе: то, что я делаю и говорю, — это не настоящий я, у меня есть еще какая-то другая, глубокая суть, по сравнению с которой все это не имеет значения, и это все «они», я лишь вместе с ними, вместе с окружающими — среди людей ведь живу! Вместо того, чтобы принять все на себя, здесь и сейчас, и счесть, что нет для тебя никакого алиби.

Опасность здесь тем более серьезная, что в самой основе российской государственности уже был заложен отказ от внутреннего развития в пользу развития внешнего, экстенсивного. Как известно, в свое время Петр I сделал рабство фундаментом бурного расцвета экономики страны и ее госу-

дарственной мощи. В то же время он требовал от людей, «уложенных в основание пирамиды», проявлений изобретательности и инициативы, чудес предприимчивости. Он действительно, видимо, ожидал этого от них, не замечая в этом явного противоречия. В эпоху Петра I (и затем все больше) Россия достигла многого из того, к чему сама не была готова. А когда государство и его военная и экономическая мощь опережают общество и культуру (в том числе и культурное действие в экономике), за это всегда, рано или поздно, приходится расплачиваться. Расплачиваться за отставание внутреннего развития, «состоялости» людей, личностей, за пренебрежение ко всякому правосознанию и частному правопорядку, в том числе и к недвижимому порядку – «я мыслю и не могу иначе». То есть ко всякому существованию из собственного убеждения.

Конечно, жизнь вольна и спонтанна, дух веет там, где хочет, и цветок жизни пробьет даже асфальт. Был ведь Пушкин, были и сейчас есть и будут изобретатели, сыны и носители гармоний. Бахтин, например, всю жизнь не уставал работать «в стол», он знал, что «есть для избранных годы молчания...» Но что это? Молчаливый пример, что «рукописи не горят»? Да это было бы чистейшим лицемерием! Бахтин реализовал идеал молчания, изгнанничества и мастерства. Но это не может быть принципом организации жизни. Не только потому, что это не так просто – для работы «в стол» нужны мужество и терпение, особая моральная закалка, но и потому, что для этого нужна особая экстерриториальность собственного положения – завоеванная и выстраданная. Молодым людям эти столы могут просто взламывать.

Сегодня так же, как и в прошлом, нельзя специально вырастить кого бы то ни было. Речь может идти лишь об историческом человеке, то есть существе, орган жизни которого – история, путь. Существе, способном в себе останавливать круговорот дурных повторений, перестав порождать то, что порождается стихийно этим круговоротом. Не может быть школы «гения чистой красоты» и красоты свободы. Школой может быть лишь открытая школа исторического существования. А если в стране, уже как бы и привычно, вынужденно устанавливается подпольная и контрабандная форма существования культуры (в том числе, и экономической), то само по себе это тоже несомненный признак снижения и упадка культуры.



Культура, то есть вечность в настоящем, в существующем, нуждается в открытом пространстве и свободном слове. Это, очевидно, «врожденное» свойство культуры: она не может органично и жизненно полноценно расти в подполье, в глухой, не связанной словом (или, если угодно, «все-словом») жизни.

Есть закон названности собственным именем, закон именованности. Он — условие исторической силы, элемент ее формы. А это условие не выполнялось.

Для нас проблема не в том, чтобы пробить, пропихнуть куда-нибудь написанное, нарисованное, а чтобы суметь написать, нарисовать. Артикулировать. Ибо разрушено поле — поле возможной артикуляции, кристаллизации мысли, эстетического состояния, переживания.

Я бы сказал, что это — ситуация мертвой музыки. Не гонимой музыки — это один ужас, а еще больший ужас — мертвой музыки! Блок говорил: «Из культуры ушла музыка». А это ведь очень частое переживание нашей действительности — переживание мертвой музыки. Перед нами стоят ситуации, призраки, привидения, которые внешне бывают неотличимы от истины, от прекрасного, отличаясь только каким-то тоном. А именно — мертвостью этого тона. И мертвость эта показывает, что здесь что-то не то. Есть какой-то тон, который выдает фундаментальную разницу двух миров.

...У нас разрушен язык. Формально, язык есть, но он весь в раковых опухолях: это какие-то блоки неподвижности, которые ворочать нельзя, которые не способны к развитию, которые, будучи высказаны, не способны к движению в голове того, кто их услышал, кому ты их передал. Посредством этих блоков, где сцеплены десятки слов, невозможно никакое движение. Они не дают думать и не дают сказать, выжигают вокруг себя — эффективнее любого бича — пространство возможной мысли.

Что происходит на самом деле? Что есть? Если даже не названо... Невозможно узнать. Стыдливым парафразом произведена «смазь вселенская» всем особым интересам и состояниям. Глухое переплетение глухих жизненных побуждений.

Единственный шанс иметь будущее, а он же и шанс стать людьми — это, именуя, выносить наружу и осознавать беды и несчастья, а не загонять их вовнутрь, где они начинают двигаться и развиваться иррациональными, стихийными и

патогенными путями. Не врать. Не замещать действительность ее противоестественными дубовыми парафразами.

Неназванное разрушает сознание и души даже больше, например, самой войны, если ее жертвы не фигурируют в публично явленных воинских списках, а ритуал оплакивания их родными, ритуал гражданской памяти и боли не выполняется весь, полностью. Тысячи недоправд сцепятся, закольцуются и никогда не выйдут правдой на свет божий. Главное же тут в том, что магнитные линии силового поля нашего ума сразу выводят нас на уже существующие образы внешнего окружения, «врагов» «национальной безопасности» и т. д. Мозг человека един, и сохранять в себе этот «диалог средствами войны», с его разлагающим и развращающим ядом, — убийственно...

Духовное телесно. Оно имеет протяженность, объем, уходящий куда-то в глубины и широты. Это своего рода коллективное «тело» истории и человека, предлагающее нам определенную среду из утвари и инструментов души и являющееся антропогенным пространством, целой сферой. Это среда усилия. Для того чтобы что-то создать — любое, в том числе, и в сфере духа, — нужна работа, а работа всегда, в конечном счете, выполняется мускулами. Можно, если угодно, говорить о мускулах души, ума, гражданственности, историчности и т. д. Поэтому в человеческой и исторической реальности внешнее есть внутреннее, а внутреннее и есть внешнее.

Пушкин чуть ли не собственноручно, единолично хотел создать историю России. И принес себя в жертву своему принципу. Для меня очевидно, например, что он был выведен на дуэль не зряшной физической ревностью. Действительно, «невольник чести». Но чести не входящем, «полковом» ее понимании, а чести как устоя бытия, как элемента чуть ли не космического осмысления порядка и меры. В ней он утверждал и защищал также и гражданское достоинство и социальный статус поэта, всякого человека мысли и воображения. Пушкин сразу, резко оторвался от литературы своего времени. К 30- годам его уже не понимала собственная среда, даже ближайшее окружение и друзья, ибо эта среда была согласна продолжать быть тайным больным добром, тайной больной мыслью и больными прекраснопениями. А Пушкин менял сами рамки, почву проблем, основным элементом которой были собственнические притязания государственности на все плоды занятий мастеров своего дела, сведение их к какому-то юродивому довеску, к всеобщему бесправию, бездуховности.

Ведь если правдой и обязан своему отечеству, то это – правда прежде всего о себе. Только внутренне свободной мыслью и по законам слова она добывается.

Такие люди, как Пушкин, сами создают вокруг себя пространство для возникновения культуры и преемственности, истории, всегда чреватой новым бытием. Так что Пушкин, оказавшийся в Болдино, совсем не похож на какого-нибудь московского интеллигента, загнанного в свою внутреннюю жизнь и ушедшего в подвал где-нибудь на Сретенке или вообще в сторожа создавать свои гениальные работы. Есть разница!

Люди освобождаются ровно настолько, насколько они сами проделали свой путь освобождения изнутри себя, ибо всякое рабство – самопорабощение. «Внутренняя свобода» – это вовсе не подпольная свобода ни в социальном смысле, ни в смысле душевного подполья. Здесь слово «внутренняя» мешает, вводит в заблуждение. Это реально явленная свобода в смысле высвобожденности человеческого самостоянья и бытия. Так что «внутренняя свобода» это вовсе не скрытое что-то. Создавая на деле новое пространство и человеческие возможности, Пушкин (и вслед за ним многие другие в литературе) ничего не выражал, никого не «представлял», не «отражал» и уж, тем более, никому не поставлял предметов духа для «законных наслаждений». Пушкин, Тютчев, Достоевский, Толстой целую Россию пытались родить (как и себя) из своих произведений! Такие люди и сами были Россией, возможной Россией.

Это попытка родить целую страну «через звуки лиры и трубы», как говорил Державин, – из слова, из смыслов, правды. Потом уже, после революции, возникло новое, более личностное, критическое, а не миссионерское отношение к слову и его возможностям. Как я уже показал, «через звуки трубы» могли рождаться личности и к концу Отечественной войны. Но это оказалось таким же мифом, как и «звуки лиры». Что же касается последних, то сейчас многие даже и себя рождать из слова не могут. Что уж там до целой страны.

Есть проблема современного варварства, одичания. Сокровища культуры здесь не гарантия. Это очевидно в сегодняшней антропологической катастрофе, в появлении среди нас иносуществ, зомби, с которыми у «человека исторического» нет ничего общего. Цивилизации на Земле может не стать и до какой-либо атомной катастрофы и совершенно независимо от нее. Достаточно необратимых разрушений сознания,

последовательного ряда перерождений структуры исторического человека. Это же относится и к экологической катастрофе. Сначала умирает человек – потом умирает природа. То есть, я хочу сказать, что сначала появляется человек «из бумажки», а потом уже эта безродная потусторонность, не поддающаяся развитию, то есть имитирующая жизнь, властвует над природой – и умирает эта последняя часть ноосферы, часть нашей единственной естественности.

Мы хотим, прежде всего, жить, но жить так, чтобы быть принятыми миром и другими людьми именно в том, что мы считаем в себе самым живым, искренним и честным. Вот этот клубок вещей условно можно назвать «динамической вечностью», потому что как конечные существа мы внутри этой вечности не можем пребывать, не совершая усилия. Ведь человеческое достоинство не есть качество, которое может быть однажды завоевано; положено все время рождать его заново. И то же самое мысль – ее нельзя иметь. Мысль есть нечто, во что мы заново, снова и снова, должны впадать, как впадают в ересь, как впадают в любовь...

Мысль есть наш способ приобщения к тому, что есть всегда или всегда становится, всегда осуществляется. А если этого акта не совершаем, то наша душа и мы сами разрушаемся в потоке. Поток-то течет, он все уносит. Наложить на него какие-то обручи, сковать поток вечностью – это и означало бы стать вертикальным.

Это очень важный образ для описания состояния мысли. Естественным образом мы из состояния мысли выпадаем: наше внимание ослабевает, мы не можем на одном и том же уровне концентрации наших сил удерживать мысль... Поэтому, скажем, в евангелическом образе спящих апостолов (когда Христос обращается к ним с просьбой: «Хоть сейчас не спите, побудьте со мной») не содержится ничего психологически порицательного в адрес самих апостолов, здесь просто описывается удел человеческий. Все мы – засыпаем. Но одновременно этот образ указывает и на те моменты, когда у нас может быть мысль, а именно – когда мы бодрствуем во всем составе своего существа и напряжении всех доступных нам сил.

Необратимым нечто может быть лишь в человеке. Нужны индивидуальные точки необратимости, и важно, сколько будет таких «точек», в противодействие которых упирался бы любой обратный процесс распада и разрушения. По ним и выделяется тот или иной интеграл. Вера в человека только это

и означает. Можно верить и полагаться лишь на верящего человека, способного, веря, самого себя переделывать и совершенствовать. В своей точке, независимо от того или иного социального механизма. Ибо нет и не может быть никакого социального механизма, даже самого изощренного и совершенного, который мог бы обойти эти разрешающие индивидуальные точки: результаты самой усложненной системы все равно устанавливаются по уровню их разрешающей способности. Способности человека реализовать свое признание, в ответ на знак (время всегда дает знаки) проходить путь, извлекать опыт.

Человек есть всегда лишь попытка стать человеком. Возможный человек. И он всегда нов, так же, как всегда новое мышление. Но я вспоминаю Августина, который только с ужасом мог подумать о возможности снова оказаться молодым. И я, например, тоже не хочу, чтобы мне сейчас было снова семнадцать лет...

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЗВУЧИЕ

**Р**одилась я в городе Чистополе. Когда мне было семь месяцев, родители переехали в Казань. Детство и юность провела там. Потом переехала в Москву и все самое существенное в жизни пережила в Москве.

Конечно, чувствую себя москвичкой. Хотя благодарна Казани за все, что она мне дала, и чувствую там свои корни. Но все-таки...если говорить абсолютно честно, то моя родина – это земля и небо.

Сочинять я начала уже в раннем детстве. И как только нашлась учительница, готовая учить меня, родители сделали все возможное и невозможное, чтобы купить рояль. Тотчас было продано последнее, заложены какие-то облигации. Наша семья была очень бедной. Никаких игрушек. Очень мало книжек. И вся моя фантазия обратилась к роялю, который представлялся мне большим концертным залом, стоило только открыть крышку...

В детстве я была обделена природой. Казань – большой город, без растений, без деревьев. Мечталось о лесе, зелени, цветах... Ничего этого не было вокруг. И потому вся фантазия обратилась к небу...

Дело в том, что я росла в абсолютно антирелигиозной семье. Но я и не помню себя без веры. С самого раннего детства во мне жила интуитивная молитва. Никто меня этому не учил. И все звучание, вся музыка были как раз вот этой молитвой. То есть мой способ жить – это музыка как молитва. Помню, мы поехали за Волгу, где родители сняли домик. У хозяйки висела икона в углу. И я узнала лик Бога... Это была чистая интуиция. И не знаю до сих пор, откуда взялось это знание. У меня не было бабушки, тайно от родителей приведшей меня в церковь и



объяснившей что-нибудь. Тут тайна моей жизни, которую, наверное, никогда не узнаю.

И только когда я ушла из семьи, открылась возможность узнать и понять. Главную роль сыграла великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина, с которой мы подружились. Она была глубоко религиозным человеком, причем образованным интеллектуально и религиозно. Вообще-то я считаю, что религиозность – это талант. Если Бог дал человеку такое чувство...то дал талант, который надо беречь.

Не представляю себе искусство без обращения к небу, высшему идеалу. Абсолюту. Без этого я не могла бы что-то услышать. А если что-то и слышу в себе или у других композиторов, то воспринимаю это как путь, ведущий к Богу. Поэтому мне чужды взгляды первой половины XX века, когда деятели искусства говорили о том, что искусство самоценно. Протестую против самого этого слова – «самоценно». Во-первых, здесь возникает слово «цена», что уже противно. А во-вторых, в этом слове заключен такой эгоизм! В общем, без веры искусство вообще не существует... Нет художника, который бы сочинял стихи или музыку, не будучи религиозным.

С четырнадцати лет я уже осваивала очень большие партитуры. Отец помогал, когда нужно было их перекопировать, чтобы отдать дирижеру и исполнителю. Перекопировать означало сфотографировать нотные записи. Тогда очень трудно было достать нотную бумагу и линейки приходилось линовать самой. Мой отец – изобретатель, очень талантливый человек – сделал «лапки», чтобы можно было вычерчивать пятилинейный стан.

Отца любила очень. Мне кажется, и отец очень любил меня. Но у нас постоянно возникали идеологические споры и конфликты, потому что я защищала свою свободу, а родители привыкли к тому, что свободу нужно ограничивать или никак ее не выявлять. Это типичное поведение русской интеллигенции, которую сломала советская власть... Живут как христиане, все делают для людей, полны сострадания, трудятся, честны, но не верят...

Страх поломал все это поколение. Они приспособились к той жизни, и дальше уже ничего не могли с собой поделать. Такими свободными, как наше поколение, они быть не могли. Хотя наше поколение на самом деле тоже очень скованное. Но лично я не желала быть послушной, не хотела подчиняться догмам.

Вглядываясь в себя, поняла, что я скорее интуитивный человек. Талант мне дан интуитивный. Но для того чтобы состоялось высокое искусство, нужно обязательно овладеть и «формирующим» началом. Поэтому изучаю структурную работу других композиторов. И не только композиторов, а архитекторов, поэтов. Из этого черпаю опыт. А чувственность и темперамент во мне, конечно, сильны. И я не заглушаю их.

Два года, когда сочиняла «Страсти по Иоанну и Воскресение», – совершенно особое было время. С откровениями, невероятным погружением...

Но после крупного сочинения с большим составом оркестра мне очень хотелось камерной музыки. А камерная музыка – более сложная. Сочинила вещь для восьми виолончелей, «Мираж пляшущих солнц».

Если смотреть на солнце в ясный день, оказывается, что внутри оно ярко-голубое и только по краям золотое. От золота идут золотые стрелы, и этот диск вращается. Танец в рильковском смысле – пляшущее солнце... Тоже выстраданное, пережитое...

Существуют композиторы, которые исходят из какого-то «зерна». Они слушают это «зерно» и затем его развивают. Для них откровение в конце, а в начале – материя. Материя, которую нужно развивать, развивать, развивать... Преклоняюсь перед этим типом сочинителей. Но сама я – другой тип. У меня все самое существенное – с самого начала. И это начало моего слышания – оно вертикально и представляет собой какой-то совместно звучащий аккорд, «играющий» разными красками. Все мысли в нем напластованы. Столб излучает какие-то стрелы. Звучание их настолько сложно и запутано, что абсолютно не могу его воспроизвести...

Слишком многозначно. Как будто слышу все вместе, что для меня такой восторг...

Это не возникает за рабочим столом, а случается в момент прогулки. Иду и настраиваюсь на какой-то лад. Вдруг появляется звучащий столб. Я его не могу записать, проанализировать. Моя задача в том, чтобы это вертикальное созвучие превратить в горизонталь. «Время», протекающее в услышанном мною столпообразном аккорде, вертикально.

А то «время», в котором должна представить свое сочинение в виде партитуры – слушателю, дирижеру, исполнителю, – совсем другое, оно – горизонтальное. Процесс превращения вертикали в горизонталь оказывается каждый раз для меня «шествием на Голгофу». Чистое распятие. Каждый раз. Оно



и восторженное, и очень болезненное. Затем начинается работа – аналитическая и структурная. Мои черновики не требуют времени. Записываю то, что слышала, как попало. Мои черновики – чистая интуиция. Это пробы. А дальше уже работа с черновиками чисто музыкально, когда знаю конец своего произведения. Я знаю, что приду к нему, к этому аккорду, в конце. И поэтому у меня в первую очередь возникают эпизоды конца произведения или самого важного его момента. А уже потом какие-то отдельные фрагменты. И все это записываю в разных черновиках, очень плохим почерком, поскорее. Чтобы «время» горизонтальное и «время» вертикальное чуть-чуть приближались друг к другу. Наконец, когда все готово, когда знаю весь путь, сажусь переписывать свои черновики хорошим почерком в партитуру. Тогда течет горизонтальное «время». И получается, что таким образом возникает религиозная идея Преображения. Слышу вертикаль и делаю горизонталь. Крест. Искусство – это крест, жертва. Затем, когда дирижер представляет сочинение, исполнители играют, слушатель слушает, мое сочинение возвращается в изначальную вертикаль. Это и есть Преображение. Но для этого нужен талант композитора, талант дирижера, талант исполнителя и талант слушателя.

## ВРЕМЕНА ГОДА

Когда я думаю о времени, то ловлю себя на мысли о том, что последние лет двадцать-тридцать почти не чувствую его течения. Ощущение старения, некой тоскливой пресыщенности, которое наступает после сорока, мало что прибавляет к чувству времени. Да, нынешние фотографии, если сравнить их с прошлыми, на которых запечатлен автор этих строк, кое-что объясняют. Объясняют, в частности, что небытие не дремлет, что смерть трудится над чертами, стараясь привести их к нужному результату, как муравьи трудятся над созданием своей кучи, кропотливо и верно. Но время от этого не становится более ощутимым, оно пропадает или скрывается в глубине бодрствующего сознания. И лишь изредка, когда удастся вырваться в лес, вдруг чувствуешь смену его этапов, движение по кругу, которое остановится лишь тогда, когда будет вырублено последнее деревце. Похоже, известные слова о том, что «времени больше не будет», сказаны о нас, горожанах, и в каком-то смысле мы уже обитаем без времени в томительной и душной вечности, лишенные надежд и каких-либо духовных перспектив.

Однако в детстве смена времен года переживалась значительно острее, чем сейчас, и, мне думается, не столько из-за того, что маленький человек более восприимчив и раним, нежели взрослый. Просто мы с матерью жили на самой окраине Москвы, за всесоюзной сельхозвыставкой, которая в те далекие времена называлась... ВСХВ. Жили в двухэтажном бараке, прижатом с трех сторон обширными лесными массивами. С востока к нам подступал Лосиный остров, считавшийся вообще другим материком, и в него я попал уже в юности, недоумевая, отчего я не был здесь раньше. С севера за нашим баракom текла быстрая



Яуза. Уже в 50-х она была мутноватой, а сегодня превратилась в сточную канаву, что не замерзает даже в лютые морозы, а лишь дымится, как поставленная на огонь пустая сковородка. Раньше в ней попадалась доброкачественная рыба; последняя щука, по моим опросам, в наших краях была выловлена в 1959 году, а лещи водились до середины 60-х. За Яузой располагалось село Леоново с белоснежной церковью Ризоположения Пресвятой Богородицы, построенной в начале XVIII века. Эта церковь никогда не закрывалась, пережив и ленинско-сталинские погромы, и хрущевский «научный атеизм», и брежневское равнодушие. Ее желтые луковицы отражались в леоновском пруду, в котором плавала пара лебедей и время от времени кто-то тонул. В начале 60-х местная камвольно-отделочная фабрика спустила туда краситель, рыба всплыла кверху брюхом, а лебеди улетели и не прилетали больше никогда. За селом проходила (и проходит до сегодняшнего дня) кольцевая железная дорога, по которой грохотали грузовые составы. За железной дорогой начиналось Подмосковье с подрубленным лесом и садами, о котором ходили смутные и недостоверные слухи. Говорили, что владельцы частных домов укрывают краденое и что на кривые улочки забредают иногда дикие звери, в частности волки. О медведях я тогда не слышал, но, судя по тому, что теперь на этом месте построен микрорайон Медведково, косолапые встречались и там. Наконец, с запада к нам почти вплотную подступал Главный ботанический сад, включивший в себя бывшие лесные владения графа Шереметьева. Сохранилась и сама графская усадьба в Останкино со статуями во дворе, которые на зиму забивались досками от холодов и снега. Неугомонный Хрущев имел планы по отношению к этой местности. Он, в частности, хотел пустить электрички по окружной железной дороге и углубить русло нашей Яузы, чтобы по ней ходили прогулочные катеры с Москвы-реки до Ботанического сада. Но Хрущева сняли, и этим планам не суждено было сбыться.

Что сказать о климате тех далеких лет? Недавно мне попалась фотография, снятая в нашем районе в конце 50-х. Огромные сугробы. Я стою в валенках, а над головой нависают ледяные горы... Зима была холодной, а лето горячим. Звучит банально, но скоро и это нехитрое утверждение будет рассматриваться как чудо. Где, скажите мне, ледяные узоры на стеклах наших домов, которые можно было рассматривать часами? Где хрустящий под ногами снег, искрящийся на

солнце до рези в глазах и почесывания в носу? Но, справедливости ради, следует отметить, что снег в те годы быстро чернел, так как в каждом дворе находилась своя автономная котельная. Когда вода остывала, то кто-нибудь из жильцов дома спускался в подвал и просил вечно пьяных кочегаров подпустить тепла. Во дворах лежали груды таинственного шлака, которые один поэт сравнил со скомканной копиркой. Но начиналась весна, и в робких проталинах сначала показывался лед, а уже под ним обнаруживалась сонная, а потом все убыстряющая свой бег вода.

Я стою в маленьком дворике и лопаткой тараню хрупкий лед. Длинные тени деревьев ложатся на желтые стены барака. В воздухе тянет сладковатой сыростью... Через месяц отец подойдет к березе, ткнет ее ствол изо всех сил, и на меня посыпятся тяжелые, как оловянные солдатики, майские жуки.

Мы с мамой жили в пятиметровой комнате, выходившей в длинный и гулкий коридор. Мама очень гордилась, что у нас не было клопов, но сама указывала, мол, у соседей клопов полно. Возможно, что все другие обитатели коммуналки говорили то же самое. Клопы, по-моему, действительно водились выборочно, в старых диванах и бабушкиных сундуках. Их травили керосином, и они являлись почетной темой душевного разговора, как сейчас такой темой являются, например, домашние животные. Тогда собак и кошек в квартирах почти не держали из-за всеобщей тесноты и скученности.

Холодов в бараке я не помню. Но зато помню, как дом разрушался на глазах, как отслаивалась штукатурка, обнажая тощую арматуру. Довольно часто отключали электричество, особенно в грозы, и барак погружался в зловещую тьму, совершенно безнадежную, ибо казалось, что свет не включится никогда. Особенно было обидно, когда по телевизору в это время шло какое-нибудь кино, например «Чапаев» или «Путевка в жизнь». Эти фильмы показывали чуть ли не каждый месяц, и их смотрели все с покорным удовольствием, потому что другие были еще хуже. Все-таки в «Чапаеве» витала развеселая бандитская удаль, которая в пятидесятых была чрезвычайно популярна и соблазнительна. Замаскированная революционным пафосом, она гнездилась и в самом Чапае, и в Петьке, а в «Путевке» вообще действовал бандюга в исполнении артиста Жарова. И зрители у экранов, по моим скромным наблюдениям, реагировали прежде всего на разбой как приемлемую альтернативу своему существованию, а не на

классовую патетику. Телевизоры назывались «КВН» и имели экран величиной со спичечную коробку. К нему приставлялась специальная увеличительная линза, похожая на аквариум, делающая экран немного больше.

Вообще привкус уголовщины всерьез обитал в наших краях.

Где-то неподалеку находилась легендарная Марьино Роща. Говорили, что банды оттуда захватывали целые трамваи и троллейбусы, давали водителю червонец, чтобы тот без остановки гнал на Сельскохозяйственную улицу, к нам, и где-то в районе стадиона «Искра», что был рядом с нашим домом, происходили битвы Сельхоза с Рощей. Считается, что сейчас высокая преступность. С этим, конечно, не поспоришь. Однако народ нынче какой-то потрошенный, несвежий, неэнергичный. Толпа же пятидесятых отличалась от нашей не только тем, что была однообразно и серо одета, но прежде всего бурлением страстей, общей подвыпитостью и разудалой силой. Смех, компания, гитара или гармошка, гордость своим телом и желание тотчас же, всем миром разрешить назревшие проблемы... Я помню, как однажды у открытого кафе на ВДНХ в кустах закричала какая-то молодка. Мужская половина кафе, оставив свои твердые, как подметка, шашлыки, бросилась в кусты на помощь, а потом разочарованно возвратилась назад, потому что рукопашной не получилось, а влюбленная парочка из кустов со стыдом бежала... Очередь в рестораны, особенно удлинившаяся в шестидесятые. Коллективные походы на футбол. Пиво, раки. Газированная вода на улицах – две стеклянных колбы на белой тумбе, тяжелый баллон сжатого газа и дородная тетка в заляпанном белом фартуке. «Налейте, пожалуйста, побольше сиропа. И, ради Бога, вымойте получше стакан». Дворники с бляхами, посыпающие зимние дорожки песком. И конечно драки, заварухи, пинки, пендели, затрешины, фингалы, в общем, рукоприкладство всевозможных мастей.

Стадион «Искра», располагавшийся через улицу, как раз и был подобным местом, где страсти сталкивались, разжигались и опустошались с поразительной быстротой и силой. Поводом к опустошению страстей служили футбольные поединки между командой камвольно-отделочной фабрики, например, и командой киностудии им. Горького. «Кутила, газ!» – дико орали подвыпившие трибуны. И центрофорвард Кутилин в поношенных сатиновых трусах линияло-серого цвета прорывался в штрафную площадку противника и,

конечно, мазал, мазал, мазал... Тут же начинались потасовки. Не кровавые, хотя трупы время от времени находили на утренних улицах, но они, эти трупы, не имели к самостоятельному футболу прямого отношения. О них рассказывали соседки таинственным шепотом, прибавляя к этому столь живописные детали, что белый свет мерк и бытие Божие представлялось сомнительным. «Ах, какой молоденький! А внутри ничего нет, ни печеночки, ни сердечка. Все вырезали. Пустой». «А старичка-то видали без носа? Участковый говорит, что отрезали. Кто-то носы коллекционирует, так-то...» «А девочка? Что с девочкой-то сделали?.. Трусики в стороне лежат, а сама-то пьяная!.. Мамочке своей в лицо плюнула!» Короче, пересказывать все это даже не хочется.

\*\*\*

Но лучше от коловращения жизни уйти в лопухи, репей и там упиться заброшенной красотой окраинной природы. Стадион был построен среди леса на покатом склоне Яузы и состоял из двух футбольных полей и одного небольшого административного здания. На окраине чернела небольшая сосновая роща, где среди бурых иголок попадались лоснящиеся маслята. Много было и мухоморов, выглядевших таинственно и сказочно. Через Яузу был перекинут старый деревянный мост. Мама иногда брала меня на тот берег, к пруду, в село, где можно было застать пасущихся коров и коз. В церковь мы никогда не заходили, а, обогнув ее, шли через сельский погост к насыпи железной дороги. Садились на зеленую лужайку и ждали проходящего поезда.

Солнце в зените, и июньская зелень окрашена в теплый желтый цвет домашнего теста. Я жадно вдыхаю тревожный мазут железной дороги, и сердце мое наполняется предвкушением чуда. Чудом будет адский паровоз с красной звездой на лбу, внутри которой светятся профили Ленина и Сталина. Он пройдет величаво и тяжело, как слон из джунглей, ведя за собой вагоны с углем. Мы замашем руками и закричим что-то машинисту, а он, наверное, не услышит. Машинист ведь гений, в обязанности которого входит поддерживать вечный огонь в гигантской печи. Что ему радости и горечи человеческие, что ему до двух маленьких человеческих существ на склоне? Он, гений, прокладывает новые невиданные пути в пространстве, едет куда-то со своими вагонами, и сам не знает куда. Ну и Бог с ним, пускай едет. Мы же, усталые и довольные, возвратимся домой к сковородке с жареной кар-

тошкой, и будем самыми счастливыми на свете. Во всяком случае, я. Потому что сегодня я видел собственными глазами черный паровоз, и дым валил из трубы. И вряд ли подобное чудо повторится в ближайшем будущем. Теперь не скоро выберешься с мамой на склон, не посидишь, собирая в траве обуглившуюся на солнце землянику, потому что холодает, роса становится крупной, и приходится надевать резиновые сапоги.

\*\*\*

Мой отец приходил домой не часто, а когда приходил, то ложился на раскладушку и тяжело стонал, потому что жизнь его гнула. А он, соразмеряясь с самобытной силой, гнул, в свою очередь, ее и, казалось, вот-вот переломит, как надоевшую проволоку. Откуда взялся у нас этот чернявый веселый человек, долгое время оставалось для меня тайной. Лишь однажды, когда я был уже подростком и фраппировал общество битловской прической, мама открыла мне кое-какие домашние секреты. Она, оказывается, познакомилась с ним в Туле, когда в качестве ассистента кинорежиссера находилась там на съемках какого-то фильма. При знакомстве, обстоятельств которого я не знаю, отец довольно долго разглядывал ее в упор, а потом представился человеком, только что сбежавшим из тульского следственного изолятора. Мама онемела. Надо заметить, что в те далекие годы она была довольно хрупкой, читала взхлеб Эриха Марииу Ремарка и любила трофейное кино с Кларком Гейблом. И спуститься с высот Эриха Марии к человеку из следственного изолятора было для нее непросто в духовном смысле. Колька же, мой любимый папаня, мягко, ненавязчиво объяснил ей, что солнце всходит и заходит, что опера, как волки поганые, лютуют, что век свободы не видать, что он землю могильную жрать будет, коли соврет, «елочку» себе сделает, буркалы выколет, едальник на замок закроет и падлой вербованной сгинет — пропадет. Сгинет-пропадет при том условии, если мама его сейчас же не увезет с собой в Москву, а ксивы у него чистые, только что срисованные с настоящих, и пятак вместо герба отгиснут, комар носа не подточит, и доктор без стетоскопа не отличит. Тут моя мама дрогнула, дала слабину. В Москве они зарегистрировались, и я вскорости появился на свет.

В моем сознании приходящий и уходящий куда-то Николай был равен машинисту со склона, а возможно, даже

превышал своей таинственной нутряной силой. Первое чудо батя совершил, когда мне не было и пяти.

Как-то мама пришла в комнату и возбужденно сообщила, чтобы я срочно шел на кухню, что там отец сделал большое дело, но она понимать это отказывается, потому что для понимания сотворенного Николаем требуется точный научный ум, скальпель логики и способность математического анализа, а она всего лишь гуманитарий, скромный труженик художественного фронта... Заинтригованный, я вышел в темный коридор, в котором вечно не горела лампочка, и, выставя руки вперед, двинулся на кухню. Там находился отец и что-то делал с рукомойником. Увидев меня, он открыл кран с холодной водой и подставил под него эмалированную кружку. «Пей, Сашка», – коротко приказал он, протягивая мне шипучую воду. «Я не Сашка, я – Юра», – робко напомнил я, глотнул воды и... о чудо! В кружке вместо нее оказалась газировка с грушевым сиропом. «Еще?» – победоносно спросил отец. Я в замешательстве кивнул. Снова зашумела холодная вода, и снова в моей кружке оказалась шипучка. «Мы теперь всегда ее будем пить вместо воды?» – спросил я. Николай весело кивнул. И здесь я заметил, что к трубе прикреплена какая-то громоздкая насадка, напоминающая сегодняшние очистители воды. «Рентгеновский преобразователь, – объяснил папая. – Облучает все, что может и что захочет. Может воду превратить в газировку, а может и в вино, и в водочку, черте во что может, вот так». «Еще», – попросил я и выпил шипучки по новой. Лишь на пятой кружке отец отвинтил свою насадку, сказав, что я так всю воду выпью и взлечу вверх от проглоченных кислородных пузырей. Я нехотя согласился и пошел в комнату объяснять матери принцип действия замечательного аппарата.

После этого чуда отец снова пропал, а я однажды обнаружил на кухне пустые бутылки из-под газировки. В душу мою закрались черные подозрения. И когда Николай появился снова, я пытался разузнать у него насчет пустых бутылок, откуда они взялись, и не из них ли лилась ко мне в кружку сладкая вода... Но отец только рукой махнул. К тому времени он уже обменял свой преобразователь на свинцовый пугач, обменял у цыгана-старьевщика, который ходил тогда по дворам, собирая всякую дрянь. Подмигнув мне, отец сказал, что будет теперь жить своим умом, что тявкать с голоса фраеров гундявых не приучен, и, засунув свинцовый писто-



лет в голенище кожаного сапога, ушел вон, громко хлопнув дверью.

Позднее из рассказа мамы я понял причину его возбужденного состояния. Дело в том, что мама, думая бессонными ночами о семейном будущем, решила, будто все внутренние перипетии происходят у нас оттого, что Николай некультурен. Придя к такому простому выводу, она попыталась всучить отцу Эриха Марию Ремарка, но тот категорически отказался читать книгу и даже спрятал руки за спину. Но мама не сдалась. В ее сознании культура значила в основном артистическую среду, и она не нашла ничего лучше, как устроить Николая монтером-электриком на киностудию Горького. На это отец с радостью согласился, заметив, что ток у него в руках поет и что он ласковый, как кошка, если даже в нем триста вольт без изоляции... В доказательство своих слов в первый же день работы отец запустил телефоном в голову директора студии, запустил точно и сразил наповал, директор брякнулся с кресла на пол, и глаза его закатились. А папаня, скрипя начищенными сапогами, гордо удалился из кабинета, обтирая руки о спецовку. На дворе стояло послесталинское время, отнюдь не либеральное, отца после этого подвига вполне могли погнать по этапу. Но директор студии оказался гуманистом и романтиком, он не вызвал милицию, а просто завязал голову бинтом и уволил Кольку по статье. После этого папаня и купил у цыгана пугач, пропав из дома на довольно продолжительный срок.

Наступила осень с проливными дождями. Стекла барака туманились и потели. Приходилось много сидеть дома, и я занимался в основном оловянными солдатиками, планируя на полу будущие битвы, трудные штурмы и звонкие победы, в которых я должен был принять непосредственное участие. Вдруг дверь в нашу крошечную комнатку отворилась, и на пороге возник отец, весь седой и согбенный. Мама всплеснула руками, и губы ее затряслись. А Николай голосом, лишенным приятности, сообщил, что проигран в карты. Проигран вчистую, до нитки, до ногтей. Оттого и поседел за одну ночь. Теперь у него два пути – или ножичком по шее вжик-вжик, жмуриком на вешалке щуриться и навозом на свалке гнить, или отдать корешам долг. Но он выбирает первое, а именно вжик-вжик, потому что это достойный выход из создавшейся ситуации. Он пришел попрощаться со своими родственниками, как он выразился, и сейчас же выбрасывается из окна. Поцеловав нас, он взобрался на подоконник и защелкал

шпингалетами оконных рам. Мы бросились к нему, начали стаскивать его на пол, голосить, будто нас проиграли в карты, а не его. В порыве страстей мы даже забыли, что живем на первом этаже. Ну, бросился бы папаня вниз, ну упал бы на мокрый куст, что из того? Промочил бы ноги и вымазался в грязи, не более. Но мы уже сами не соображали, что делали. Мама достала из тайника буфета несколько золотых червонцев царской чеканки, доставшихся ей в наследство, — все состояние, которым мы владели. Завернув их в носовой платок, подала отцу. Тот скупно поблагодарил и удалился, прихрамывая и сутулясь, как настоящий старик.

Через некоторое время он возвратился домой цветущим, черноволосым, а на щеках играл бледный румянец. «А седина?» — поинтересовалась мама. «Смыл, — признался отец, жуя картошку. — Пепел от «Беломора» легко смывается. Очень нужны были деньги, понимаешь?» Здесь мама опустилась на старенький диван и громко заплакала. Отец с досады ударил кулаком по столу и погнул вилку.

Что я еще помню о нем? Помню, как один раз мама нагроутила его почетной обязанностью прогулять меня во дворе. Сквозь тусклую осень проглянуло ослепительное весеннее солнце. Мы направились с ним в район стадиона. Зашли в какой-то барак, в узкую комнату, заваленную пустыми бутылками. Среди бутылок сидел человек с золотым зубом и перебирал струны желтой гитары, нежно оглаживая ее, как женщину. К грифу гитары был прикреплен яркий красный бант.

Потом отец опять исчезал и опять находился. И один раз нашелся в последний раз. В руках он держал шлем от глубоководного скафандра. Сказал, что с него хватит, что он ложится на дно и будет там лежать в иле и песке столько, сколько надо. В доказательство своих слов он надел на голову шлем, лег на раскладушку и задышал. Мы сидели вместе с мамой на диване и с ужасом слушали дыхание загадочного глубоководного существа, многократно усиленное гулким шлемом. Наверное, в эти мгновения в душе у мамы родилась мысль о невыносимости совместного существования с глубоководным Николаем. На следующий день она категорически потребовала его ухода, что отец и сделал с легкостью, сообщив, будто он уже давно собирался ехать в Крым на археологические раскопки сокровищ древних греков. Быстренько собрав чемодан и пообещав мне привезти древнюю амфору, он пропал. Пропал, как выяснилось, навсегда.

Примерно через год мы прочли в газете заметку о том, что в Симферополе пойман опасный вор-рецидивист по кличке Археолог. Был ли это глубоководный Николай? Неизвестно. Но доподлинно известно то, что папаня действительно отсидел, уйдя из нашей семьи. Причем не один раз.

Где он теперь? Что с ним? На этом ли свете или на том? Великая тайна. Но его имя я продолжаю ставить сразу же после своего, подписывая различные документы и договоры. Странно все это...

\*\*\*

Однако я бы соврал, если бы утверждал со всей решительностью, что в те далекие времена люди ели одну картошку. Я представляю октябрьский ясный день, мы едем на Маломосковскую улицу, где расположен магазин «Рыба». Высокий сталинский дом с толстыми, как у пирамиды, стенами, на первом этаже – магазин. Направо – живая рыба, которая нас не интересовала. Налево – икорный ряд. Икра черная и красная нескольких сортов, икра паюсная, икра щучья и еще бог знает какая. Причем не в банках, как сейчас, а на развес. Несколько продавцов, к каждому стоит небольшая очередь, человек десять-пятнадцать. Мне в очереди стоять чрезвычайно не хочется, и я развлекаюсь тем, что рассматриваю роспись потолков и стен, отделанных мрамором. В те далекие времена расписывали не только станции метро, но и магазины. Живопись, конечно, была неважной, но для меня имела первейший интерес. Меня не трогало то, что мама томила в очереди за икрой к моему дню рождения, к своему она никогда подобных излишеств не покупала. Мне была интересна живопись, я погружался в нее и, задыхаясь, переносился в другой мир.

Волны моря перекачивались через штукатурку рыбного магазина. Несколько мускулистых рыбаков, перевесившись за борт маленького баркаса, тащили из пучин гигантскую рыбину. У рыбины был острый профиль и немного подслеповатые заискивающие глаза. Будто она сама извинялась перед рыбаками, что такая тяжелая. Общим выражением морды она напоминала чем-то детского поэта Михалкова. Рыбаки тужились и никак не могли втащить ее на борт. В одном из рыбаков мне чудился отец.

Другая фреска изображала подводные глубины. Кораллы, водоросли и прочие водяные джунгли были прорезаны студнями медуз, словно поданных на тарелке, подводными змеями и осьминогами, напоминавшими косматые головы

бродячих философов. От этого становилось страшновато. Я воображал, что мне скорее всего придется однажды в жизни очутиться на дне в глубоководном скафандре. Запас кислорода кончится в самый неподходящий момент, шланг запутается в кораллах, на корабле забудут, что кого-то опустили на дно, и уплывут по своим делам, оставив меня одного. Я попробую уцепиться за медузу, она выскользнет из рук, оставив на тяжелых перчатках слизь. Нападет осьминог, но я отгоню его гарпуном. Только морской конек, пожалуй, унесет на поверхность океана, где случайное судно американских рыбаков поможет моей ноге обрести твердь...

Следует заметить, что когда, много позже, я очутился в Третьяковской галерее, то живопись, увиденная там, за исключением Христа в пустыне, мало чем поразила мое воспаленное воображение. Она, эта живопись, сильно проигрывала фрескам из магазина «Рыба» и не имела соотношений с моей судьбой. Разве представишь себя, например, на войне 1812 года? Не представить, не захочется. Не увидишь себя в живописи передвижников, скажем, среди тех детей, что запряжены в тележку и везут ее, надрываясь... Зачем, куда?! А вот рыболовом себя представишь, и соленые брызги Каспия, которого до сих пор я никогда не видел в реальности, будут тревожить и разъедать душу...

Что же мы делали с купленной икрой? А ничего. Зарплаты мамы хватало граммов на сто, и в течение всего месяца она вынуждена была отказывать себе в самом необходимом. Икру она не ела, сэкономила, оставляя мне. В газете прочла, что маленьким детям необходима икра. А я не ел икру, потому что она была мне противна, особенно в свежем виде, ибо напоминала внутренности глубоководных существ. Когда икра, полежав, твердела, то я брал в рот несколько шариков с внутренним равнодушием... Сейчас это звучит почти кощунственно, но в 50-х сей продукт не считался дефицитом, он был просто дорогой высококалорийной пищей, доступной изредка советским людям, особенно, если они проживали в городе Москве.

В 60-х, почти одновременно со снятием Хрущева, исчезла и икра. Мы как-то поехали в году 65-м на свою Маломосковскую... И что же? Магазин стоял на месте, но рыбы в нем уже не было. На наших глазах он срочно переоборудовался в обыкновенный продовольственный, торгующий консервами и мороженым мясом. Мясо, в свою очередь, пропало через десять лет, а тогда я с ужасом наблюдал, как маляры

длинными кистями закрашивают на потолке море. Мазок – и пропала усатая рыбина. Другой – и мускулистые рыбаки превратились в бледные привидения. Осьминог был острижен наголо и стал напоминать зека. Медузы высохли вместе со свежей побелкой. Наступало другое время и другая эпоха. Отходили в прошлое коммуналки и странно связанная с ними черная икра, которую никто не ел из экономии, и она в итоге доставалась дворовым кошкам. Скучно на этом свете, господа...

\*\*\*

Утро начиналось с гортанных криков под окном: «Старые вещи покупаю, старые вещи покупаю!..» Я просыпался и сладко потягивался в своей узкой постели.

Это кричал цыган-старьевщик, приехавший на телеге с лошастью. Он, конечно же, кричал неправду. Что он мог заплатить за барахло, которое наваливали в его телегу? Ровным счетом ничего. Но у цыгана было кое-что поинтереснее денег. Этим «кое-что» являлись пугачи-пистолеты, серебряные и блестящие, как елочные игрушки, и к ним – серные шашки величиной с таблетку. Закладывалась такая шашка в ствол, спускался курок, и специальная игла на пружине (вылитое шило из перочинного ножа!) ударяла в серу. Раздавался мощный выстрел, из ствола вырывалось пламя, и обезумевшие грачи вспархивали с газонов. Тогда, кстати, ворон в Москве было гораздо меньше, чем сейчас, и птица грач служила верным погодным предсказателем – по ее прилетам и улетам взрослые люди судили о сменах времен года. И если среди безнадежного мороза показывался вдруг горделивый чернец со светлой полоской на клюве, – жди весны в самое ближайшее время.

Кричал цыган, но мама не пускала меня к нему, потому что ей кто-то сказал, будто цыгане воруют детей. Значит, пугач пролетал мимо, не будет у меня ни пистолета, ни патронов. Но внутри дня существовали другие уникальные возможности, которые предоставляет нам детство. Например, можно было позвонить самому себе по телефону. Набрать собственный номер, начинавшийся с букв АИ-1, и замереть в ожидании чуда: вдруг на другом конце провода подойду я сам и можно будет поговорить с моим двойником? Я набирал и все время натякался на короткие гудки. Лишь однажды раздался длинный, кто-то снял трубку на другом конце провода, но я бросил свою на рычаг от чувства inferнального ужаса. Если бы

тогда разговор с самим собой по телефону состоялся, то жизнь моя пошла бы по-другому. Правда, не знаю, лучше бы мне стало от этого или хуже...

Можно было выйти во двор и поиграть в песок. Интерес от этой игры был немалый — в песке и вообще в земле попадалось множество ракушек, и мне думалось, что мы живем на дне высохшего океана. Я коллекционировал их, складывал на подоконник, ракушки ассоциировались с исчезнувшими доисторическими животными, о которых я узнавал из книг. Читать я тогда не умел, но очень любил рассматривать картинки, особенно в научно-популярной литературе, — гигантский динозавр пьет воду из прозрачного ручья, над ним кружится птеродактиль, а я при этом чувствую свою полную безопасность. Иногда во двор заезжал сосед на мотоцикле, живший на первом этаже и хранивший свое чудище в коридоре на пути к ванной. Я жадно нюхал вонючий бензин, превращаясь в токсикомана, и любовался загнутыми мотоциклетными рогами в коже, чтобы не скользили руки.

Наконец, день сулил две выдающихся возможности — поход на сельскохозяйственную выставку и посещение аттракциона «Мотогонки по вертикальной стене». Был там один лихач с фамилией, кажется, Айказуни, ни до, ни после я никогда не слышал подобных фамилий, он до сих пор представляется мне античным героем, а вовсе не человеком. Этот Айказуни гнал грохочущий мотоцикл по круглой, в форме замкнутого стакана, стене. Ему прислуживала лихая ассистентка с распущенными волосами, которая тоже насилывала мотоцикл, как могла. Грохот и вонь стояли такие, что возбуждение от увиденного не проходило целую неделю. Потом, лет через пять после описываемых событий, мама прочла в газете заметку, что гонщик Айказуни погиб. Я захлюпал носом, оплакивая то ли его, то ли свое детство... И оставалась еще одна выдающаяся возможность провести день так, чтоб потом вспоминать всю жизнь, — а именно пойти с мамой в Ботанический сад.

Внутри каждой осени выдается вдруг день, в котором солнце греет, как летом, и только внезапно обрушившийся холодный вечер ставит все на свои места... Мы выбирались в такой день в лес. Ботанический сад мне представлялся целой тайгой. Он и сегодня не маленький, но тогда, в 50-е, там можно было встретить и ежей, и змей по склонам быстрой реки Лихоборки, а белок и грибов было немерено.

Грибы прорастали везде. Например, на унавоженных клумбах. Сыроежки высыпали на них ярко-желтые, маленькие и крепкие, как пятикопеечные монеты. В березняке попадались подберезовики, а уж моховиков в густом и тенистом орешнике вообще никто не считал. Не надо, конечно, думать, что из Ботанического сада народ возвращался с переполненными корзинами, но на суп и жаркое мы набирали всегда, особенно в простые рабочие дни недели, когда лес стоял молчаливый и приветливый. Еще в семидесятые по ручьям встречались белые. А поддубовики – крепкий гриб с зеленой шляпкой и красной бархатистой изнанкой – растут здесь и поныне. Мы уходили в сад на весь день, иногда, как в настоящем лесу, путались в тропинках, кружились на одном месте, изредка встречаясь с отдельными прохожими, среди которых попадались весьма интересные личности. Были среди них те, кого сад кормил и держал на плаву уже множество лет. Эти люди целенаправленно собирали здесь все, что можно собрать, не брезгуя яблоками, когда милиционер отвернется, морковью и свеклой с грядок, – тогда здесь держали целые садовые хозяйства.

Особенно хороша была поляна у Леоновского входа в сад. Круглая и горбатая, как лоб мудреца, с высокой пышной травой и несколькими столетними дубами, дававшими прохладу даже в самый жаркий день. Мы останавливались на ней, чтобы немного перекусить и отдышаться. Выпивали газировки с нарисованным па бутылке Буратино, съедали печенье и сонно смотрели после этого на проходящие мимо товарные поезда. В восьмидесятых годах эту поляну внезапно окружили забором и свезли на нее строительные материалы... Теперь там высятся японские пагоды. Вопрос «зачем?» представляется глупым. Жизнь, как известно, влюблена в перемены, которые имеют своей конечной целью уничтожить эту самую жизнь.

Мы возвращались домой под вечер, довольные и усталые. Мама чистила грибы, а я с опаской глядел на подступающие сумерки. С некоторых пор я стал замечать, что в них таится для моей жизни определенная угроза, что тьма по-своему конструктивна и определена, в ней я различал всякого рода фигуры, не сулившие мне ничего хорошего. Со временем эта способность пропала, но до сих пор, помня о картинках детства, я чувствую определенность тьмы и не питаю насчет нее никаких благородных иллюзий. Тогда же я задумался над тем, что есть, по-видимому, в этом мире силы, которые могут

защитить человека от самоуправства сумерек. Кто они? Этого я не знал. Ни мать, ни отец не подходили для этой роли. Отец бывал дома слишком редко, а мать казалась хрупкой для роли тотального защитника. И я придумал своего Бога, выдумал молитвы к нему с просьбами о защите моих близких и всех хороших людей от беспредела ночи. Я не знал тогда, что этого Бога зовут Христом, в комнатке нашей не было икон, и мать никогда не говорила со мной на эту тему. Являясь дочкой высланных из Крыма греков, она инстинктивно сторонилась всего, что могло бы указать на относительность советской власти, которая казалась могучей и незыблемой, как Ботанический сад...

Я лежу в своей кровати и смотрю в темноту. Осенний день догорел и погас. Есть вероятность того, что следующего дня никогда не будет, я умру этой ночью и стану частью сумерек. А самое худшее будет то, что сегодня умрет моя мама, я не услышу ее дыхания в темноте и останусь в огромном пространстве пятиметровой комнаты совсем один. И я зову Бога, прошу Его, чтобы нам было позволено пережить эту ночь. Бог неизменно приходит и, не открывая ни своего имени, ни лица, идет мне на всевозможные уступки. В детстве каждый из нас пророк Моисей. И беда лишь в том, что дети не умеют писать. А если б умели, то Библий было множество, люди потеряли бы им счет.

\*\*\*

...Зима. Серое небо наполнено набухшей влагой. Только тронь его, и, как из промокашки, прольется вода. Я стою на склоне бывшей реки Яузы и смотрю на бывшее село Леоново. От него осталось два развалившихся дома и церковь Ризоположения. Пруд в начале восьмидесятых постарались засыпать, потому что решили, что от него заводятся комары. Пригнали пыльных, недовольных собой людей и начали откачивать воду в Яузу. Но что-то не сработало, вода не захотела уходить целиком, а ушла лишь наполовину. Поэтому бульдозером засыпали то, что могли засыпать, повредив ключи, которыми пруд питался. Сегодня от него осталась цветущая лужица, но в ней, назло человеку, еще водятся толстые пескари. На месте барака, в котором я родился, сделана автостоянка. Яузы в общем-то уже давно нет, вместо нее текут отбросы, и Москва-река благородно принимает их в свои объятия, катит мимо Кремля, выбрасывает в Оку и далее по всем пунктам. Ботанический сад еще существует, в



нем даже обнаружился целебный родник, о котором знают лишь посвященные.

Стадион «Искра» тоже обречен. Он окультурился, остепенился, и драк в последние двадцать лет я здесь не наблюдал. Но навалилась другая беда – один мудрец решил выстроить здесь европейский стадион на 40000 зрителей и с автостоянкой, которая примет 10000 автомобилей. Кто-то понял, что история есть цифра – 10, 20, 30 тысяч... История есть монументальный камень до небес, и главная задача этого камня – замена леса городом, замена мира естественного миром искусственным и рукотворным.

Только этот мудрец не понял одного. Времени при таком обороте дел, как ни странно, не будет. Оно остановится вместе со своими природными циклами. Уже сейчас в Москве осень мало чем отличается от зимы, а летом моросит и накрапывает, как в осень. Можно, конечно, не выходить из своей комнаты и из комнат офиса, погружаясь в скучное бессмертие телевидения, газет, производственных совещаний и компьютерной графики. Можно.

...Я иду мимо Яузы по направлению к Ботаническому саду. При слиянии ее с Лихоборкой купаются дети, жгут на берегу костер, не замечая того, что вода воняет бензином. Другой воды они не знают и поэтому по-своему счастливы. В небе, как встарь, кружит хищная птица.

Интервью с Юрием Арабовым:

«Я С РАДОСТЬЮ ПРОЩАЛСЯ С ДЕТСТВОМ»

*Юрий Николаевич, что для вас детство?*

Я не был счастлив в детстве, для меня детство – это величайшая зависимость от других людей, которой я подспудно тяготился, и величайший страх, что, если вдруг мама исчезнет, то исчезнет то «дерево», за счет которого я живу. В лесу, когда дерево засыхает, от яркого солнца под ним может выгореть трава, могут погибнуть грибы, которые растут вокруг него. Так и я боялся остаться один, ведь кроме мамы у меня никого не было. Мучил и страх смерти. Много думал я и о своем будущем – никак не удавалось представить его, понять, где искать пристанища в социальном плане. Помочь мне никто не мог, даже мама, ведь каждый человек – это тайна, которую невозможно познать. Мама любила меня, но я был тайной для нее, она была тайной для меня... Впрочем, детство все же создавало чувство относительной защищенности.

И все-таки, когда я постепенно распрощался с ним (причем довольно поздно — я долго, почти до 30 лет, был инфантильным), то был рад этому, так как, наконец, научился, как мне казалось, отвечать за самого себя. Я еще до поступления в институт работал в качестве киномеханика на студии имени Горького, получал какую-то зарплату, но самостоятельным почувствовал себя только, когда, окончив ВГИК, заключил свой первый договор. Тогда и появилось ощущение собственного пути, и мое прощание с детством, наконец, произошло. Оно сразу потеряло для меня какую-либо притягательность, став закрытой страницей моей жизни, к которой, как я думал, больше никогда не стану возвращаться.

*В том числе и к своим детским страхам и сомнениям?*

Если честно, депрессии и мучительные раздумья никуда из моей жизни не ушли. То же отчаяние и страх перед будущим — мое обычное творческое состояние. Из отчаяния я стараюсь черпать силы. Конечно, комплекс неполноценности ужасен, но, по-моему, куда более опасен комплекс полноценности — то, что сейчас проповедует субкультура потребительского общества.

Но в последние лет 10 меня вдруг стали одолевать воспоминания о том времени, о той атмосфере, о моих соседях по дому, которых давно уже нет... Возникло ощущение некоей временной дистанции. Детство стало для меня историей, а я сам постоянно стал сравнивать людей, окружающих меня, с теми, кто был в моей жизни в 1950-х — 1960-х годах и, как оказалось, навсегда остался в моей памяти. Эти воспоминания создают некое движение времени — движение общества, движение истории. Детство — некий пункт, с которым я могу сравнивать нынешнюю жизнь. В этом его непреложная ценность.

Воспоминания не только помогают в работе (как пережитый опыт), я пришел к выводу, что вообще самое ценное в нашей жизни — это наши воспоминания. Каждый человек — как Библиотека Конгресса или Ленинка. Надо только не забывать то, что с тобой происходило, и не фальсифицировать свое прошлое.

*Если обратиться к вашим воспоминаниям, когда вы поняли, что ваш путь — литература?*

Первый мой литературный опыт состоялся в 1972 году, я тогда учился в 10 классе. Помню, 7 марта по телевизору шел какой-то чудовищный партийный концерт, посвященный трудящимся женщинам всего мира, и я от злости, в пику этому

фальшивому празднику (я его очень не любил) написал стихотворение об изгоях – загнанных лошадях. Позже к нам в школу приехал какой-то поэт (фамилию его я не расслышал), и после его выступления я зашел в учительскую, где он спорил о деньгах, которые ему должны были заплатить, и сказал: «Я тоже поэт, можно мне прочесть вам свои стихи?» Он вздохнул, обреченно махнув рукой: «Ну, читайте». И я прочитал свое совершенно беспомощное стихотворение про загнанных рыжих коней в белой пене. Он выслушал и сказал: «Вы, по-моему, подражаете Слуцкому». А я даже имени этого не знал! Поэт подумал и добавил: «Могу предсказать ваше будущее – вы будете популярны в салонах, но официального признания никогда не добьетесь». Я вышел из учительской на крыльях счастья. Мне вполне было достаточно, если меня когда-нибудь признают в салонах!

Надо сказать, моя мама не верила, что когда-нибудь я смогу автономно существовать как литератор. Она относилась со скепсисом к моим планам, хотела, чтобы я стал киноведом, говорила, что надо устраиваться на какую-нибудь непыльную работу. Но я все-таки поступил на сценарный факультет.

*О чем вы думали, когда начинали работу над «Временами года»?*

Хотелось поговорить о Времени... Чувство Времени для меня – это чувство связи одного с другим, чувство единения взрослого человека с детством и с природным миром. Мною двигало желание описать природный мир, который я в детстве чувствовал очень остро и который теперь почти не чувствую. За природным миром я вижу некий союз, единение всего живого, некий космический толстовский организм, толстовскую мировую душу. Это была попытка воссоздать гармонию, ощущение которой рождается у ребенка от общения с природой. Такого общения у меня самого в детстве было много – с деревьями, с травой, с цветами (зелени в нашем районе всегда было достаточно). И, кроме того, хотелось вспомнить об ушедших людях, горечь от того, что их больше нет, до сих пор не проходит...

Мой роман «Биг-бит», тоже об этом, только если «Времена года» – лирическое произведение, то «Биг-бит» гротескное.

Вернусь ли я еще к теме детства? Вся проблема в том, что у нас литератор не может существовать только литературным трудом – чтобы заработать на жизнь, необходимо вступать в

какие-то другие проекты. На моих сценарных работах эти нахлынувшие воспоминания о детстве не особенно отражаются – в основном, то, что я пишу для кино, никакого ретро-значения не имеет, хотя сам я часто мысленно возвращаюсь в ту, прошлую, жизнь... Может быть, это приходит старость?.. Или это следствие того, что Россия в последние 10 лет стремительно меняет свои очертания, превращаясь в совершенно другую страну, незнакомую и даже чуждую, что требует некоего осмысления и сравнения? Наверное, потребность этого сравнения и побуждает вспоминать то, что было 40 лет назад.

Размышляя о прошлом, я, например, понял, что новое поколение хуже предыдущего, происходит ухудшение в плане генотипа, пропадает физическое здоровье и связанный с ним духовный оптимизм, свойственный людям шестидесятых. Совсем пропали люди «породы» (типа Константина Симонова), к которым я сам никогда не принадлежал, но которых раньше часто встречал. Пропали люди с прямой спиной, пропали люди относительно независимые в своих суждениях. Управляемость современным поколением возросла.

Все говорят, что при советской власти людьми манипулировали. Но вспомните – если при Сталине манипулирование достигалось очень жестокими, экстремальными методами, то во времена Хрущева этот диктат ослаб и почти исчез во времена Брежнева, когда выяснилось, что народ может стать достаточно независимым. Те московские кухни, о которых сказано немало уничижительного, на самом деле играли серьезную роль в жизни нашего общества. Это было своего рода квазигражданственное поведение (настоящее гражданское поведение не находило для себя места) – высказывались определенные суждения о том, что происходит, и так далее. Вспоминая, скажем, историю с фильмом «Одиноким голос человека», я прихожу к выводу, что в конце семидесятых во ВГИКе было очень много людей, которые подняли голос против ректора института, Ждана, запретившего Сокурову защищаться этим фильмом. Твердо знаю, что сейчас в подобной ситуации таких людей бы не нашлось. А тогда был ряд независимых педагогов – Звонникова, Волкова, Лобачевская... И парторганизация вела себя неоднозначно. Она ведь не поддержала Ждана. Имитационное разделение власти при советской системе в какие-то моменты работало, власть на самом деле была расщеплена, и парторганизация несла час-

тичный контроль за тем, что происходит. Профсоюзы реальной силой никогда не были (в 1920-х годах их фактически убили), а вот парторганизация в определенные моменты могла помочь. Сейчас же помощи ждать неоткуда, демократия у нас только на словах.

*Поколение взрослых стало хуже, а современные дети?*

Если говорить о малышах, то они во все времена «лучше» и похожи друг на друга.

А вот современные школьники уже очень отличаются (в худшую сторону) от школьников шестидесятых, прежде всего, потому, что школа сегодня совершенно развалена. В мое время школа была плохой, сейчас же она вообще никакая – похожа на большой обезьянник, где человека фактически растлевают. Хорошие педагоги из нее давно ушли, осталось совсем немного энтузиастов, святых людей, а в основном работают те, кому некуда идти.

При советской власти в нашей культурной жизни был и Достоевский, и Толстой, в 1970-е начали издавать поэтов Серебряного века. Да, был идеологический диктат, но сегодняшний потребительский диктат ничем не лучше.

Чтобы переломить эту ситуацию, нужно реанимировать образование, в первую очередь гуманитарное. Человек, который знает свою историю, знает взлеты и падения своей нации, автоматически «привязывается» к ней. Это важно. Знание истории и культуры своего народа – лучшая форма патриотического воспитания!

Сегодня ребенок взрослеет раньше, и, кроме того, он становится все более автономным. Благодаря компьютеру он получает массу информации, при этом ограничивая себя в общении. Но ведь информация никогда не сможет заменить общение. Да, дети интеллектуально развиты, но при этом они одиноки и развращены. Развращены в прямом смысле – телепередачами, электронными играми, всем тем, что можно почерпнуть в Интернете...

Я стараюсь никогда не давать никаких прогнозов, но мне ясно одно – новая Россия унаследует хорошие черты той России, в которой мы жили раньше, лишь в том случае, если наши «верхи» поймут: надо решать две проблемы: проблему образования и проблему развития демократии. Только при решении этих проблем Россия может надеяться на лучшее будущее...

*Беседовала Тамара Сергеева*

## «ЕСЛИ ОКО ТВОЕ БУДЕТ ЧИСТО...»

**Я** живу, только когда я работаю. Все остальное время я лишь существую.

Все время занимаюсь не тем. Если бы я мог заниматься только тем, что мне хочется, я бы мог стать большим композитором. Часто пытаюсь заглушить ту боль, которая сидит у меня внутри, но из этого что-то ничего не получается.

Из некоторых моих сочинений течет настоящая кровь, ибо это – моя боль и мои открытые и незаживающие раны... Если бы я не отдал столько сил и времени моим детям, я бы мог стать действительно великим композитором. Все, что я сделал до сих пор, – это только приближения. Но дети – важнее. И я ни о чем не жалею.

Я не сторонник ежедневной работы – это всегда вызывает ту или иную степень графоманства. Надо работать только тогда, когда есть возможность предельной концентрации всего своего существа на данной работе, а для этого необходим полный отдых и полное отключение в другое время (когда не работаешь). Нужен всегда процесс созревания сочинения, не непрерывное переключение с одного сочинения на другое. Пока еще ребенка никто не рожал без девяти месяцев созревания.

Я могу по-настоящему работать – свободно и легко – только тогда, когда у меня есть прямой контакт с природой. Я должен быть один, а перед окном должны либо шелестеть листья и подлетать ко мне птицы, либо я должен видеть белый и чистый снег и лучи солнца, окрашивающие его в бесконечно разнообразные и незаметно сменяющиеся краски. В городе, даже в абсолютной тишине и изоляции, я делать ничего не могу. В лучшем случае – писать прикладную музыку или делать коррек-



туры. Для настоящей работы мне необходимо быть вне города с его непрерывно ощущаемой тяжестью и обилием ритуалов, которые я вынужден выполнять.

Я очень люблю цветы. В них есть такая же хрупкая и странная красота, как в птицах и бабочках. Плеск воды под моим открытым окном, нить тумана, протянувшаяся над озером, и незаметно меняющаяся игра красок осенней листвы – все это живое и дает мне больше, чем бесполезные пласты окаменевшего и академизированного искусства.

Настоящую музыку нельзя «сочинить», ее надо услышать. В любом ограниченном пространстве можно создать точный (и индивидуальный) звуковой мир.

Иногда тембр становится более выразительным, чем интонация. Краска может быть и наполненной, и пустой. Ничего не нужно «моделировать», нужно просто слушать рождающуюся музыку и строить ее по ее собственным законам (каждый раз новым и неповторимым).

Почти вся моя ритмическая гибкость идет – как ни странно – от Шопена, который на меня очень сильно повлиял в начальный период моих занятий музыкой (и которого я очень люблю и сейчас). Все мои сложные ритмы идут от Шопена, которым я так увлекался в юности («выписанное *rubato*»).

Мне всю жизнь хочется написать свой «Зимний путь» и свою «Прекрасную мельничиху», но я не знаю, когда я смогу это сделать.

Чем лучше сочинение, тем труднее у него жизненный путь. Совсем как с людьми – только у плохих людей жизнь «получается». У меня все лучшие работы до сих пор не изданы, не записаны и не оценены по достоинству. И у них самая трудная судьба.

Мне всегда нужно простое и ясное слово. Когда текст перегружен метафорами или модернистически усложнен, он становится неподходящим для музыки.

Я не могу писать на стихи, если не сделаю их своими. Мне всегда нужно спроецировать стихи на кого-то (чаще всего, на себя), тогда я могу писать. Музыка должна усиливать стихи, заставлять их играть новыми красками, поворачивать их в новую, иногда неожиданную сторону, усиливать их подтекст (а иногда – вводить новый подтекст). Музыка должна создавать единственно возможное прочтение стихов. Когда это случается – стихи защищены. Уже никто на них не может писать.

Если что-то не сходится с пережитым мной или на что-то я смотрю по-другому, то я не беру эти стихи (или делаю купюры). Во всех моих вокальных сочинениях текст спроецирован всегда на меня. Если я не сделаю слова моими, я не могу на них писать.

Кроме того, поэт должен быть минимально музыкальным. Маяковский очень ярок, но предельно немусыкален. На него писать нельзя. Идеал – конечно, Пушкин.

В поэзии Пушкина есть действительно божественная красота. Поэтому она столь проста и столь неуловима. В Пушкине есть то, что я люблю в Моцарте и Глинке, – естественность и свет. В «Волшебной флейте» очень много «пушкинского» (и это, кажется, никто не заметил до сих пор).

Единственное сочинение, написанное на стихи Пушкина и стоящее на уровне его поэзии, – «Я помню чудное мгновение» М.Глинки. Но почему-то Глинка – самый лучший из русских композиторов – до сих пор не понят и не оценен. Его все «уважают», но никто не знает и не исполняет. По-видимому, его время еще не пришло.

Качество музыки часто находится в прямой зависимости от степени сосредоточенности во время работы. Мне, конечно, надо бросить все и приняться на «Мастера и Маргариту». «Мастера» никому, кроме меня, нельзя трогать. Он ни у кого другого не получится. Но пока я не могу этого делать – я слишком несвободен еще и земные дела еще окружают меня слишком плотным кольцом...

Из музыки XX века почти полностью исчез Свет.

Нежность и доброта сейчас вымирают. Они уже никому не нужны. Нельзя быть добрым и отдавать все людям, в тебя сразу же начинают кидать камнями, как в Христа. Люди злятся, когда им делаешь добро, ибо они эгоистичны. Настоящий альтруизм им непонятен, он беспокоит и раздражает их. Кроме того, они сразу же интуитивно ощущают, что ты – другой. А раз ты другой, ты им опасен. Иисус был другим и плакал перед смертью не из-за страха ее, а потому что понял, что доброта бессильна.

Нашему времени нужен новый Христос, но его крестный путь будет столь же бесцелен.

Я верю в то, что в ночь перед распятием Христос плакал кровавыми слезами. Слишком велика была его боль крушения всего того, во что он так верил.

Музыковеды наплели огромное количество глупостей вокруг музыки. Одна из самых нелепых – рассуждения о



«философичности» музыки некоторых композиторов. Философия может существовать только в связи со словом, а звук не несет в себе никакой философии. Философия ни в какую глубь бытия не проникает (и не может сделать этого), она лишь создает определенные схемы, в которых жизнь никогда не укладывается. Художники глубже всех проникают в тайны бытия, ибо некоторым из них дано приблизиться к Богу. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» («Ев. от Матф.»; 6, 22).

Нужно довести себя до определенного состояния – тогда открываются двери. Когда композитор слышит истинную музыку, он слышит голос Бога. Вероятно, так же великие святые в момент религиозного экстаза слышали Бога. Но едва ли он мог с ними разговаривать словом.

Я некоторые сочинения начинаю без всякой внутренней подготовки, и они проясняются, рождаются и становятся во время работы, другие же сочинения («Плачи», «Скрипичный концерт», «Реквием», «Твой облик милый», «Пена дней») проходят сами по себе процесс длительного внутреннего становления и интуитивного (зачастую – подсознательного) обдумывания. Сочинения второго типа мне легче писать – они, очевидно, внутри как-то сами по себе складываются, и у меня возникает ощущение поразительной легкости сочинения: музыка возникает сама собой, и я лишь успеваю ее записывать. Момент прозрения возникает, как правило, только в сочинениях второго типа. Тайные двери открываются сами собой, и я вижу то, что только мне дано за ними видеть. А может быть, моей рукой в эти минуты водит Бог. Это – те моменты, ради которых нужно жить.

## А ТАЙНЫ ОСТАЮТСЯ...

Меня спросили: что на меня влияло, когда я в детстве и отрочестве складывался как человек? Я ответил: книги. Живых образцов поведения, «делай вот так-то, это хорошо!», было мало, или я не умел их замечать и подражал им бессознательно. Меня переспросили: а как действовали книги? Тут я понял, что ответ мой был неточный. Книги мне тоже не говорили: делай вот так-то, это хорошо! Всем нам полагалось читать роман «Молодая гвардия» и брать жизненный пример с героев-комсомольцев. Все мы писали об этом в школьных сочинениях, но на самом деле этого не чувствовали. То, что было написано в книгах, было отдельным миром, не очень похожим на наш. Правила того мира почему-то не переносились в этот мир. Хорошо или плохо сделала Татьяна, что не ушла от мужа к Онегину? Для Белинского и Писарева этот вопрос стоял, для меня нет. Пушкин написал так, что получилось: хорошо сделала, а мог бы написать так, что получилось бы: плохо сделала. Это он сочинил мир «Онегина» и написал для него правила жизни, а в нашем мире другие правила, понять которые гораздо трудней. Немногие среди нас умели в самом деле брать пример с литературных героев: «в жизни всегда есть место подвигу». У них была вскинутая голова, ясный взгляд и сердечный жар. Это были очень хорошие люди, и жилось им потом трудно.

Учитель литературы говорил нам в восьмом классе: «Последний пункт рассказа о каждом литературном произведении – его значение. А значений бывает три: познавательное, идейно-воспитательное и литературно-художественное». Идейно-воспитательное значило для меня мало, а познавательное много.

Мир, окружавший детство, был огромен, сложен и непоня-



тен. Непонятные вещи и непонятные слова теснили сознание с разных сторон, не соприкасаясь. Казалось, что назвать вещи – значило бы понять их. Если бы мы прочитали, что непривычное слово «катет» по-гречески приблизительно значит «боковик», а «гипотенуза» – «натянуха», нам было бы легче учить геометрию. Но ни в одном учебнике я этого не читал. Мне это мешало меньше, чем другим: во мне сидел запоздалый младенческий вкус к выговариванию бессмысленных звукосочетаний. Я до сих пор помню, что лилипутского императора в «Гулливере» звали Гольбасто Момарен Эвлем Гердайло Шефин Мулли Улли Гай – теперь я этого уже не запомнил бы. Учебники истории кишели терминами («пуритане разделились на пресвитериан и индипендентов»), учебники географии – экзотическими названиями, в исторических атласах скрещивалось и то и другое, я десятками перечерчивал для своего удовольствия на просвечивающей бумаге исторические карты. Мне посчастливилось: многие школьные учебники я читал до школы, без отвращения к их принудительности. В эвакуации, где нечего было читать, соседка спросила, нет ли у меня книжек; мне было семь, ей девять. Я показал «Географию» Баркова и Половинкина – она сказала: «Разве это книга? это учебник!» А для меня это была книга, она выстраивала вещи в порядок: оказывалось, что вулканы и кучевые облака служат в мире по одному ведомству, одни по части атмосферы, другие по части литосферы. Учебник истории читался, как исторический роман, только с речательством за достоверность событий. Правда, лишь до поры до времени: на переходе от средней истории к новой живые лица из него исчезали, картины выцветали, слова становились однообразными, как заклинание. Тогда в первый раз приходило в голову, что у нашей власти не ладятся отношения с историей и что это, даже по Марксу, нехорошо.

Мой брат задумчиво сказал: «Интересно, как люди узнают слова? Не обычные, а, например, такие, как «череп»?» Но я помнил, где я в первый раз прочитал слово «череп»: у Корнея Чуковского в прозаическом «Айболите» были пираты, а на флаге у них череп и кости. Что такое «череп», пришлось спрашивать у взрослых. У Бориса Житкова в «Что я видел» новые для мальчика слова были в кавычках (например, «кнехты», причальные столбики) – на всю книгу было семь таких слов, я их помнил наперечет. Пересказать сюжет «Трех мушкетеров» я не смог бы, а слово «мартингал», конский

ремень, объяснявшееся в сноске на 17 странице, я запомнил на всю жизнь.

Третье значение, литературно-художественное. Оно началось с имени Пушкина в разговоре. «Кто такой Пушкин?» – «Как, ты не знаешь, кто такой Пушкин?» Через месяц я уже говорил «Царя Салтана» наизусть. (Только что прошел пушкинский юбилей, лото «Сказки Пушкина», конфеты в коробках с профилем Пушкина, будь я чуть сознательней, и можно было бы возненавидеть Пушкина на всю жизнь, но я не был сознательным.) Через два года – война, эвакуация, книг не было, но был рассыпающийся по листку однотомник Пушкина, по старой орфографии, газетным шрифтом, со славянской вязью под уродливыми картинками, я читал его со всех концов и распевал на бурьянном дворе: «Клянусь, под смертною секирой...» Слова, попав в ритм, становились как бы бессмысленными и запоминались сами по себе, независимо от содержания. («Значенье суета, и слово – только шум, когда фонетика – служанка серафима», – прочитал я потом у Мандельштама.) Следить за сюжетом было неинтересно, «Онегина» я пять лет читал по кусочкам и потом удивился, прочитав целиком. И тогда же ненадолго мелькнул в поле зрения том из шеститомника, где со знакомыми стихами (но кто такой «аквилон?») чередовались недописанные наброски: «Иван царевич по лесам За бурым волком – – – – гонялся». Это значило, что стихи не всегда были такими мраморно-совершенными, какими мы их видим, что можно понять, почему они такие. Потом для меня из этого выросла наука филология.

Но такое счастливое озарение, когда стихи сразу были прекрасными, случалось редко. Из Лермонтова запоминалось не то, что должно было запоминаться, а «Стоит могила Оссиана в горах Шотландии моей» – я не знал, кто такой Оссиан, и думал, что это древний римлянин. (Потом узнал, что по-кельтски он произносится «Ушин».) Из Фета не запоминалось ничего. Мой товарищ любил Блока, любимые им стихотворения я тоже знал наизусть, но чем хороши другие, я не чувствовал. Чтобы привыкнуть, я читал Блока, как урок, по полчаса по утрам перед школой. Тютчева – на летних каникулах, по полному собранию с малопонятными комментариями. Фет давался хуже всех: уже взрослым, занимаясь стиховедением, я каждую очередную проблему разбирал прежде всего на стихах Фета – просто чтобы лишний раз внимательно его перечитать. Стиховедческое

чтение – самое внимательное, и теперь я очень люблю Фета. Неверно, что красота сама доходит до души: нужно, чтобы кто-нибудь сказал: «смотри: это красиво!» – мне этого обычно никто не говорил (Своим детям я говорил точнее: «смотри: это считается красивым!» – и старался объяснить, почему.) Это называется «преемственность культуры», потому что красота – это явление культуры, а не природы. А озарение – это как повезет. Я много лет знал наизусть стихи Тютчева про ночные зарницы, которые, «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой», и, как все, восхищался этим сравнением. Но только очень взрослым я представил себе ночь и эти беззвучные вспышки из-за противоположных концов горизонта и понял настоящий смысл этих слов – а, наверное, должен был представлять это с самого начала.

Значение познавательное и значение литературно-художественное: вероятно, потом они скрестились в интерес к филологии – «почему эти стихи мне нравятся? как они сделаны?» (Где я в первый раз встретил слово «филология», я тоже помню: в детской повести про восстание сипаев, недопечатанной в 1941 году в журнале «Костер»: там был ученый, не во время приехавший в Индию, чтобы изучать санскрит.) Конечно, это не обязательно: я знаю, что многие любят в поэзии тайну, и для них вопрос «как это сделано?» убивает эту тайну. Но мне это не мешало: я чувствовал, что тайн в поэзии – и во всем мире – еще остается столько, что надолго хватит на все науки. Кажется, это и вправду так.

## НА ПЛАНЕТАХ ДУЮТ ВЕТРЫ

*Мы* едем к отцу по пойме реки, залитой половодьем. В те дни он участвовал в изыскании площадки для строительства ГЭС. Сок – небольшой приток Волги, но сейчас вода разлита на многие километры. Конец апреля или начало мая. Мне три с небольшим года. Ярко светит солнце. И вот эта громада воды, голубое небо, солнце, их отражение в неподвижной воде приводят меня в необыкновенное волнение. Вероятно, в моей жизни это было первое яркое впечатление.

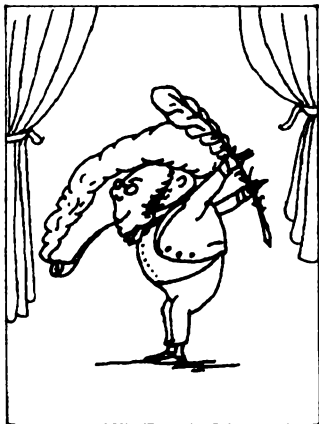
Сегодня я с улыбкой могу сказать, что это был легкий намек судьбы на то, что меня всегда будут волновать возмущенные воды. И связано это с будущей профессией.

Лишь много лет спустя я понял, какую роль в моей жизни играл отец. Его поведение, его отношение к людям, даже вскользь сказанное слово.

С самого раннего детства он мечтал стать писателем, поступил на высшие литературные курсы, организованные Брюсовым. В конце двадцатых курсы были разогнаны, как говорили, в связи с засорением чуждыми элементами.

Семью отца объявили лишенцами, то есть лишили гражданских избирательных прав и выселили из Москвы. Особенно тяжело это переживал дед отца, а мой – прадед, который долгие годы был московским губернатором и городским головой, одним из дюжины почетных граждан Москвы. Он гордился, что при нем замостили десятки улиц, провели водопровод и пустили трамваи. И еще тем, что был председателем общества друзей Малого театра и такого же общества при Политехническом музее.

О выселении семьи объявили в 1929-м году. Отец был арестован, но через два месяца его выпустили. Следовательно на прощанье сказал: «Если хочешь жить, уезжай из Москвы».



Отец ездил с экспедициями на Кубань и на Алтай. В начале тридцатых его никуда не брали на работу. О тяжелых впечатлениях этого времени он расскажет в своей последней книге «Записки уцелевшего».

В конце концов, он стал инженером-топографом, оказался в Самаре, а оттуда переведен был во Владимир, где собирались строить небольших масштабов гидроэлектростанцию на Клязьме. Всю войну он строил переправы и дороги, демобилизовался лишь в 47 году. Многие текстильные комбинаты Советского Союза построены на местах, которые подбирал он. Отец отличался необыкновенным чувством долга. В свободное время в командировках он начал писать и таким образом издал три книги. Он ушел с работы и профессионально занялся литературным трудом только тогда, когда сыновья получили образование.

Исключительную роль в моем воспитании сыграла среда, люди, которые бывали в нашем доме, у которых бывали мы.

Особенно часто отец встречался с профессором Сергеем Николаевичем Дурymiным, человеком энциклопедически образованным, знатоком театра. На эти встречи отец иногда брал и меня. Он был хорошо знаком с Чеховым и Толстым. Несколько лет преподавал русский язык царским дочерям. Недавно я нашел книгу о Малом театре, которую Сергей Николаевич мне подарил, поздравив с окончанием школы.

До сих пор, когда я вспоминаю мои встречи с нашим великим историком академиком Степаном Борисовичем Веселовским (он был свекром моей тетки), я поражаюсь той серьезности, с которой он разговаривал с человеком моложе его на шестьдесят лет. Темы были самые разные: русская история, история искусства, литература.

Меня поражала уже тогда подавляемая образованность людей круга отца. Им ничего не стоило в разговоре переходить от эллинской культуры к современной поэзии, от образов средневековой живописи к открытиям нашего века. И всегда это было ненавязчиво, безо всякой рисовки.

Особенную роль в моей жизни сыграла моя тетка — тетя Катя, младшая сестра отца. Муж ее пропал без вести в Московском ополчении, и она разрешила брать из его обширной библиотеки все, что мне вздумается. Там были исторические и философские сочинения. Древняя Греция, Рим. Классики, как тогда говорили, зарубежной литературы — Шекспир, Шиллер. Все это было прочитано мною к шестому, седьмому классу. А Шиллера перечитывал несколько раз.

Я учился в хорошей школе. Мне в голову не приходило заниматься одним предметом в ущерб другому. Но быть я хотел математиком.

Учитель физики Сергей Михайлович Ананьев отговаривал меня: «Постарайся выбрать профессию, которая была бы связана с физикой, а математика и так от тебя не уйдет». Закончив десятый, я колебался. Другая моя тетка, тетя Наташа, устроила встречу с известным физиком, академиком Ландсбергом. «Уровень образования в инженерно-физическом, физико-техническом институтах, примерно одинаковый, – сказал он. – Но инженерно-физический отправляет своих выпускников на атомные объекты, откуда трудно выбраться, в физико-техническом – неоправданно сложное обучение. Лучше всего закончить университет».

Золотая медаль сделала мое поступление легким. Собеседование длилось минут пятнадцать. Лекции читали ведущие ученые страны. Студенческая жизнь мне понравилась. Я был доверчив и легко соглашался помогать другим. Мой одноклассник попросил сформулировать задачу и сделать расчеты для одного аспиранта. Химическая реакция должна была открыть секрет искусственного жидкого топлива. Я с жаром принялся за дело. Сформулировал. С помощью арифмометра делал расчеты. Аспирант сказал мне, что его руководитель в восторге. Будет научная статья и с моей подписью тоже. Я уехал со студентами на осенние работы в колхоз, вернулся, а будущего ученого и след простыл. Никогда в жизни я уже больше этого аспиранта не встречал. Жизнь давала свои уроки.

Руководителем моих курсовых и дипломных работ был профессор Станюкович, который одновременно с университетом работал в Институте атомной энергии. Там начали заниматься проблемами термоядерного синтеза, но эта проблема и сейчас стоит. Моя работа была по магнитной гидродинамике, я рассматривал различные течения проводящей жидкости в магнитном поле, что связано с проблемой термоядерного синтеза, получения электроэнергии из реакции слияния ядер изотопов водорода – трития и дейтерия. За моими работами следил академик Михаил Александрович Леонтович, руководитель теоретических работ по термоядерному синтезу.

Задача, стоявшая перед человечеством последние пятьдесят лет, оказалась чрезвычайно сложной технически: управление при температуре в сто миллионов градусов, и чтобы все это не разлеталось в течение нужного времени. Идут разгово-



ры о построении хотя бы прототипа такого реактора. Но до рабочего еще очень далеко.

Думаю, что к середине этого века проблема безопасной и доступной энергии будет решена. Она станет неисчерпаемой, поскольку дейтерий и тритий добываются из воды.

Одним из своих учителей я считаю академика Леонтовича. Он воспитывал меня по-своему. «Я чувствую, – говорил он, – что у вас будет много статей. Так учитесь писать кратко и понятно, вы же пишете не только для себя, но и для других. Надо обдумать то, что вы хотите сказать, что нового, интересного и полезного сделать». Леонтович был так прост в обращении, так скромно одет, курил «Беломор», так что не всякий мог с первой минуты догадаться, что перед ним академик, крупный ученый. А внутренняя культура его была так велика, что очень скоро человек начинал чувствовать его значительность, испытывал даже робость.

Вскоре я решил поставленную им задачу, которая оказалась несложной. Он рекомендовал меня в Институт физики атмосферы. 1 февраля 1958 года я был зачислен старшим лаборантом. Директор сразу же сказал, что хочет видеть меня геофизиком широкого профиля. Через месяц я был уже младшим научным сотрудником.

Первые несколько лет я решал задачи, которые мне ставил наш директор, тогда член-корреспондент, а впоследствии – академик Александр Михайлович Обухов. Он был всемирно известным ученым, одним из создателей теории турбулентности вместе со своим учителем академиком Колмогоровым. Он был также замечательным воспитателем молодых, создателем и первым директором нашего института в течение трети века. Он тщательно подбирал кадры. Среди них были доктора наук А.М.Ятлон, замечательный математик и физик, ученик великого Андрея Николаевича Колмогорова; Андрей Сергеевич Монин, впоследствии директор Института океанологии АН СССР и академик; молодой кандидат наук Валерьян Ильич Татарский, ставший членом-корреспондентом АН СССР. Общение с ними и многими другими дало очень много для моего становления как ученого.

В середине 1960-х годов стали отправлять автоматические станции к Марсу и Венере. Для того чтобы их сажать, для инженерных расчетов, нужно было знать ветер поверхности планеты. Удалось придумать нечто новое, найти общий подход. Ветры на планетах возникают из-за того, что солнца больше всего на экваторе, а на полюсах лучей попадает мало.

Возникает разница температур, давлений. Удалось включить в оценку ветров и разность температур.

Весенним днем, какой бывает только в мае, я гулял по лесу под Звенигородом. Гулял, чтобы развеяться. Солнце, голубое небо.

Весной 1969 года я вывел формулу для скорости ветра в атмосфере планет. И вдруг точно озарение какое-то. Прямо карандашом на коре березы подставляю в нее параметры атмосферы Марса. Получается что-то около 20 метров в секунду. Такие ветра нередко наблюдались астрономами по движению облаков. Совпадение расчетов и наблюдений в яркий день при голубом небе было одним из замечательных моментов, счастливым днем моей жизни.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов была создана теория, позволявшая предсказать силу ветров и распределение температур в атмосферах Венеры и Марса, впоследствии подтвержденные данными прямых измерений советских и американских автоматических станций на этих планетах.

В октябре 1969 меня отправили в Техас на Международный симпозиум по планетным атмосферам... Я рассказывал об этих оценках для Венеры. Вычислил, что там ветер порядка метра в секунду. У нас в среднем 15 метров в секунду. Если у нас разница температур 50 градусов в среднем между экватором и полюсами, то там должно быть один-два градуса.

В тот же день был доклад американских радиоастрономов, которые смогли оценить, что в пределах точности измерения (а точность у них была 10 градусов) не замечается разницы температур, но это было почти прямым подтверждением моей теории. 1-2 градуса они не могли видеть в пределах своей точности измерений. Через несколько месяцев в Аризоне была специальная конференция по планетам, где я выступал первым. Это был мой первый большой успех.

Иногда я думаю, что мое самоощущение и мироощущение не изменились со времени детства. Моя защита докторской диссертации в январе 1971 началась со слов «На планетах дуют ветры...» Они имели, конечно, строгий научный смысл, но и непосредственность, детская открытость в них тоже присутствуют. Легко они проявляются и в некоторых других формах деятельности. Особенно в моих научных опытах.

Я любил задавать себе «детские» вопросы. Отчего бывают океанские волны, ураганы и оползни? Почему дует ветер? На то, чтобы ответить на эти вопросы не только словами, но и дать

развернутый физико-математический ответ, вывести формулы, провести опыты, подтверждающие их, уходят годы.

В 1970-е годы я много времени уделил конвекции – движениям в неоднородно нагретой жидкости. Конвекция в мантии Земли происходит со скоростями несколько сантиметров в год. Это приводит в движение плиты, образующие земную кору. Эти движения более или менее хаотичны, что вызывает рост напряжений на границе плит. Эти напряжения сбрасываются путем разрывов в земной коре – землетрясений. Над этим я работал в семидесятые.

Когда-то занимала ученых и бурно обсуждалась проблема «движения континентов». Мои коллеги из Института физики Земли попросили меня разобраться в этом процессе, вывести формулу, а проверки ее не было. Численно тогда никто не определял. Требовались длинные и сложные расчеты, которые стали возможны только в конце семидесятых, в восьмидесятые годы. Надо было проверить экспериментально, какова скорость, для этого надо знать расстояние, проходимое за какое-то время. Многие думают, что для научных опытов требуется современная лаборатория, чуть ли не космическое оборудование. Свои догадки и теории я проверял в домашних условиях.

Белая эмалированная кастрюля с водой, на дне ее я нарисовал сетку – сантиметр на сантиметр. Поставил кастрюлю на огонь. Вот и все. Плавают в воде частички. (Я перепробовал множество материалов, остановился на чайниках. Высушивал их и толлок.) Даю тепло. Эксперимент пошел! Я слежу за расстоянием, которые частица проходят за две-три секунды. Это и есть скорость. Оказалось, формула хорошо подтверждается замерами скорости в зависимости от потока тепла, глубины слоя, теплопроводности. В основном следил, насколько скорость зависит от глубины. Все сложилось.

В конце семидесятых вывел формулу для скорости конвекции во вращающейся жидкости. Тоже была проверена в домашних условиях с помощью проигрывателя пластинок, у которого разные скорости вращения. Результаты подтвердили теоретическую зависимость, что скорость в жидкости обратно пропорциональна квадратному корню из скорости вращения. Эта проблема важна для понимания поддержания магнитного поля Земли, глубокой конвекции в океане, для движений в атмосферах звезд и планет. Через двадцать лет эта проблема будет детально исследоваться у нас в институте и во многих лабораториях США, Канады, Австралии и Германии.

Однажды один опыт у меня остался незавершенным. К концу семидесятых стало понятно, что внешняя оболочка многих спутников, таких больших, как Юпитер, ледяная. Происходят удары, образуются кратеры. Тогда я решил изучить этот процесс в зависимости от свойств материала. Сделал дырочки в варенье, выбрал ложкой и съел густое, а на дне еще оставалось. И жду результата. Но варенье исчезло вместе с банкой. Домашние решили, что оно испорчено и выбросили. Я расстроился.

В начале восьмидесятых годов было тревожно. Резко усилилась гонка вооружений, особенно ядерных. Ученые всего мира были сильно обеспокоены последствиями возможной ядерной войны. Мой знакомый, впоследствии лауреат Нобелевской премии, Пауль Крутцен заметил, что многочисленные пожары ядерной войны могут произвести столько дыма, что может измениться климат Земли.

Главной проблемой стало предсказание последствий ядерной войны. Основные последствия на качественном уровне были мною опубликованы в сентябре 1983 года, за месяц до аналогичной работы ученых США под руководством Карла Сагана, выдающегося ученого и моего друга.

В конце августа 1983 года Саган прислал мне телеграмму: «Что станет с климатом Земли, если будет столько дыма, атмосфера станет непрозрачной для солнечного излучения?» У нас ответ был уже готов. Особенно здесь помог опыт работы с планетами. На Марсе почти каждый марсианский год бывают глобальные пыльные бури. Тогда пыль ослабляет солнечную радиацию, приходящую к поверхности планеты, которая остывает, а пыль нагревает атмосферу. В его атмосфере не могут и не образуются циклоны, которые у нас приносят осадки. Дым в нашей атмосфере также приведет к остыванию земной атмосферы, к прекращению образования циклонов, к холодам и засухам. Наступит то, что мои американские коллеги называли «ядерной зимой».

31 октября 1982 года Саган созвал в Вашингтоне конференцию, собрал обеспокоенных ученых.

С начала 1987 года я стал одним из двенадцати экспертов ООН, которые подготовили доклад ООН «Климатические и другие глобальные последствия крупномасштабной ядерной войны». В декабре 1998 года Генеральная ассамблея ООН приняла специальную резолюцию о недопустимости ядерной войны и разослала доклад всем государствам членам ООН. Ученые выполнили свой долг.

Мы должны помнить тех, кто внес свой вклад в науку, знать их открытия, помнить их лица.

В моем кабинете висит портрет Леонарда Эйлера, великого гения науки XVIII века. Замечательна его история. В марте 1972 года я, молодой доктор наук, был приглашен на две недели в Ленинградский гидрометеорологический институт прочесть четыре лекции по метеорологии на других планетах. Времени свободного было много, я ходил по музеям, в Эрмитаж. Однажды я зашел в комиссионный магазин на Невском. На первом этаже была одежда, а на втором – портреты и какой-то антиквариат. Я подошел к одному темному портрету. Холст был порван в некоторых местах, кое-где осталась краска. Он продавался как портрет неизвестного кисти неизвестного художника XIX века. Но я сразу узнал, что это изображение Эйлера. Портрет стоил 93 рубля 50 копеек. В тот момент у меня таких денег не было. Вечером я их занял у приятеля, и утром мы пошли к открытию магазина. Расплатившись, я спросил, почему такая некруглая цена. Мне ответили, что портрет висит уже больше трех месяцев, и несколько дней назад он был уценен на 15%.

В Москве мне его отреставрировали профессионалы из Третьяковки за 70 рублей. Через год в журнале «Природа» была опубликована статья из архива Владимира Ивановича Вернадского о первых годах Императорской Академии наук. И там я увидел мой портрет! В подписи было сказано, что этот портрет находится в университете в Базеле – в Швейцарии, откуда родом Эйлер, и что он был написан в 1756 году.

Окончание истории портрета я узнал в начале 2002 года от профессора Глеба Константиновича Михайлова, нашего крупнейшего специалиста по Эйлеру, архивы которого в Петербурге, Берлине и в Швейцарии разбираются до сих пор, и Глеб Константинович – член международной комиссии по наследству известного ученого. Случайно он узнал, что у меня есть портрет Эйлера. Мы созвонились, и он пришел ко мне в кабинет. Выслушав, как я приобрел портрет, он пообещал разобраться с его историей. Через день он позвонил и рассказал, что около 1880 года Академия решила заказать портреты своих выдающихся членов. Портрет был написан в 1881 году немецким художником Иоганном Кёнингом и является точной копией портрета в Базеле. Потом появилось много других копий худшего качества. Портрет Кёнинга висел в здании Академии на Васильевском острове до 1889 года. В том году праздновалось 50-летие Пулковской обсерватории. Посколь-

ку у Эйлера были выдающиеся работы и по небесной механике, академия передала его портрет в эту обсерваторию.

В 1918 году Пулковская обсерватория была дважды разграблена революционными матросами. Через сорок четыре года я обнаружил этот портрет в комиссионном на Невском. Последние тридцать три года он висит у меня.

Чтобы избежать ареста, мой отец мог покинуть Россию еще в двадцатые годы. Но он был связан с ней не только семейными, родственными узами, но прежде всего духовно. Это и было его завещание мне. Когда во время путча я был на международной конференции, мне предложили остаться в другой стране – я только рассмеялся.

В последние годы я работаю над общей теорией статистических закономерностей, случайных процессов и явлений в природе, в обществе, турбулентности, морских волн, статистики землетрясений, лавин и т.п. Разрабатывал общий подход к описанию их закономерностей, которые проявляются не только в природе, но нередко и в обществе.

Но очень много сил отнимает административная работа. С 1 января 1991 года, после смерти академика Обухова, я был назначен директором Института физики атмосферы. Вопросы финансирования фундаментальных научных исследований стоят сегодня более чем остро. Было время, когда денег для опытов и зарплаты сотрудникам хватало только на две недели. Спасали гранты.

Беспокоит будущее науки. У нас в институте есть и студенты и аспиранты, но большинство их не задерживается. Зарплата даже с разными грантами, а их у нас не мало, невелика. И они уходят в банки, в бизнес. Но у тех, кто остаются и хорошо работают, прекрасные перспективы: интереснейшая научная тематика – изменение климата, глобальное потепление, раскрытие новых и неожиданных закономерностей природы; у нас широкое международное сотрудничество с главными европейскими странами, с США, Японией, Китаем.

Когда-то ребенком я был потрясен красотой открывшегося мне вдруг мира. Сегодня, когда у меня внуки и правнуки, красота трогает меня еще глубже.

Юный человек, решивший посвятить себя науке, а она безгранична, должен обладать не только блеском сильного интеллекта, исследовательской жилкой, но и способностью чувствовать, откликаться на красоту в любом ее проявлении и в жизни, и в искусстве. И этим жить.

## ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ...

Каждому человеку трудно первые сто лет. А потом все легче и легче...

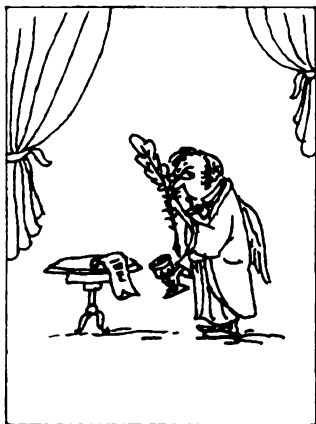
Однажды во время бомбежки я увидел, как бомба разорвала человека буквально пополам. И разорванный человек попросил: «Мальчик, добей меня».

Я столько раз умирал... Живу сверх нормы, на халяву. Мальчишкой пережил последнюю бомбежку Москвы. Я ночевал тогда у мамы, в лазарете, так меня сбросило с дивана, контузило – такой был удар. С тех пор я потянулся к театру. Не смейтесь – это правда. В театр ведь только сумасшедшие идут...

Я играю с театром, играю со своей профессией, слишком многое она для меня значит. Ведь режиссер – это образ жизни. Где находится тот редчайший человек со своей судьбой, со своей природой, который станет уникальным человеком в театре, называемым «режиссер»?.. Вообще странная профессия. Она стала почти всеопределяющей в театре XX века...

У меня была радостная молодость – голодная, довольно нищая, но очень светлая. Мы были большими мистификаторами... Веселые были ребята... Принято считать, что с годами

мы становимся лучше – опыт, работа, невзгоды, страдания нас очищают... Нет. С годами мы лучше не становимся. Хотя у меня у самого больше вопросов, чем ответов. Мне кажется, что сейчас они, эти вопросы, только ставятся – в профессии, в театре, во взаимоотношениях с актерами, с самим собой... Режиссура – это в общем-то какая-то такая работа... Не дай Бог называть творчеством все это. Только надутый индюк может сказать: «Я в своем творчестве!» Все, святых выноси... Все сложно, и все не сложно.



Просто полагается терпеть, терпеть. Режиссер обязан «держать удар» не хуже боксера и не обижаться. Не обижаться на отечество, на страну и т.д. И вот сейчас я чувствую, что у меня жизнь была хорошая – в смысле движения. Особенно удачными могу назвать последние пятнадцать-двадцать лет, когда я вернулся в Москву из Петербурга.

Меня выгнали из Школы-студии МХАТа, когда я учился на актера. Правда, после я работал актером периодически, или, вернее, спорадически: то тут, то там, то в кино, то в театре. Может быть, если бы меня не выгнали, я бы так и остался актером. Желание до сих пор не изжито. Мои артисты иногда так и говорят: сейчас Фома наиграется и начнет работать. Грубо говоря, у меня как раз тот случай, который относится к категории сомнительных: ушел в режиссуру, потому что нигде ничего не сложилось.

Но это и не совсем так, конечно. Хотя по дороге к режиссуре у меня было много всякого: и тяжелого, и интересного, и странного.

Я учился в Музыкальной школе имени Гнесиных, потом в Училище Ипполитова-Иванова, играл на скрипке.

Одной из вех жизни стал Педагогический институт. Туда сходились люди, которых или вышибли из других учебных заведений, или не взяли по тем или иным причинам. Я встретился там с самыми интересными и дорогими мне людьми, которые, как и я, были, в общем-то, нескладехами в своей судьбе. В этом Педагогическом институте мы встретились с Юлием Кимом, с Юрой Визбором, с Юрой Ряшенцевым, с Юрием Ковалем, замечательным писателем. Вот так из безвременья, из «нескладухи» возникла моя режиссерская жизнь в театре. Меня не брали много лет в театр вообще, а на режиссуру тем более. В ГИТИС я поступал много раз. Приходил туда каждое лето. Не брали по многим причинам: то по одной, то по другой.

Меня упрекали в детстве, в пионерском лагере, в «неколлективности». В молодости – в «есенинщине», да и просто в малахольности.

Ударов было много в начале пути, еще со школы. Если бы не мама, я бы не выдержал.

Я режиссуру пережил, выжил, дожил. Мне было почти тридцать лет, когда я закончил ГИТИС. Это поздно. Я слишком долго шел. Но есть древняя поговорка: «Если хочешь стариком быть долго, становись стариком рано». Хотя рано становиться стариком в театре нельзя...



Вернувшись в Москву, я начал опять почти сначала. Мне помогла преподавательская работа. Это трудное счастье – преподавание. Я сам учился у великих учителей. Надеюсь, что я их не предавал, но сказать, что я им был верен всегда, тоже не могу. Да и нельзя этого требовать от учеников. Я стараюсь не забывать, каким я сам был тяжелым, трудным учеником и студентом...

ГИТИС – дом, который оказался странноприимным и родным. Совершенно в клочья разорванный изнутри и снаружи, я здесь опять обрел возможность работы. Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился, предложил место в институте. Я вернулся не от хорошей жизни, а оказалось, что хорошая жизнь очень часто бывает «не от хорошей жизни». Если бы не пережить всех этих периодов «намордника» – я имею в виду отлучение от работы, проклятия официальных и т.д., – то, может быть, ничего бы и не было...

Вообще, мне кажется, что учиться профессии, учиться выбору пути в жизни – это не столько учеба, сколько судьба...

Мы входили в профессию в тяжелые времена. Театр второй половины сороковых и до конца шестидесятых годов – это полоса такого идеологического убожества! Что ставили наши учителя и наши предшественники! Что мы сами ставили! Столько ужаса, столько безобразия и мерзости! И ведь научились пристойно ставить эти убогие фальшивые пьесы. Ставили их достаточно профессионально, оборачивали все это в режиссерские какие-то упаковки. Причем всякая попытка вырваться: будь то Эфрос, будь то Захаров с «Доходным местом», будь то Хейфец – все это было опасно для жизни в театре, каждая работа могла быть последней. Это была эпоха вульгарной образности. Образность – великая категория, которая так тонка, так неуловима, потому что образ, в общем-то, какой-то потаенный, душевный склад спектакля.

Сейчас с нас снят, по выражению Сухово-Кобылина, «пожизненный намордник». Легче стало работать или тяжелее – не знаю. По крайней мере, мне стало понятнее жить.

Талант – от Господа Бога, от природы, от родителей, от прародителей. Хотя талант – это страшный крест. Нести его тяжело, это и бремя, и счастье, и страдания.

Жизнь – и очень интересная, и очень трудная даже с точки зрения того, что мы работаем на своих организмах, на своих судьбах. Из чего делает актер роли или режиссер спектакли? Из того, что прожито, иногда из самого таинственного и личного.

Строительный материал актера, режиссера – это собственная судьба, собственные ощущения, самые интимные, самые грешные, самые чистые, самые незащищенные. Мы ткем все из своей жизни. Стоишь на похоронах – мучительно, горько. Но думаешь: это надо запомнить. В самые интимные моменты (я говорю не только об эротике) творческий человек все равно «откладывает» что-то. Что это – душевный стриптиз? А мы на этом инструменте играем.

В театр приходят люди со своей судьбой. А им часто говорят: надо забыть все, что было, вот теперь будет истинная учеба, жизнь, школа. Это ужасно. Нельзя ничего в жизни забывать. Это все равно что забыть, какие у тебя любви были раньше. Или прошлые грехи. Или горести. Театр – опасное для жизни дело. Выдерживают немногие.

Теперь мне кажется, что если бы не начал преподавать, не смог бы и в театре работать. Сам, став училкой, я стал опять учиться, потому что преподавать, не учась у тех, кому преподаешь, – бессмысленное занятие.

Поэтому мне так дорога работа в институте, в этом полуразрушенном доме, называемом ГИТИС. Здесь, вопреки отсутствию самого необходимого, вопреки отсутствию внутреннего покоя, без которого нельзя заниматься самым беспокойным делом – театром, я чувствую, что я живой. Мне очень дороги эти ребята...

Я стараюсь у них не отнять того, что им матушка-природа дала. Это уже немало. Надо человека почувствовать. Сохранить, спасти, вырастить.

Это слово «выращивание» было моим, но сейчас от слишком частого употребления стерлось. Можно сказать, что учитель помогает ученику открыться.

Это требует огромного вложения сил, энергии и все-таки ощущения радости бытия. При всех мраках и мрачностях все равно без ощущения радости бытия приходиться к ученикам невозможно.

В жизни режиссера очень много зависит от «круга» и прежде всего от умения и счастья найти, собрать и сохранить своих артистов. И, мне кажется, что режиссура и педагогика – двуедины.

«Мастерская» собственно и родилась из курса, который у меня учился. И мне очень дорого, что их называют «фоменки». Мне так нравится это слово. У меня нет детей, которые носят нашу с мамой фамилию, и я рад, что так называют моих студентов. Не знаю, правда, надолго ли хватит этого назва-

ния, и не знаю, по заслугам ли оно вообще. Мне кажется, самое главное то, что они не очень похожи на меня. Сам я долго подражал своим учителям. Я знал музыкантов, в игре которых слышна «школа» их профессора. Вырашивание музыканта и вырашивание артиста очень близки.

А учиться лучше на высоких образцах. Не случайно мы постоянно возвращаемся к живой российской и мировой классике. И ничего современнее классики нет. Если ее беречь, проникать, она всегда находит отзвук в сегодняшнем. Современность подчас оборачивается своевременностью. В классику не опасно погружаться, в ней не рискуешь нащупать дно. Может быть, и спектакля вовсе не будет. Уверенности нет, есть лишь вера. Но и тогда наш труд не бесполезен. Душевные и умственные усилия все равно создают нечто.

Мне кажется, что нужно выдерживать временную дистанцию. Классика в этом смысле не подведет. Хотя все молодые люди театра и кино пытаются классику прочесть так, как никто до них. Есть своя корь, которой надо переболеть. Режиссеры вообще работают не на притягивание, а на отталкивание.

Я и сам шел не столько «за» кем-то, сколько «вопреки» кому-то. Сейчас я узнаю себя в тех, кто приходит к нам поступать на режиссерский курс. Как вы хотите ставить эту пьесу? И ответ: не знаю как, но не так, как было до сих пор. А как было до сих пор? Я не знаю, как до сих пор, но все равно не так. Это и поза, и правда.

...Мы все переболели периодом низвержения традиций, все хотели быть революционерами. Нужны новые формы, безусловно. И надо дать возможность эту жажду новаторства реализовать в годы учебы.

Когда говорят, что в молодых происходит какая-то девальвация, утрата ценностей, что мы были другими, — ерунда. Им очень сложно. И будет еще сложнее...

Мне кажется, трагический контекст сегодняшней жизни все более становится ясным. Тем мне дороже тот человек в театре, который работает вопреки складывающейся жизненной тенденции. Все-таки театр спорит с жизнью. И иногда он, театр, прекраснее, чем жизнь.

Сегодня, мне кажется, в театре необходим не просто праздник веселья, а, как сказал Юлий Ким, «вольнодумная глубина». И все наши разговоры по поводу первичности содержания — вторичности формы, черно-белые грани деления на плюсы и минусы переплелись так же, как и жанры.

Чистой комедии вы не найдете, трагедии – тоже. Без юмора сегодня невозможно ни ощутить, ни поставить трагедию...

У меня отношение к театру, как к живому человеку, живому делу. Поэтому театру, как и человеку в жизни, главное понять, простить, покаяться, полюбить и не дать изгадить то, что дорого.

В театре есть тайное, он к этому прикасается. Но ведь тайное есть и в жизни, и в человеке. В гоголевской судьбе, в Толстом, и в Достоевском, и в Чехове... Говорят о загадке русской души. Это стало почти пошлостью, как многие слова сегодня, особенно высокие. Но тайное, безусловно, есть. Правда, есть тайны, которые разгадывать необязательно – с ними просто надо существовать, жить. А если поинтересоваться, что там внутри, как это делают дети, расшифровать, вскрыть, расщепить человека, то это как расщепление ядра. Расщепили – и что? К добру это привело?

Вообще, в жизни самая большая загадка для меня – соединение добра и зла. В их сосуществовании в жизни и в человеке. В необходимости негатива, отрицательных эмоций так же, как положительных. В судьбе, в семье, в театре – везде...

Конечно, зло – это ужасно. Но без него понятия добра не существует. Как дня без ночи.

Фашизм истреблен, побежден нами. Мы – победители. И где же он, спустя время, вспыхнул вновь, и очень мощно?

Разве не ужасно, что наш самый светлый праздник, 9 Мая, связан с войной? Это было и самое страшное, и самое святое время в нашей истории. Звучит ужасно, но если бы не было войны, что случилось бы с нашим народом, с людьми? Со страной? До какой бездны зла мы бы дошли, не будь другого зла – войны? Такая вот страшная диалектика.

Есть вещи, которые надо оставлять в себе. Когда у меня спрашивают: «Вы верующий человек?» – сразу хочется сказать: «А это не ваше дело». Это знает только Бог да я, а может и я еще толком не знаю...

Страшный суд всех нас ждет, но и при жизни – уже вершится над нами, не только потом, когда мы там предстанем.

Действительно, есть вещи, к которым прикасаться опасно. Наверное, ко второму тому «Мертвых душ». Гоголь его сжег, и, может быть, наше пренебрежение волей автора будет наказуемо. И к «Пиковой даме» обращение может быть опасным. Одна из моих любимых артисток как-то подошла ко

мне и сказала: «Я боюсь играть смерть». Это связано не только с «Пиковой дамой», любые игры со смертью страшны. Но театр – он святой и грешный. И я верю, что нам будет прощено...

Я очень люблю второй МХАТ – театр Михаила Чехова, – который погиб в России, люблю вахтанговский театр...

Каждый театр имеет свой век. У одного он длинный, у другого – короткий, у третьего – оптимальный. Иногда театр заканчивается с тем, кто уходит. Но – я же не один! Мои ученики – это и актеры, и режиссеры в нашем театре. Теперь мой уход уже так не ощущается. Потому что они со мной вместе ведут наше дело.

Я помню, даже великие люди говорили – вот, отдает Богу душу российский театр. Никуда он не денется! В нас все равно живет эта потребность человека в Театре...

Для меня театр – это слово. Не бояться вернуться к чему-то, повторить произнесенное с новой позиции, с уточнением, с углублением. Проникновение в слово, за слово. Нахождение смысла между словами...

Помню, много лет назад Всеволод Семенович Якут играл Пушкина в спектакле, поставленном по пьесе в стихах, которую написал Андрей Глоба. Я тогда учился в школе и ходил на этот спектакль раз двадцать, без билета пролезал.

Вы знаете, я всю жизнь с Пушкиным живу, немалая заслуга в этом моей учительницы по литературе Анны Дмитриевны Тютчевой (родственницы Федора Ивановича Тютчева и Баратынского). Прекрасный человек, замечательный педагог. И когда мне невмочь пересилить беду, знаю, что есть не только синий троллейбус у Булата Шалвовича, но есть еще пушкинские тома.

Пушкин делает меня взрослее и моложе. На старости лет я стал понимать, какое это счастье – почувствовать себя иногда человеком, который может с ним поговорить, послушать его. Чем дальше от молодости и ближе к концу жизни, тем острее чувство счастья от общения с Пушкиным, который для меня живой человек.

Безумно люблю «Египетские ночи». Все время думаю: вот Булгаков не закончил «Театральный роман», как бы он его закончил? А как бы закончил «Египетские ночи» Пушкин? И как бы он закончил «Русалку»? И как продолжил «Египетские ночи» Таиров? Он же их ставил, а потом перешел к Шекспиру и Бернарду Шоу, и в «Клеопатре» вернулся к «Ночам» уже через них. Это все удивительно интересно...

Пушкин удивительно чувствовал атмосферу. (Михаил Александрович Чехов называл это – «партитура атмосфер».) Он – один из гениальных русских невыездных (самое далекое его путешествие было в Молдавию), никогда не был за границей. И, тем не менее, как чувствовал Францию! Как чувствовал Италию, Испанию, как чувствовал мир... Гражданин Вселенной, Пушкин прожил недолго, но как ощущал старость, чувствовал восторг молодой любви и думал о наступающей смерти. Как он написал Пимена в «Борисе Годунове»! Это что-то удивительное, так написать старость человека, который, умирая, пишется о стране.

Или:

В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам.

Сила судьбы. И удивительно светлое, легкое дыхание. В этом легком дыхании есть своя загадка. Пушкин любит загадки, но их никогда не надо разгадывать, не надо их препарировать, с ними надо жить. Будь то загадка «Выстрела», загадка «Гробовщика» или загадка «Метели». Не случайно так любил Достоевский и «Бесов», и «Пиковую даму», и «Цыган». И сегодня нас также водят бесы:

Хоть убей, следа не видно;  
Сбились мы. Что делать нам!

Вот то, что меня всегда интересовало: игра судьбы, предначертанность, бесовская предопределенность судьбы.

Она присутствует, безусловно, везде. Во всех моих работах по Пушкину. Да и в жизни... Тема игры судьбы с человеком возникает в каждой моей работе: и в «Смерти Тарелкина» (хотя там и есть проблема выбора), и в «Калигуле» по Камю, да и в других.

Пушкин был человеком, глубоко верящим в судьбу. Его загадки глубоко человеческие, в них переплетены и грех, и высокое целомудрие. Он ведь святой грешник, Пушкин. И все равно остается ощущение высокого духа...

Знаю замечательных режиссеров, которые считают, что слово вообще не суть важно. Им интересно играть за словом, под словом, помимо слова, вместо слова. А для меня оно есть дело, оно есть суть и божество. Все-таки в начале было слово, что же делать. Для меня оно есть и конец тоже. Сейчас оно девальвировано, именно поэтому хочется восстановить его в правах, в его неповторимости и первозданности.

Импровизация необходима, особенно на съемках. Но касается оно только пластики, движения, здесь можно импровизировать как угодно, а вот со словом надо поступать осторожно. Импровизация текста часто оборачивается заменой хорошего, точного слова на плохое. С Пушкиным-поэтом мне не хочется вступать в соавторство. Зачем?

Гений всегда есть гений. Бывают странные, тяжелые, мучительные гении, такие, как Федор Михайлович. Бывают светлые гении, с легких дыханием, такие, как Александр Сергеевич. Бывают загадочные гении, как Гоголь.

И, тем не менее, я уверен в том, что в Пушкине самое дорогое это энциклопедия русской жизни, созданная человеком такой искренности, такой благорасположенности и доверчивости...

Когда-то было намерение сделать телевизионный полифонический пушкинский спектакль, который я для себя условно называл «Душа в заветной лире». Пушкин, окруженный поэтами России и мира, которые обращались к нему. Идея довольно расхожая – мир поэзии, который окружает Пушкина, сходится на нем и расходится от него, борется за него, присваивает его себе... Цветаевский Пушкин, ахматовский Пушкин, Пушкин таких божественных поэтов, как Блок, Бродский и Давид Самойлов, Пушкин Багрицкого и Пушкин Серебряного века. Как к нему обращались, как пытались выразить себя через него, а он все равно был прекрасен. Все равно: «Душа в заветной лире мой прах переживет...»

Я даже написал куски сценария. Сумасшедший замысел, который, наверное, выстроить было невозможно, если уж всерьез говорить.

У поэта сказано: «Что теперь твоя постылая свобода, страсть познавший Дон Жуан?» Свобода – это особая страсть. На нее надо иметь право, за нее надо бороться и страдать, как и за любовь. Почему Дон Жуан мне симпатичен у Пушкина? Каждый раз он готов расплатиться жизнью за свою страсть. Каждый раз! А главное – Дон Жуан свободен. А свобода требует очень высокой цены, всегда надо быть готовым к гибели. Тогда это свобода.

## НЕ НАДО БОЯТЬСЯ «ДЕТСКИХ» ВОПРОСОВ

Крутые были времена,  
К ним скверное пристанет имя,  
Но мы-то были молодыми  
В те дорогие времена.  
На брата брат была война,  
Но снег скрипел, и губы пели,  
И звезды яркие горели,  
Ведь в жизни молодость — одна!  
Теперь, когда она, как страсть,  
Прошла, и быстро время льется,  
Одно из двух нам достается —  
Душа высокая иль власть,  
Одно из двух — душа иль власть...<sup>1</sup>

У будущего грустные глаза,  
И нужно замолчать. Но трудно, трудно...

Глубоко в памяти спрятаны младенческие впечатления. Первое мое чувственное ощущение связано с прохладой и свежестью речной воды. Рассказывают, что я немедленно закричал: «Мама, подлей горячей».

Мы жили в Леспромхозе в Татарии. Вокруг тревожащие мое воображение леса. Там можно заблудиться, там волки. В те, сороковые, не пуганные охотниками, они сильно расплодились. Об этом говорили взрослые. Еще много говорили о Сталинградской битве, что теперь война скоро кончится. Отец был на фронте. Его возвращение я встретил спокойно. Ведь я его никогда не видел раньше.

В семье — настоящий культ поэзии и науки. Мама, преподаватель биологии, всю жизнь пи-



<sup>1</sup> Здесь и далее стихи В. Захарова.  
(Примечание составителей)



сала стихи. Сочинял поэтические строки и старший брат. Стихи звучали в нашем доме всегда. Я не помню себя, не знающего блоковской «Незнакомки». Мама напевала эти строки вместо колыбельной. Пушкин, Некрасов, Есенин, символисты.... Вот Тютчева моя разночинная семья не знала. К имени же Ахматовой относились с большим уважением.

Писать стихи сам я стал исключительно из зависти к старшему брату. У него же получается! Должно выйти и у меня. В восемь лет написал стихи о Сталине, сплошь состоящие из чужих расхожих слов. Я продолжал сочинять, но скоро понял, что победить брата не смогу. Становилось все труднее. Известен эффект: чем больше погружаешься в мир поэзии, тем строже становятся критерии и строже оцениваешь свои строки. Писать всерьез я стал только после двадцати и в свою первую книгу ранние стихи не включил.

В какой-то момент я понял глубокое различие науки и поэзии. В науке все, что делаю я, сможет и другой. Докажу я какую-то теорему, но возможно она уже доказана, а если и не доказана, то через некоторое время это все-таки случится. Человеческие же личности настолько различны, что произведения, написанные одним поэтом, не могут быть созданы другим. Это как отпечатки пальцев. Моя поэзия – это тот способ, которым я вижу, это тот глаз, тот мир, который я вижу, это то, что существует только во мне. Если я не передам его, этот мир, он исчезнет. И все. Он никогда не будет существовать. А если выражу его, то он приобретет черты некоего вечного бытия. И я взялся за перо. Писал стихи, эссе, только не прозу. Она, мне кажется, еще сильнее отличатся от науки.

Детские опыты бывают у всех, а вот потребность в серьезной работе пришла достаточно поздно. Долгое время я был убежден, что стану химиком. Лет в одиннадцать-двенадцать я уже обустроил большую химическую лабораторию, все свои карманные деньги тратил на нее. Читал учебники по химии, научно-популярные книги. Делал опыты, иногда весьма рискованные. Пытался, например, делать глицерин самостоятельно. Мама выписывала журнал «Природа». Я мало что в нем понимал, но химическая терминология завораживала. Проявлял изобретательность. У меня не хватало азотной кислоты, а серную кислоту можно было достать – она продавалась под видом купоросного масла. Черный порох можно было купить без охотничьего билета, стоил он дешево. Но вид его внушал подозрение – он состоял из каких-то

чешуек. Если смесь серы и черного пороха залить серной кислотой и сделать разогрев... Когда я засадил все это в колбу и поставил на спиртовку, то так гроыхнуло... Машины гардины были испорчены навек.

Влюбленность в химию продолжалась еще долго. Но однажды жизнь моя перевернулась. Я зашел в городскую детскую библиотеку. Мы недавно переехали в Смоленск, мне не было еще четырнадцати. Я взял с полки книгу Сергея Боброва о математике для детей. Я читал ее со страстью, с пылающими от возбуждения щеками. Вот оно! Я буду математиком! Книга мне показалась бесконечно интересной. Она была написана странно, причудливо. Там были математические задачи, художественные рассказы, стихи – словом, был таинственный момент слияния математики и поэзии. И это сыграло в моей жизни решающую роль.

Книга была роскошно издана. В толстом переплете. С прекрасными иллюстрациями. Много лет спустя, перечитывая Пастернака, я нашел посвящение Сергею Боброву! Он входил вместе с Пастернаком в группу «Центрифуга», одно из последних литературных объединений футуристов. Несколько лет тому назад, в томе, посвященном футуристам, вышла большая подборка стихов Сергея Боброва. Большого впечатления они на меня не произвели, но показалось любопытной его биография.

В восьмом классе я пришел на математическую олимпиаду и мгновенно, менее чем за пятнадцать минут, решил задачи всех вариантов. Потребовал, чтобы мне дали задачи для девятого класса. Решил все. Может скорее ради шутки, мне предложили задание для выпускного класса. Справился так же быстро. Я ведь был влюблен в математику. Умел дифференцировать и интегрировать. Научился сам в пятнадцать лет по книжкам по истории математики, где были все цепочки и формулы для решения уравнений. А все началось с книги поэта, мечтавшего стать математиком.

В награду за победу в олимпиаде мне подарили все шесть томов «Советской драматургии». На меня обратили внимание. Доцент педагогического института Ирина Леонидовна Раухваргер решила заниматься со мной высшей математикой, да видно голова моя оказалась перегруженной – начались мигренообразные боли. Интенсивные занятия прекратились, но к этому времени мне уже самому было неясно, что влечет больше – физика, математика, техника? Кстати, интерес к ней был всеобщим – освоение космоса было уже на подходе.

Школу я окончил без медали. Причина этого не в знаниях. Я был всегда человеком... отвязанным. Есть такое английское выражение «отвязанная пушка» – это пушка, которая, стоит ее освободить от пут, начинает кататься по палубе корабля. Под давлением семьи я поехал в Москву, сдал экзамены, поступил в энергетический институт. Прочился там три года, получал даже повышенную стипендию, но все же ушел оттуда. Оказался в Курчатовском институте, в должности лаборанта экспериментального отдела, который как раз собирался переезжать в Новосибирск. Он был зародышем будущего, в настоящий момент абсолютно знаменитого Института ядерной физики. Руководил им Андрей Будкер, в то время член-корреспондент, впоследствии известнейший академик.

В отделе была весьма демократичная обстановка. У меня было три курса вуза, но воспринимали меня равноценным научным сотрудником. Там я и получил именно физическое образование, что называется, из первых рук. Должен был сам делать приборы, сам производить все расчеты и т. д. Это был неоценимый элемент образования, очень важный для физика.

Будкер был замечательным человеком. Большинство людей имеет самостоятельное мнение лишь по узкому кругу вещей. Будкер же принадлежал к очень редкому типу тех, которые по любым вопросам имеют свое собственное мнение и любой вопрос обдумывают самостоятельно – вопросы жизни и смерти, судьбы человечества, политики, а также чисто практические вопросы, например прописки. Он был постоянно думающий человек, талантливый и изобретательный. Ландау его называл релятивистским инженером. Будкер действительно был физиком-теоретиком, который, тем не менее, разбирался в эксперименте. Каждый день он приезжал к десяти часам, вызывал к себе разные бригады и обсуждал с ними детали их экспериментов, причем вылезали иногда достаточно тонкие (буквально, где там винтики поставлены). Потом он уезжал домой, отдыхал, возвращался и сидел уже до позднего вечера. Часто он вызывал меня (я тоже сидел по вечерам и работал), предлагал мне посчитать что-то, скажем порог рождения четырех-шести фермионов при столкновении протонов. Это несложно посчитать. Я приходил к нему через полчаса: «Семь-пять надо иметь в каждом пучке». «Спасибо, теперь сядь». И начинал: «Вот что ты думаешь, например, о том, будет ли человеческий интеллект биологическим или кибернетическим?» Я прекрасно понимал – это такая игра. Я никогда не высказывался, просто был слушателем. И он

развивал свои теории. Например, что было бы, если бы Сталин в 45 году после победы над Германией, решился на войну с Америкой. У Будкера была стройная, развитая теория, фантастический роман можно было писать. Однажды я произвел на него большое впечатление своим знанием литературы. Он заметил в разговоре с кем-то: «Как сказал Лермонтов, ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп, а мы видали виды». Я говорю: «Андрей Михайлович, все хорошо, но только это не Лермонтов, а Пушкин». «Как? Быть не может!» Я отвечаю: «Пушкин, стихотворение «Гусар», во втором томе «Избранных сочинений», приблизительно, начало 30-х годов, из этого периода». Он послал свою секретаршу в библиотеку, нашли эти строки, и с тех пор он стал меня очень уважать за знание литературы. И, самое смешное, спросил: «А ты откуда это знаешь?»

После года работы в Курчатовском институте я решил стать физиком-теоретиком, а не экспериментатором. И окончательный выбор сделал в 1961 году, когда меня перевели в Новосибирск. Я тогда пошел к Будкеру: «Андрей Михайлович, я хочу стать теоретиком». Он говорит: «Ну ладно. Такая твоя судьба. Конечно, ты бы был очень хорошим экспериментатором. Но, если уж ты хочешь, пожалуйста, иди. Вот Сагдеев к нам переезжает, тоже из Курчатовского института. Он создает отдел». Я говорю: «Ну, как же, Сагдеев! Он с моим старшим братом в одном классе учился, я его знаю с детства, тем более, что он в институте преподавал физику и организовал кружок по теоретической физике». Все сошлось, и я с удовольствием иду к нему в отдел.

Поселили меня в Новосибирске в общежитии, и стал я ходить по морозцу в Институт ядерной физики. Сагдеевский отдел располагался на втором этаже. В нашей комнате было четыре стола, и за ними — четыре человека: все четверо позже стали академиками. Это фантастика! Была прекрасная творческая атмосфера. Если у кого-то были вопросы, мы обсуждали их вместе — семинары непрерывные. При этом была особенная и очень непринужденная обстановка. Часто шутили и разыгрывали друг друга. Приходили в столовую к 9 часам утра. Завтракали вместе. Каждый по очереди платил за всех. Завтрак опоздавшего с гиканьем и свистом делили, даже если совсем не хотелось есть.

В Новосибирске я окончил университет с красным дипломом, поступил в аспирантуру, довольно быстро защитил кандидатскую диссертацию, через 2 года после окончания

университета, потом – докторскую, тоже очень быстро. Я понял, что есть целая область науки, которая еще только начинает развиваться, – физика нелинейных волн, и она же связана с математикой. Я стал заниматься этой наукой, у меня была докторская диссертация на эту тему, фактически формулирующая основные принципы этой науки. Я читал в университете свой курс, вел семинары по разным разделам теоретической физики, читал общую физику на физфаке. В 1968 году я прочитал курс по введению в физику нелинейных волн, и мои слушатели – часть из них сбежали довольно быстро, но человек семь остались – стали ядром моей научной школы. Они сейчас все известные в мире люди.

Я начал преподавать со студенческих лет. Вначале физику в физматшколе Академгородка. Вел семинары, потом лекции даже читал. Физматшкола и сейчас еще существует. Завуч – один из моих слушателей этого курса. До сих пор я встречаю по всему миру ученых, а они: «Ой, Владимир, а мы ваши лекции по физике слушали!»

Я вспоминаю сейчас то время, которое невозможно забыть, которое у всех нас осталось в памяти как самое прекрасное время жизни, – время расцвета Академгородка. Это шестидесятые года, когда там была совершенно особая духовная атмосфера, в которой у людей вырабатывались, как мы потом поняли, глубокие, безусловные ценностные ориентации.

В Академгородке решили создать клуб, который бы объединял культурную и социальную жизнь (а также для того, чтобы соответствующим организациям было удобнее следить за народом, как мы теперь понимаем). Днем – столовая, а вечером – клуб, и надо было придумать название. И вот тут меня осенило – «Под интегралом». И действительно его так называли – всеобщий клуб, всех объединяет. Члены клуба выбирались тайным голосованием, был президент клуба. Я имел высший ранг, и ровным счетом ничего не делал, только за то, что название придумал. Просто такой крестный отец этого клуба. Там проводились поэтические турниры, приезжали знаменитые барды.

Тогда у нас была либеральная эпоха, потом она начала становиться все более и более жесткой. Однажды ночью я видел, как подъехал кран и снял неоновые буквы «Под интегралом». Клуб уже два года как был закрыт, а вывеска продолжала висеть просто как некоторый памятник прошлому. Семидесятые годы принято считать временем застоя. Было оно, конечно, достаточно душное, но все-таки со

сталинским его не сравнить, оно более либеральное. Я не занимался активной общественной деятельностью, но общался с кем хотел и дружил с кем хотел, совершенно ничего не боясь. По отношению ко мне была такая политика: живи, как хочешь, но в «дальний зарубеж» не поедешь. Все было бескризисно, кроме того, что был не выездной.

А потом у меня с Будкером отношения чуть-чуть испортились. Он очень много в меня вложил, дал мне возможность работать и одновременно учиться, все условия создал. Даже позаботился о том, чтобы меня в тюрьму не посадили. В 1968 году, когда наши войска в Чехословакию вошли, это вполне могло произойти. Мы подписали письмо, так называемое письмо 46. В какой-то момент люди начали приходить и говорить, что боятся, многие уже жалеют о том, что подписали, и поэтому надо все это прекратить. Откат такой пошел. Я начал думать. Очень быстро просчитал, что произойдет дальше. Письмо опубликуют, кто-то заявит, что подписал под давлением, был обманут. И как выходить из положения? Наутро меня вызвали к Будкеру: «Володя, что ты делаешь? Ты делу приносишь большой вред, и вообще науке, как же так!» Я говорю: «Андрей Михайлович, поздно, письмо уже отправлено в Москву». Это была неправда. Потом я собрал людей и предложил: «Мы сожжем все эти подписи и соберем по новой. Тот человек, который второй раз подпишет, он уже не откажется, он уже понимает, что делает свой выбор». Все согласились. Кроме одного, который был, собственно, организатором всего этого дела и автором письма.

На следующий день я пошел к Будкеру, и он мне задал совершенно фантастический вопрос: «Володя, а сколько подписей будет из нашего института?» Я ему говорю: «Восемь или девять подписей». Он спросил: «Это больше, чем в любом другом институте?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Молодец». Вот такая фантастическая история.

Были, по-видимому, даны указания каким-то людям, потому что у нас заседал ученый совет каждый день. Один из членов ученого совета сказал, что будет требовать, чтобы меня выгнали из института. Но Будкер сказал – нет, это даже не обсуждается. Спустя много лет я приехал в Америку, в Массачусеттский технологический институт. Один очень известный профессор, физик, которого я знал давно, пригласил меня на ужин и говорит:

– Ты знаешь, почему тебя не посадили в 68-ом году?

— Нет.

— Я в то время был президентом «Комитета обеспокоенных ученых». Мы составили список ученых, в случае ареста которых могли бы быть дипломатические демарши. На первом месте стоял Сахаров, а ты — на пятом или шестом.

Ну вот, все вместе, и поведение Будкера, конечно, сыграло свою роль. Меня оставили в покое. Впрочем, от диссидентской деятельности я тогда уже сам отошел. Это было не совсем то, чего мне хотелось.

Так, вот Будкер предложил мне заведовать крупным экспериментальным отделом и делать лазеры на свободных электронах. То, что теоретики стараются возложить это на экспериментаторов, — нормальный факт в этом мире. Потому что считается, что теоретик в любом экспериментальном деле разберется, а экспериментатор в теоретическом деле может и не разобраться. Фактически он предложил мне заняться изобретением... У него была идея, как сделать лазер на свободных электронах. Мне предлагалась эту работу возглавить, естественно под его руководством. А я к тому времени уже имел собственную научную школу, у меня было шесть кандидатов наук, и я занимался совершенно другими вопросами. В голове были собственные идеи, все бурлило и так. Он понял, что я не хочу, давить не стал, он был благородный человек, но в отношениях возник холод. Вскоре мне предложили в институте Ландау, в Черноголовке, место заведующего сектором физики плазмы. И я уехал...

В ближайшем будущем я буду читать в Аризонском университете курс по общей теории относительности, определявшей развитие физической науки почти что столетие. Но меня не покидает одно предчувствие, и я поделюсь им. Те, кто покинут студенческую скамью в ближайшие годы, пожалуй, встретят уже принципиально иную картину мира и неизбежно вновь зададутся главным вопросом (в первую очередь, конечно, ученые-физики): действительно ли мы понимаем глубины бытия, то есть что мы можем вывести из первых принципов? Вообще, происходят такие колебания время от времени. Так, перед открытием квантовой механики, в конце XIX века, всем казалось, что теоретическая физика закончена и всем все понятно: есть объективная теория, которая должна все объяснить. Людям не советовали идти делать карьеру в теоретической физике, считая, что это бесперспективно. Но был один непонятный вопрос относительно ультрафиолетовой расходимости: как объяснить спектр? Нельзя применить статистичес-

кую механику к фотонам – получается очень нехорошая расходимость. Поиском занялся Планк. Он придумал свой принцип квантования, и с этого началась абсолютно другая эпоха.

Я тоже помню момент, когда казалось, что всем все понятно. Когда была создана стандартная модель теории элементарных частиц, считалось, что с ее помощью все-все можно объяснить, и космология в нее тоже вся укладывается. Сегодня ситуация совершенно противоположная – опять ничего не понятно, потому что данные астрономии четко показывают, что в пространстве Вселенной есть темная материя, а вот как объяснить до конца, что это такое, что она из себя представляет и какую роль играет эта скрытая масса, невозможно. А есть еще «темная энергия», которая описывается так называемым космологическим слагаемым. Его ввел в уравнения гравитации еще Эйнштейн, но многие десятилетия им высокомерно пренебрегали.

Есть физическое ощущение, что вакуум, космическое пространство, наполнено некоей материей, которой довольно много, которой во много раз больше, чем видимой, так что видимая материя составляет только 4% по современным оценкам. И вот эта материя скрыта, но проявляет себя в гравитационных взаимодействиях. Если, например, имеется группа галактик, то туда втягивается еще и эта темная материя, и в результате общая масса всего этого комка оказывается намного больше, чем масса отдельных галактик. Это можно обнаружить, поскольку если есть далекая галактика и она вращается вокруг общего гравитационного поля, то видно, что она вращается не так, как если бы там были только эти галактики, то есть там имеется еще что-то. А что? Никто не знает, потому что это могут быть тяжелые частицы, которые не взаимодействуют ни с чем, либо нейтрино (но вряд ли это нейтрино). Это открытый вопрос, и поэтому уверенность, которая была, допустим, еще лет 10 назад, что мы основные законы природы на микроскопическом уровне уже поняли, сейчас является лишь иллюзией. Все понимают, что это не так, потому что есть факты, которых мы не можем объяснить. Как отделить темную материю от темной энергии, которая есть космологическая поправка? Неизвестно. Является ли эта космологическая поправка постоянной величиной или она – функция времени? Теория квантовой гравитации до сих пор ведь не создана. И возможна ли она? И совсем уж безумный вопрос, но на самом деле имеющий смысл: а



существует ли другие миры, с которыми мы не связаны, и возможно ли связаться с ними?<sup>2</sup> Есть ведь и белые дыры, а считается вроде, что действует принцип так называемой космической цензуры, который запрещает такие вещи.

Вопрос о темной массе относится к вопросам космологии, происхождения Вселенной, о том, что происходит на очень больших расстояниях и было очень давно. В сущности, он, конечно, крайне волнующий, но не имеет обыденной ценности. С другой стороны, есть масса вопросов, относящихся к нашему повседневному миру, которые можно изучать точными методами, математически, методами теоретической физики и которые прежде не ставились. Насколько физика может объяснять явления или, допустим, моделировать какие-то живые системы? Ну, например, возьмем форму цветка, форму листьев. Почему возникает именно такая или иная структура? Выясняется, что можно строить довольно простые модели, которые воспроизводят, скажем, процесс образования розы. Кстати, мой близкий друг, профессор Аризонского университета, этим занимается. Недавно он мне подарил свою работу, она называется так: «Теория формообразования растений с математической точки зрения». Чрезвычайно забавно! Как возникает этот удивительной красоты бутон, цветок? Это все относится к так называемой теории образования узоров (pattern formation). Образование картин, таких как на поверхности коры дерева или на подушечках пальцев, или, например, структуры, которые возникают в облаках, когда мы их видим сверху, — все это, оказывается, можно изучать с общей точки зрения. Иными словами, наш обыденный мир тоже может стать предметом для научного изучения.

Есть математические модели явлений мира неодушевленного. Как, скажем, образование формы в ландшафтах. Тут главное задавать вопросы и не бояться их кажущейся глупости. Предположим, вы возьмете произвольную кучу камней и рассортируете их по массе. Спрашивается: по какому закону произведено это распределение? Оказывается, по степенному закону, и есть довольно универсальная степень. Примерно такое же соотношение получится, если рассмотреть распределение метеоритов или планет по массе или же распределение

---

<sup>2</sup> Кроме того, что во Вселенной очень много возможных мест для существования жизни, на сегодняшний день математически доказано, что за пределами физического мира существует еще более сложно организованный — волновой мир.

космических лучей по энергии. Есть определенные закономерности в природе, которые мы еще не очень понимаем. Сейчас активно развивается математическая биология, разрабатываются математические модели сознания. Но изучить бы сначала элементы самые простые, хотя бы, например: как устроено зрение? Человек смотрит и видит трехмерное изображение даже если он поворачивает голову. Значит, там скрыт некий алгоритм вращения трехмерного пространства, позволяющий производить пересчет. Как это устроено?

А этот «компьютерный» software, который заложен у нас для обработки зрительных впечатлений! Например, человек видит стул, изображение которого на сетчатке перевернутое, и может легко представить себе стул, стоящий на месте. Это ведь тоже представляет собой некоторое чудо. И модель того, как это устроено, было бы крайне интересно знать.

Или модели социальных явлений, которые привлекают сегодня необычайно. Необразованность людей в этом вопросе поразительна и очень печальна, почти фатальна. Например, у нас одно время была идея, модная в эпоху начала перестройки, что не будет большой беды, если, скажем, большая страна Советский Союз разобьется на множество мелких государств. Люди не знают работы Ричардсона, который, в частности, занимался моделированием происхождения войн и вывел интересный закон на основании множества статистических данных из истории человечества: вероятность войны прямо пропорциональна общей длине границ. Государство раскалывается на два – возникает вероятность, что там через какое-то время возможен конфликт, оттого, что они что-то не поделят. Такие общие модели сложных, нелинейных систем сейчас только начинают развиваться.

Безумцам, которые собираются посвятить свою жизнь науке, стоит пожелать две вещи. Прежде всего – никогда не бояться лишнего знания. Чем больше человек знает, тем лучше. Никогда не думать: это мне не нужно. Человеческий мозг так устроен, что он может вместить совершенно необъятное количество знаний. Есть люди, которые владеют десятками языков. Папа римский Иоанн Павел II, по-моему, знал 70 языков. К нему пришли однажды два эстонца и стали разговаривать при нем в довольно вольном духе, и он ответил им по-эстонски. Они были абсолютно потрясены. Это первое. Второе – это то, что ничего нельзя сделать без огромного вложения сил и очень большого творческого темперамента. Человек должен заниматься наукой со страстью, он

должен работать, работать и работать. И главное – не нужно бояться задавать глупых «детских» вопросов. Я всегда в первую очередь пытаюсь понять, умеет ли человек задавать вопросы. Это мощный показатель, что он предрасположен к занятиям наукой.

Природа, Вечность всегда неохотно отдают свои тайны. Тайны Творения закрыты на замок. Но я не думаю, что есть абсолютные тайны. Меня всегда поражает не то, что существуют вопросы, а то, что мы можем находить ответы. Вот это поразительно. На самом деле люди все время приобретают новые знания о предметах, совершенно удаленных во времени и труднодоступных, о том, что происходило, допустим, 14 миллиардов лет назад. Я думаю, человек в принципе способен познать все на свете. С другой стороны, пребывать в иллюзии, что уже все понято, – наивно и самоуверенно. Ньютон, один из величайших гениев, писал: «Не знаю, кем я могу казаться этому миру, но самому себе я кажусь мальчиком, играющим на морском берегу. Время от времени я...нахожу на берегу камешки и ракушки... в то время как великий океан Истины остается для меня полностью неисследованным». И кажется, что человечество всегда будет находиться в той же самой ситуации, чувствуя себя лишь ребенком, который собирает камни, выброшенные на берег океаном.

## ПЕСНЯ

Горящие ступени дня,  
Печаль земная,  
Они легко ведут меня  
В страну без края.

А там лиловые поля  
И луг медвяный,  
Тележка едет, не пыля,  
Через поляны.

Повязан бубенец простой  
Коню на шею,  
А кто в тележке едет той,  
Сказать не смею.

А быстрокрылая Земля  
Летит в эфире,

Щебечут с ветром тополя  
О вечном мире.

И Время улыбнулось мне,  
Как сын спросонок,  
Оно не старец в той стране –  
Оно ребенок.

Ему легко вести меня  
Через истому  
По огненным ступеням дня  
К родному дому.

По опереньям облаков  
За облак млечный,  
Снимая тяжесть всех оков  
Ручонкой вечной.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Предисловие .....	4
Арсений Тарковский. В КОЛЫБЕЛИ БОГОВ... ..	5
Борис Раушенбах. «И МЫСЛЬЮ, И СЕРДЦЕМ...» .....	14
Николай Михайлов. ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗА .....	29
Глеб Каледа. ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ .....	41
Давид Самойлов. ПРОИЗРАСТАНИЕ ТРАВ .....	58
Сергей Параджанов. НЕ ВЫДЕРЖУ ИЗГНАНИЯ ИЗ ДЕТСТВА .	73
Андрей Тарковский. КОГДА МЫ БЫЛИ БЕССМЕРТНЫМИ... ..	87
Геннадий Шпаликов. ВЕЛИКИЙ СЦЕНАРИЙ... ..	100
Юрий Маретин. ЗА ПРОЧИТАННЫМИ КНИЖКАМИ .....	105
Александр Чудаков. «ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ ...» .....	112
Резо Габриадзе. ВСЕ КОНЦЫ И НАЧАЛА ... ..	130
Андрей Хржановский. С ТЕХ ПОР... ..	144
Наталия Рязанцева. «ТАЙНА ПРЕДКОВ» .....	154
Владимир Кобрин. ГДЕ Я ВСТРЕЧАЮСЬ С РОБИНЗОНОМ КРУЗО? .....	174
Иосиф Бродский. ЧЕЛОВЕК ДВИЖЕТСЯ...ТОЛЬКО – ОТ .....	180
Мераб Мамардашвили. ЕСЛИ ОСМЕЛИТЬСЯ БЫТЬ .....	195
София Губайдулина. ВЕРТИКАЛЬНОЕ СОЗВУЧИЕ .....	205
Юрий Арабов. ВРЕМЕНА ГОДА .....	209
Интервью с Юрием Арабовым: «Я С РАДОСТЬЮ ПРОЩАЛСЯ С ДЕТСТВОМ» .....	224
Эдисон Денисов. «ЕСЛИ ОКО ТВОЕ БУДЕТ ЧИСТО...» .....	229
Михаил Гаспаров. А ТАЙНЫ ОСТАЮТСЯ... ..	233
Георгий Голицын. НА ПЛАНЕТАХ ДУЮТ ВЕТРЫ .....	237
Петр Фоменко. ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ... ..	246
Владимир Захаров. НЕ НАДО БОЯТЬСЯ «ДЕТСКИХ» ВОПРОСОВ .....	255

## **У истоков моей судьбы...**

Составители *А.Романенко, О.Алдошина, О. Камунина*

Библиотечка «Квант». Выпуск 101

Приложение к журналу «Квант» №3/2007

Редактор *В.А.Тихомирова*

Обложка *А.Е.Пацхверия*

Макет и компьютерная верстка *Е.В.Морозова*

Компьютерная группа *Е.А.Митченко, Л.В.Калиничева*

ИБ № 86

Формат 84×108 1/32 Бум. офсетная. Гарнитура кудряшевская.

Печать офсетная. Объем 8,5 печ.л. Тираж 3500 экз.

Заказ № 5703.

119296 Москва, Ленинский пр , 64-А, «Квант»

Тел. (495)930-56-48, e-mail: [admin@kvant.info](mailto:admin@kvant.info)

Отпечатано в ОАО Ордена Трудового Красного Знамени

«Чеховский полиграфический комбинат»

142300 г.Чехов Московской области.

Сайт [www.chpk.ru](http://www.chpk.ru) E-mail: [marketing@chpk.ru](mailto:marketing@chpk.ru)

Факс: 8(49672)6-25-36, факс: 8(499)270-73-00

Отдел продаж услуг многоканальный: 8(499) 270-73-59

## ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГИ СЕРИИ «БИБЛИОТЕЧКА «КВАНТ»

---

1. *М.П.Бронштейн*. Атомы и электроны
2. *М.Фарадей*. История свечи
3. *О.Оре*. Приглашение в теорию чисел
4. Опыты в домашней лаборатории
5. *И.Ш.Слободецкий, Л.Г.Асламазов*. Задачи по физике
6. *Л.П.Мочалов*. Головоломки
7. *П.С.Александров*. Введение в теорию групп
8. *В.Г.Штейнгауз*. Математический калейдоскоп
9. Замечательные ученые
10. *В.М.Глушков, В.Я.Валах*. Что такое ОГАС?
11. *Г.И.Копылов*. Всего лишь кинематика
12. *Я.А.Сморodinский*. Температура
13. *А.Е.Карпов, Е.Я.Гик*. Шахматный калейдоскоп
14. *С.Г.Гиндикин*. Рассказы о физиках и математиках
15. *А.А.Боровой*. Как регистрируют частицы
16. *М.И.Каганов, В.М.Цукерник*. Природа магнетизма
17. *И.Ф.Шарыгин*. Задачи по геометрии: планиметрия
18. *Л.В.Тарасов, А.Н.Тарасова*. Беседы о преломлении света
19. *А.Л.Эфрос*. Физика и геометрия беспорядка
20. *С.А.Пикин, Л.М.Блинов*. Жидкие кристаллы
21. *В.Г.Болтянский, В.А.Ефремович*. Наглядная топология
22. *М.И.Башмаков, Б.М.Беккер, В.М.Гольховой*. Задачи по математике: алгебра и анализ
23. *А.Н.Колмогоров, И.Г.Журбенко, А.В.Прохоров*. Введение в теорию вероятностей
24. *Е.Я.Гик*. Шахматы и математика
25. *М.Д.Франк-Каменецкий*. Самая главная молекула
26. *В.С.Эдельман*. Вблизи абсолютного нуля
27. *С.Р.Филонович*. Самая большая скорость
28. *Б.С.Бокштейн*. Атомы блуждают по кристаллу
29. *А.В.Бялко*. Наша планета – Земля
30. *М.Н.Аршинов, Л.Е.Садовский*. Коды и математика
31. *И.Ф.Шарыгин*. Задачи по геометрии: стереометрия
32. *В.А.Займовский, Т.Л.Колупаева*. Необычные свойства обычных металлов
33. *М.Е.Левинштейн, Г.С.Симин*. Знакомство с полупроводниками

34. *В.Н.Дубровский, Я.А.Смородинский, Е.Л.Сурков.* Релятивистский мир
35. *А.А.Михайлов.* Земля и ее вращение
36. *А.П.Пурмаль, Е.М.Слободецкая, С.О.Травин.* Как превращаются вещества
37. *Г.С.Воронов.* Штурм термоядерной крепости
38. *А.Д.Чернин.* Звезды и физика
39. *В.Б.Брагинский, А.Г.Полнарев.* Удивительная гравитация
40. *С.С.Хилькевич.* Физика вокруг нас
41. *Г.А.Звенигородский.* Первые уроки программирования
42. *Л.В.Тарасов.* Лазеры: действительность и надежды
43. *О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов.* Международные физические олимпиады школьников
44. *Л.Е.Садовский, А.Л.Садовский.* Математика и спорт
45. *Л.Б.Окунь.*  $\alpha\beta\gamma\dots z$ : Элементарное введение в физику элементарных частиц
46. *Я.Е.Гегузин.* Пузыри
47. *Л.С.Марочник.* Свидание с кометой
48. *А.Т.Филиппов.* Многоликий солитон
49. *К.Ю.Богданов.* Физик в гостях у биолога
50. Занимательно о физике и математике
51. *Х.Рачлис.* Физика в ванне
52. *В.М.Липунов.* В мире двойных звезд
53. *И.К.Кикоин.* Рассказы о физике и физиках
54. *Л.С.Понтрягин.* Обобщения чисел
55. *И.Д.Данилов.* Секреты программируемого микрокалькулятора
56. *В.М.Тихомиров.* Рассказы о максимумах и минимумах
57. *А.А.Силин.* Трение и мы
58. *Л.А.Ашкинази.* Вакуум для науки и техники
59. *А.Д.Чернин.* Физика времени
60. Задачи московских физических олимпиад
61. *М.Б.Балк, В.Г.Болтянский.* Геометрия масс
62. *Р.Фейнман.* Характер физических законов
63. *Л.Г.Асламазов, А.А.Варламов.* Удивительная физика
64. *А.Н.Колмогоров.* Математика – наука и профессия
65. *М.Е.Левинштейн, Г.С.Симин.* Барьеры: от кристалла до интегральной схемы
66. *Р.Фейнман.* КЭД – странная теория света и вещества
67. *Я.Б.Зельдович, М.Ю.Хлопов.* Драма идей в познании природы
68. *И.Д.Новиков.* Как взорвалась Вселенная
69. *М.Б.Беркинблит, Е.Г.Глаголева.* Электричество в живых организмах
70. *А.Л.Стасенко.* Физика полета
71. *А.С.Штейнберг.* Репортаж из мира сплавов
72. *В.Р.Полищук.* Как исследуют вещества



73. Л.Кэрролл. Логическая игра
74. А.Ю.Гросберг, А.Р.Хохлов. Физика в мире полимеров
75. А.Б.Мигдал. Квантовая физика для больших и маленьких
76. В.С.Гетман. Внуки Солнца
77. Г.А.Гальперин, А.Н.Земляков. Математические бильяры
78. В.Е.Белонучкин. Кеплер, Ньютон и все-все-все...
79. С.Р.Филонович. Судьба классического закона
80. М.П.Бронштейн. Солнечное вещество
81. А.И.Буздин, А.Р.Зильберман, С.С.Кротов. Раз задача, два задача...
82. Я.И.Перельман. Знаете ли вы физику?
83. Р.Хонсбергер. Математические изюминки
84. Ю.Р.Носов. Дебют оптоэлектроники
85. Г.Гамов. Приключения мистера Томпкинса
86. И.Ш.Слободецкий, Л.Г.Асламазов. Задачи по физике (2-е изд.)
87. Физика и...
88. А.В.Спивак. Математический праздник
89. Л.Г.Асламазов, И.Ш.Слободецкий. Задачи и не только по физике
90. П.Гнэди, Д.Хоньек, К.Райли. Двести интригующих физических задач
91. А.Л.Стасенко. Физические основы полета
92. Задачник «Кванта». Математика. Часть 1. Под редакцией Н.Б.Васильева
93. Математические турниры имени А.П.Савина
94. В.И.Белотелов, А.К.Звездин. Фотонные кристаллы и другие метаматериалы
95. Задачник «Кванта». Математика. Часть 2. Под редакцией Н.Б.Васильева
96. Олимпиады «Интеллектуальный марафон». Физика. Составители В.В.Альминдеров, А.И.Черноуцан
97. А.А.Егоров, Ж.М.Раббот. Олимпиады «Интеллектуальный марафон». Математика
98. К.Ю.Богданов. Прогулки с физикой
99. П.В.Блиох. Радиоволны на земле и в космосе
100. Н.Б.Васильев, А.П.Савин, А.А.Егоров. Избранные олимпиадные задачи. Математика



# Библиотечка КВАНТ



ВЫПУСК

# 101